Алексей ТОЛСТОЙ



# ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

ВЕЛИКАЯ СУДЬБА РОССИИ

# Сестры

## Алексей Николаевич Толстой

Аннотация
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

## Аннотация

«Хождение по мукам» – уникальная по яркости и масштабу повествования трилогия, на страницах которой перед читателем предстает картина событий, потрясших весь мир.

Выдающееся произведение А.Н.Толстого показывает Россию в один из самых ярких, сложных и противоречивых периодов ее истории – в тревожное предреволюционное время, в суровые годы революционных потрясений и Гражданской войны.

# 1

Сторонний наблюдатель из какого-нибудь заросшего липами захолустного переулка, попадая в Петербург, испытывал в минуты внимания сложное чувство умственного возбуждения и душевной придавленности.

Бродя по прямым и туманным улицам, мимо мрачных домов с темными окнами, с дремлющими дворниками у ворот, глядя подолгу на многоводный и хмурый простор Невы, на голубоватые линии мостов с зажженными еще до темноты фонарями, с колоннадами неуютных и нерадостных дворцов, с нерусской, пронзительной высотой Петропавловского собора, с бедными лодочками, ныряющими в темной воде, с бесчисленными барками сырых дров вдоль гранитных набережных, заглядывая в лица прохожих — озабоченные и бледные, с глазами, как городская муть, — видя и внимая всему этому, сторонний наблюдатель — благонамеренный — прятал голову поглубже в воротник, а неблагонамеренный начинал думать, что хорошо бы ударить со всей силой, разбить вдребезги это

застывшее очарование.

Еще во времена Петра Первого дьячок из Троицкой церкви, что и сейчас стоит близ Троицкого моста, спускаясь с колокольни, впотьмах, увидел кикимору — худую бабу и простоволосую, — сильно испугался и затем кричал в кабаке: «Петербургу, мол, быть пусту», — за что был схвачен, пытан в Тайной канцелярии и бит кнутом нещадно.

Так с тех пор, должно быть, и повелось думать, что с Петербургом нечисто. То видели очевидцы, как по улице Васильевского острова ехал на извозчике черт. То в полночь, в бурю и высокую воду, сорвался с гранитной скалы и скакал по камням медный император. То к проезжему в карете тайному советнику липнул к стеклу и приставал мертвец — мертвый чиновник. Много таких россказней ходило по городу.

И совсем еще недавно поэт Алексей Алексеевич Бессонов, проезжая ночью на лихаче, по дороге на острова, горбатый мостик, увидал сквозь разорванные облака в бездне неба звезду и, глядя на нее сквозь слезы, подумал, что лихач, и нити фонарей, и весь за спиной его спящий Петербург — лишь мечта, бред, возникший в его голове, отуманенной вином, любовью и скукой.

Как сон, прошли два столетия: Петербург, стоящий на краю земли, в болотах и пустоцветах, грезил безграничной славой и властью; бредовыми видениями мелькали дворцовые перевороты, убийства императоров, триумфы и кровавые казни; слабые женщины принимали полубожественную власть; из горячих и смятых постелей решались судьбы народов; приходили ражие парни, с могучим сложением и черными от земли руками, и смело поднимались к трону, чтобы разделить власть, ложе и византийскую роскошь.

С ужасом оглядывались соседи на эти бешеные взрывы фантазии. С унынием и страхом внимали русские люди бреду столицы. Страна питала и никогда не могла досыта напитать кровью своею петербургские призраки.

Петербург жил бурливо-холодной, пресыщенной, полуночной жизнью. Фосфорические летние ночи, сумасшедшие и сладострастные, и бессонные ночи зимой, зеленые столы и шорох золота, музыка, крутящиеся пары за окнами, бешеные тройки, цыгане, дуэли на рассвете, в свисте ледяного ветра и пронзительном завывании флейт — парад войскам перед наводящим ужас взглядом византийских глаз императора. Так жил город.

В последнее десятилетие с невероятной быстротой создавались грандиозные предприятия. Возникали, как из воздуха, миллионные состояния. Из хрусталя и цемента строились банки, мюзик-холлы, скетинги, великолепные кабаки, где люди оглушались музыкой, отражением зеркал, полуобнаженными женщинами, светом, шампанским. Спешно открывались игорные клубы, дома свиданий, театры, кинематографы, лунные парки. Инженеры и капиталисты работали над проектом постройки новой, не виданной еще роскоши столицы, неподалеку от Петербурга, на необитаемом острове.

В городе была эпидемия самоубийств. Залы суда наполнялись толпами истерических женщин, жадно внимающих кровавым и возбуждающим процессам. Все было доступно — роскошь и женщины. Разврат проникал всюду, им был, как заразой, поражен дворец.

И во дворец, до императорского трона, дошел и, глумясь и издеваясь, стал шельмовать над Россией неграмотный мужик с сумасшедшими глазами и могучей мужской силой.

Петербург, как всякий город, жил единой жизнью, напряженной и озабоченной. Центральная сила руководила этим движением, но она не

была слита с тем, что можно было назвать духом города: центральная сила стремилась создать порядок, спокойствие и целесообразность, дух города стремился разрушить эту силу. Дух разрушения был во всем, пропитывал смертельным ядом и грандиозные биржевые махинации знаменитого Сашки Сакельмана, и мрачную злобу рабочего на сталелитейном заводе, и вывихнутые мечты модной поэтессы, сидящей в пятом часу утра в артистическом подвале «Красные бубенцы», — и даже те, кому нужно было бороться с этим разрушением, сами того не понимая, делали все, чтобы усилить его и обострить.

То было время, когда любовь, чувства добрые и здоровые считались пошлостью и пережитком; никто не любил, но все жаждали и, как отравленные, припадали ко всему острому, раздирающему внутренности.

Девушки скрывали свою невинность, супруги — верность. Разрушение считалось хорошим вкусом, неврастения — признаком утонченности. Этому учили модные писатели, возникавшие в один сезон из небытия. Люди выдумывали себе пороки и извращения, лишь бы не прослыть пресными.

Таков был Петербург в 1914 году. Замученный

бессонными ночами, оглушающий тоску свою вином, золотом, безлюбой любовью, надрывающими и бессильно-чувственными звуками танго — предсмертного гимна, — он жил словно в ожидании рокового и страшного дня. И тому были предвозвестники — новое и непонятное лезло изо всех щелей.

## 2

— …Мы ничего не хотим помнить. Мы говорим: довольно, повернитесь к прошлому задом! Кто там у меня за спиной? Венера Милосская? А что — ее можно кушать? Или она способствует ращению волос? Я не понимаю, для чего мне нужна эта каменная туша? Но искусство, искусство, брр! Вам все еще нравится щекотать себя этим понятием? Глядите по сторонам, вперед, под ноги. У вас на ногах американские башмаки! Да здравствуют американские башмаки! Вот искусство: красный автомобиль, гуттаперчевая шина, пуд бензину и сто верст в час. Это возбуждает меня пожирать пространство. Вот искусство: афиша в шестнадцать аршин, и на ней некий шикарный молодой человек в сияющем, как солнце, цилиндре. Это — портной, художник, гений сегодняшнего дня! Я хочу пожирать жизнь, а вы меня потчуете сахарной водицей для страдающих половым бессилием…

В конце узкого зала, за стульями, где тесно стояла молодежь с курсов и университета, раздался смех и хлопки. Говоривший, Сергей Сергеевич Са-

пожков, усмехаясь влажным ртом, надвинул на большой нос прыгающее пенсне и бойко сошел по ступенькам большой дубовой кафедры.

Сбоку, за длинным столом, освещенным двумя пятисвечными канделябрами, сидели члены общества «Философские вечера». Здесь были и председатель общества, профессор богословия Антоновский, и сегодняшний докладчик — историк Вельяминов, и философ Борский, и лукавый писатель Сакунин.

Общество «Философские вечера» в эту зиму выдерживало сильный натиск со стороны мало кому известных, но зубастых молодых людей. Они нападали на маститых писателей и почтенных философов с такой яростью и говорили такие дерзкие и соблазнительные вещи, что старый особняк на Фонтанке, где помещалось общество, по субботам, в дни открытых заседаний, бывал переполнен.

Так было и сегодня. Когда Сапожков при рассыпавшихся хлопках исчез в толпе, на кафедру поднялся небольшого роста человек с шишковатым стриженым черепом, с молодым скуластым и желтым лицом — Акундин. Появился он здесь недавно, успех, в особенности в задних рядах зрительного зала, бывал у него огромный, и когда

спрашивали: откуда и кто такой? — знающие люди загадочно улыбались. Во всяком случае, фамилия его была не Акундин, приехал он из-за границы и выступал неспроста.

Пощипывая редкую бородку, Акундин оглядел затихший зал, усмехнулся тонкой полоской губ и начал говорить.

В это время в третьем ряду кресел, у среднего прохода, подперев кулачком подбородок, сидела молодая девушка, в суконном черном платье, закрытом до шеи. Ее пепельные тонкие волосы были подняты над ушами, завернуты в большой узел и сколоты гребнем. Не шевелясь и не улыбаясь, она разглядывала сидящих за зеленым столом, иногда ее глаза подолгу останавливались на огоньках свечей.

Когда Акундин, стукнув по дубовой кафедре, воскликнул: «Мировая экономика наносит первый удар железного кулака по церковному куполу», — девушка вздохнула не сильно и, приняв кулачок от покрасневшего снизу подбородка, положила в рот карамель.

Акундин говорил:

— …А вы все еще грезите туманными снами о царствии божием на земле. А *он*, несмотря на все ваши усилия, продолжает спать. Или вы надее-

тесь, что *он* все-таки проснется и заговорит, как валаамова ослица? Да, *он* проснется, но разбудят его не сладкие голоса ваших поэтов, не дым из кадильниц, — народ могут разбудить только фабричные свистки. Он проснется и заговорит, и голос его будет неприятен для слуха. Или вы надеетесь на ваши дебри и болота? Здесь можно подремать еще с полстолетия, верю. Но не называйте это мессианством. Это не то, что грядет, а то, что уходит. Здесь, в Петербурге, в этом великолепном зале, выдумали русского мужика. Написали о нем сотни томов и сочинили оперы. Боюсь, как бы эта забава не окончилась большой кровью…

Но здесь председатель остановил говорившего. Акундин слабо улыбнулся, вытащил из пиджака большой платок и вытер привычным движением череп и лицо. В конце зала раздались голоса:

— Пускай говорит!

— Безобразие закрывать человеку рот!

— Это издевательство!

— Тише вы, там, сзади!

— Сами вы тише!

Акундин продолжал:

— …Русский мужик — точка приложения идей. Да. Но если эти идеи органически не связаны с его вековыми желаниями, с его первобытным

понятием о справедливости, понятием всечеловеческим, то идеи падают, как семена на камень. И до тех пор, покуда не станут рассматривать русского мужика просто как человека с голодным желудком и натертым работою хребтом, покуда не лишат его, наконец, когда-то каким-то барином придуманных мессианских его особенностей, до тех пор будут трагически существовать два полюса: ваши великолепные идеи, рожденные в темноте кабинетов, и народ, о котором вы ничего не хотите знать… Мы здесь даже и не критикуем вас по существу. Было бы странно терять время на пересмотр этой феноменальной груды — человеческой фантазии. Нет. Мы говорим: спасайтесь, покуда не поздно. Ибо ваши идеи и ваши сокровища будут без сожаления выброшены в мусорный ящик истории…

Девушка в черном суконном платье не была расположена вдумываться в то, что говорилось с дубовой кафедры. Ей казалось, что все эти слова и споры, конечно, очень важны и многозначительны, но самое важное было иное, о чем эти люди не говорили…

За зеленым столом в это время появился новый человек. Он не спеша сел рядом с председателем, кивнул направо и налево, провел покрасневшей

рукой по русым волосам, мокрым от снега, и, спрятав под стол руки, выпрямился, в очень узком черном сюртуке: худое матовое лицо, брови дугами, под ними, в тенях, — огромные серые глаза, и волосы, падающие шапкой. Точно таким Алексей Алексеевич Бессонов был изображен в последнем номере еженедельного журнала.

Девушка не видела теперь ничего, кроме этого почти отталкивающе-красивого лица. Она словно с ужасом внимала этим странным чертам, так часто снившимся ей в ветреные петербургские ночи.

Вот он, наклонив ухо к соседу, усмехнулся, и улыбка — простоватая, но в вырезах тонких ноздрей, в слишком женственных бровях, в какой-то особой нежной силе этого лица было вероломство, надменность и еще то, чего она понять не могла, но что волновало ее всего сильнее.

В это время докладчик Вельяминов, красный и бородатый, в золотых очках и с пучками золотисто-седых волос вокруг большого черепа, отвечал Акундину:

— Вы правы так же, как права лавина, когда обрушивается с гор. Мы давно ждем пришествия страшного века, предугадываем торжество вашей правды.

Вы овладеете стихией, а не мы. Но мы знаем, высшая справедливость, на завоевание которой вы скликаете фабричными гудками, окажется грудой обломков, хаосом, где будет бродить оглушенный человек. «Жажду» — вот что скажет он, потому что в нем самом не окажется ни капли божественной влаги. Берегитесь, — Вельяминов поднял длинный, как карандаш, палец и строго через очки посмотрел на ряды слушателей, — в раю, который вам грезится, во имя которого вы хотите превратить человека в живой механизм, в номер такой-то, — человека в номер, — в этом страшном раю грозит новая революция, самая страшная изо всех революций — революция Духа.

Акундин холодно проговорил с места:

— Человека в номер — это тоже идеализм.

Вельяминов развел над столом руками. Канделябр бросал блики на его лысину. Он стал говорить о грехе, куда отпадает мир, и о будущей страшной расплате. В зале покашливали.

Во время перерыва девушка пошла в буфетную и стояла у дверей, нахмуренная и независимая. Несколько присяжных поверенных с женами пили чай и громче, чем все люди, разговаривали. У печки знаменитый писатель, Чернобылин,

ел рыбу с брусникой и поминутно оглядывался злыми пьяными глазами на проходящих. Две, средних лет, литературные дамы, с грязными шеями и большими бантами в волосах, жевали бутерброды у буфетного прилавка. В стороне, не смешиваясь со светскими, благообразно стояли батюшки. Под люстрой, заложив руки сзади под длинный сюртук, покачивался на каблуках полуседой человек с подчеркнуто растрепанными волосами — Чирва — критик, ждал, когда к нему кто-нибудь подойдет. Появился Вельяминов; одна из литературных дам бросилась к нему и вцепилась в рукав. Другая литературная дама вдруг перестала жевать, отряхнула крошки, нагнула голову, расширила глаза. К ней подходил Бессонов, кланяясь направо и налево смиренным наклонением головы.

Девушка в черном всей своей кожей почувствовала, как подобралась под корсетом литературная дама. Бессонов говорил ей что-то с ленивой усмешкой. Она всплеснула полными руками и захохотала, подкатывая глаза.

Девушка дернула плечиком и пошла из буфета. Ее окликнули. Сквозь толпу к ней протискивался черноватый истощенный юноша, в бархатной куртке, радостно кивал, от удовольствия морщил

нос и взял ее за руку. Его ладонь была влажная, и на лбу влажная прядь волос, и влажные длинные черные глаза засматривали с мокрой нежностью. Его звали Александр Иванович Жиров. Он сказал:

— Вот? Что вы тут делаете, Дарья Дмитриевна?

— То же, что и вы, — ответила она, освобождая руку, сунула ее в муфту и там вытерла о платок.

Он захихикал, глядя еще нежнее:

— Неужели и на этот раз вам не понравился Сапожков? Он говорил сегодня, как пророк. Вас раздражает его резкость и своеобразная манера выражаться. Но самая сущность его мысли — разве это не то, чего мы все втайне хотим, но сказать боимся? А он смеет. Вот:

*Каждый молод, молод, молод.*
*В животе чертовский голод,*
*Будем лопать пустоту…*

Необыкновенно, ново и смело, Дарья Дмитриевна, разве вы сами не чувствуете, — новое, новое прет! Наше, новое, жадное, смелое. Вот тоже и Акундин. Он слишком логичен, но как вбивает гвозди! Еще две-три таких зимы, — и все затрещит, полезет по швам, — очень хорошо!

Он говорил тихим голосом, сладко и нежно улы-

баясь. Даша чувствовала, как все в нем дрожит мелкой дрожью, точно от ужасного возбуждения. Она не дослушала, кивнула головой и стала протискиваться к вешалке.

Сердитый швейцар с медалями, таская вороха шуб и калош, не обращал внимания на Дашин протянутый номерок. Ждать пришлось долго, в ноги дуло из пустых с махающими дверями сеней, где стояли рослые, в синих мокрых кафтанах, извозчики и весело и нагло предлагали выходящим:

— Вот на резвой, ваше сясь!

— Вот по пути, на Пески!

Вдруг за Дашиной спиной голос Бессонова проговорил раздельно и холодно:

— Швейцар, шубу, шапку и трость.

Даша почувствовала, как легонькие иголочки пошли по спине. Она быстро повернула голову и прямо взглянула Бессонову в глаза. Он встретил ее взгляд спокойно, как должное, но затем веки его дрогнули, в серых глазах появилась живая влага, они словно подались, и Даша почувствовала, как у нее затрепетало сердце.

— Если не ошибаюсь, — проговорил он, наклоняясь к ней, — мы встречались у вашей сестры?

Даша сейчас же ответила дерзко:

— Да. Встречались.

Выдернула у швейцара шубу и побежала к парадным дверям. На улице мокрый и студеный ветер подхватил ее платье, обдал ржавыми каплями. Даша до глаз закуталась в меховой воротник. Кто-то, перегоняя, проговорил ей над ухом:

— Ай да глазки!

Даша быстро шла по мокрому асфальту, по зыбким полосам электрического света. Из распахнувшейся двери ресторана вырвались вопли скрипок — вальс. И Даша, не оглядываясь, пропела в косматый мех муфты:

— Ну, не так-то легко, не легко, не легко!

# 3

Расстегивая в прихожей мокрую шубу, Даша спросила у горничной:

— Дома никого нет, конечно?

Великий Могол, — так называли горничную Лушу за широкоскулое, как у идола, сильно напудренное лицо, — глядя в зеркало, ответила тонким голосом, что барыни действительно дома нет, а барин дома, в кабинете, и ужинать будет через полчаса.

Даша прошла в гостиную, села у рояля, положила ногу на ногу и охватила колено.

Зять, Николай Иванович, дома, — значит, поссорился с женой, надутый и будет жаловаться. Сейчас — одиннадцать, и часов до трех, покуда не заснешь, делать нечего. Читать, но что? И охоты нет. Просто сидеть, думать — себе дороже станет. Вот, в самом деле, как жить иногда неуютно.

Даша вздохнула, открыла крышку рояля и, сидя боком, одною рукою начала разбирать Скрябина. Трудновато приходится человеку в таком неудобном возрасте, как девятнадцать лет, да еще девушке, да еще очень и очень неглупой, да

еще по нелепой какой-то чистоплотности слишком суровой с теми, — а их было немало, — кто выражал охоту развеивать девичью скуку.

В прошлом году Даша приехала из Самары в Петербург на юридические курсы и поселилась у старшей сестры, Екатерины Дмитриевны Смоковниковой. Муж ее был адвокат, довольно известный; жили они шумно и широко.

Даша была моложе сестры лет на пять: когда Екатерина Дмитриевна выходила замуж, Даша была еще девочкой; последние годы сестры мало виделись, и теперь между ними начались новые отношения: у Даши влюбленные, у Екатерины Дмитриевны — нежно любовные.

Первое время Даша подражала сестре во всем, восхищалась ее красотой, вкусами, уменьем вести себя с людьми. Перед Катиными знакомыми она робела, иным от застенчивости говорила дерзости. Екатерина Дмитриевна старалась, чтобы дом ее был всегда образцом вкуса и новизны, еще не ставшей достоянием улицы; она не пропускала ни одной выставки и покупала футуристические картины. В последний год из-за этого у нее происходили бурные разговоры с мужем, потому что Николай Иванович любил живопись идейную, а Екатерина Дмитриевна со всей женской

пылкостью решила лучше пострадать за новое искусство, чем прослыть отсталой.

Даша тоже восхищалась этими странными картинами, развешанными в гостиной, хотя с огорчением думала иногда, что квадратные фигуры с геометрическими лицами, с большим, чем нужно, количеством рук и ног, глухие краски, как головная боль, — вся эта чугунная, циническая поэзия слишком высока для ее тупого воображения.

Каждый вторник у Смоковниковых, в столовой из птичьего глаза, собиралось к ужину шумное и веселое общество. Здесь были разговорчивые адвокаты, женолюбивые и внимательно следящие за литературными течениями; два или три журналиста, прекрасно понимающие, как нужно вести внутреннюю и внешнюю политику; нервно-расстроенный критик Чирва, подготовлявший очередную литературную катастрофу.

Иногда спозаранку приходили молодые поэты, оставлявшие тетради со стихами в прихожей, в пальто. К началу ужина в гостиной появлялась какая-нибудь знаменитость, шла не спеша приложиться к хозяйке и с достоинством усаживалась в кресло. В средине ужина бывало слышно, как в прихожей с грохотом снимали кожаные калоши

и бархатный голос произносил: «Приветствую тебя, Великий Могол!» — и затем над стулом хозяйки склонялось бритое, с отвислыми жабрами, лицо любовника-резонера:

— Катюша, — лапку!

Главным человеком для Даши во время этих ужинов была сестра. Даша негодовала на тех, кто был мало внимателен к милой, доброй и простодушной Екатерине Дмитриевне, к тем же, кто бывал слишком внимателен, ревновала, — глядела на виноватого злыми глазами.

Понемногу она начала разбираться в этом кружащем непривычную голову множестве лиц. Помощников присяжных поверенных она теперь презирала: у них, кроме мохнатых визиток, лиловых галстуков да проборов через всю голову, ничего не было важного за душою. Любовника-резонера она ненавидела: он не имел права сестру звать Катей, Великого Могола — Великим Моголом, не имел никакого основания, выпивая рюмку водки, щурить отвислые глаза на Дашу и приговаривать: «Пью за цветущий миндаль!»

Каждый раз при этом Даша задыхалась от злости. Щеки у нее действительно были румяные, и ничем этот проклятый миндальный цвет согнать было нельзя, и Даша чувствовала себя за столом

вроде деревянной матрешки.

На лето Даша не поехала к отцу в пыльную и знойную Самару, а с радостью согласилась остаться у сестры на взморье, в Сестрорецке. Там были те же люди, что и зимой, только все виделись чаще, катались на лодках, купались, ели мороженое в сосновом бору, слушали по вечерам музыку и шумно ужинали на веранде курзала, под звездами.

Екатерина Дмитриевна заказала Даше белое вышитое гладью платье, большую шляпу из белого газа с черной лентой и широкий шелковый пояс, чтобы завязывать большим бантом на спине, и в Дашу неожиданно, точно ему вдруг раскрыли глаза, влюбился помощник зятя — Никанор Юрьевич Куличек.

Но он был из «презираемых». Даша возмутилась, позвала его в лес и там, не дав ему сказать в оправдание ни одного слова (он только вытирался платком, скомканным в кулаке), наговорила, что она не позволит смотреть на себя, как на какую-то «самку», что она возмущена, считает его личностью с развращенным воображением и сегодня же пожалуется зятю.

Зятю она нажаловалась в тот же вечер. Николай Иванович выслушал ее до конца, поглаживая

холеную бороду и с удивлением взглядывая на миндальные от негодования Дашины щеки, на гневно дрожащую большую шляпу, на всю тонкую, беленькую Дашину фигуру, затем сел на песок у воды и начал хохотать, вынул платок, вытирал глаза, приговаривая:

— Уйди, Дарья, уйди, умру!

Даша ушла, ничего не понимая, смущенная и расстроенная. Куличек теперь не смел даже глядеть на нее, худел и уединялся. Дашина честь была спасена. Но вся эта история неожиданно взволновала в ней девственно дремавшие чувства. Нарушилось тонкое равновесие, точно во всем Дашином теле, от волос до пяток, зачался какой-то второй человек, душный, мечтательный, бесформенный и противный. Даша чувствовала его всей своей кожей и мучилась, как от нечистоты; ей хотелось смыть с себя эту невидимую паутину, вновь стать свежей, прохладной, легкой.

Теперь по целым часам она играла в теннис, по два раза на дню купалась, вставала ранним утром, когда на листьях еще горели большие капли росы, от лилового, как зеркало, моря шел пар и на пустой веранде расставляли влажные столы, мели сырые песчаные дорожки.

Но, пригревшись на солнышке или ночью в мягкой постели, второй человек оживал, осторожно пробирался к сердцу и сжимал его мягкой лапкой. Его нельзя было ни отодрать, ни смыть с себя, как кровь с заколдованного ключа Синей Бороды.

Все знакомые, а первая — сестра, стали находить, что Даша очень похорошела за это лето и словно хорошеет с каждым днем. Однажды Екатерина Дмитриевна, зайдя утром к сестре, сказала:

— Что же это с нами дальше-то будет?

— А что, Катя?

Даша в рубашке сидела на постели, закручивала большим узлом волосы.

— Уж очень хорошеешь, — что дальше-то будем делать?

Даша строгими, «мохнатыми» глазами поглядела на сестру и отвернулась. Ее щека и ухо залились румянцем.

— Катя, я не хочу, чтобы ты так говорила, мне это неприятно — понимаешь?

Екатерина Дмитриевна села на кровать, щекою прижалась к Дашиной голой спине и засмеялась, целуя между лопатками.

— Какие мы рогатые уродились: ни в ерша, ни в ежа, ни в дикую кошку.

Однажды на теннисной площадке появился англичанин — худой, бритый, с выдающимся подбородком и детскими глазами. Одет он был до того безукоризненно, что несколько молодых людей из свиты Екатерины Дмитриевны впали в уныние. Даше он предложил партию и играл, как машина. Даше казалось, что он за все время ни разу на нее не взглянул, — глядел мимо. Она проиграла и предложила вторую партию. Чтобы было ловчее, засучила рукава белой блузки. Из-под пикейной ее шапочки выбилась прядь волос, она ее не поправляла. Отбивая сильным дрейфом над самой сеткой мяч, Даша думала: «Вот ловкая русская девушка с неуловимой грацией во всех движениях, и румянец ей к лицу».

Англичанин выиграл и на этот раз, поклонился Даше — был он совсем сухой, — закурил душистую папироску и сел невдалеке, спросив лимонаду.

Играя третью партию со знаменитым гимназистом, Даша несколько раз покосилась в сторону англичанина — он сидел за столиком, охватив у щиколотки ногу в шелковом носке, положенную на колено, сдвинув соломенную шляпу на затылок, и, не оборачиваясь, глядел на море.

Ночью, лежа в постели, Даша все это припом-

нила, ясно видела себя, прыгавшую по площадке, красную, с выбившимся клоком волос, и расплакалась от уязвленного самолюбия и еще чего-то, бывшего сильнее ее самой.

С этого дня она перестала ходить на теннис. Однажды Екатерина Дмитриевна ей сказала:

— Даша, мистер Беильс о тебе справляется каждый день, — почему ты не играешь?

Даша раскрыла рот — до того вдруг испугалась. Затем с гневом сказала, что не желает слушать «глупых сплетен», что никакого мистера Беильса не знает и знать не хочет, и он вообще ведет себя нагло, если думает, будто она из-за него не играет в «этот дурацкий теннис». Даша отказалась от обеда, взяла в карман хлеба и крыжовнику и ушла в лес, и в пахнущем горячею смолою сосновом бору, бродя между высоких и красных стволов, шумящих вершинами, решила, что нет больше возможности скрывать жалкую истину: влюблена в англичанина и отчаянно несчастна.

Так, понемногу поднимая голову, вырастал в Даше второй человек. Вначале его присутствие было отвратительно, как нечистота, болезненно, как разрушение. Затем Даша привыкла к этому сложному состоянию, как привыкают после лета, свежего ветра, прохладной воды — затягиваться

зимою в корсет и суконное платье.

Две недели продолжалась ее самолюбивая влюбленность в англичанина. Даша ненавидела себя и негодовала на этого человека. Несколько раз издали видела, как он лениво и ловко играл в теннис, как ужинал с русскими моряками, и в отчаянии думала, что он самый обаятельный человек на свете.

А потом появилась около него высокая, худая девушка, одетая в белую фланель, — англичанка, его невеста, — и они уехали. Даша не спала целую ночь, возненавидела себя лютым отвращением и под утро решила, что пусть это будет ее последней ошибкой в жизни.

На этом она успокоилась, а потом ей стало даже удивительно, как все это скоро и легко прошло. Но прошло не все. Даша чувствовала теперь, как тот второй человек точно слился с ней, растворился в ней, исчез, и она теперь вся другая — и легкая и свежая, как прежде, — но точно вся стала мягче, нежнее, непонятнее, и словно кожа стала тоньше, и лица своего она не узнавала в зеркале, и особенно другими стали глаза, замечательные глаза, посмотришь в них — голова закружится.

В середине августа Смоковниковы вместе с Дашей переехали в Петербург, в свою большую

квартиру на Пантелеймоновской. Снова начались вторники, выставки картин, громкие премьеры в театрах и скандальные процессы на суде, покупки картин, увлечение стариной, поездки на всю ночь в «Самарканд», к цыганам. Опять появился любовник-резонер, скинувший на минеральных водах двадцать три фунта весу, и ко всем этим беспокойным удовольствиям прибавились неопределенные, тревожные и радостные слухи о том, что готовится какая-то перемена.

Даше некогда было теперь ни думать, ни чувствовать помногу: утром — лекции, в четыре — прогулка с сестрой, вечером — театры, концерты, ужины, люди — ни минуты побыть в тишине.

В один из вторников, после ужина, когда пили ликеры, в гостиную вошел Алексей Алексеевич Бессонов. Увидев его в дверях, Екатерина Дмитриевна залилась яркой краской. Общий разговор прервался. Бессонов сел на диван и принял из рук Екатерины Дмитриевны чашку с кофе.

К нему подсели знатоки литературы — два присяжных поверенных, но он, глядя на хозяйку длинным, странным взором, неожиданно заговорил о том, что искусства вообще никакого нет,

а есть шарлатанство, факирский фокус, когда обезьяна лезет на небо по веревке.

«Никакой поэзии нет. Все давным-давно умерло, — и люди и искусство. А Россия — падаль, и стаи воронов на ней, на вороньем пиру. А те, кто пишет стихи, все будут в аду».

Он говорил негромко, глуховатым голосом. На злом бледном лице его розовели два пятна. Мягкий воротник был помят, и сюртук засыпан пеплом. Из чашечки, которую он держал в руке, лился кофе на ковер.

Знатоки литературы затеяли было спор, но Бессонов, не слушая их, следил потемневшими глазами за Екатериной Дмитриевной. Затем поднялся, подошел к ней, и Даша слышала, как он сказал:

— Я плохо переношу общество людей. Позвольте мне уйти.

Она робко попросила его почитать. Он замотал головой и, прощаясь, так долго оставался прижатым к руке Екатерины Дмитриевны, что у нее порозовела спина.

После его ухода начался спор. Мужчины единодушно высказывались: «Все-таки есть некоторые границы, и нельзя уж так явно презирать наше общество». Критик Чирва подходил ко всем и

повторял: «Господа, он был пьян в лоск». Дамы же решили: «Пьян ли был Бессонов или просто в своеобразном настроении, — все равно он волнующий человек, пусть это всем будет известно».

На следующий день, за обедом, Даша сказала, что Бессонов ей представляется одним из тех «подлинных» людей, чьими переживаниями, грехами, вкусами, как отраженным светом, живет, например, весь кружок Екатерины Дмитриевны. «Вот, Катя, я понимаю, от такого человека можно голову потерять».

Николай Иванович возмутился: «Просто тебе, Даша, ударило в нос, что он знаменитость». Екатерина Дмитриевна промолчала. У Смоковниковых Бессонов больше не появлялся. Прошел слух, что он пропадает за кулисами у актрисы Чародеевой. Куличек с товарищами ходили смотреть эту самую Чародееву и были разочарованы: худа, как мощи, — одни кружевные юбки.

Однажды Даша встретила Бессонова на выставке.

Он стоял у окна и равнодушно перелистывал каталог, а перед ним, как перед чучелом из паноптикума, стояли две коренастые курсистки и глядели на него с застывшими улыбками. Даша медленно прошла мимо и уже в другой зале се-

ла на стул, — неожиданно устали ноги, и было грустно.

После этого Даша купила карточку Бессонова и поставила на стол. Его стихи, — три белых томика, — вначале произвели на нее впечатление отравы: несколько дней она ходила сама не своя, точно стала соучастницей какого-то злого и тайного дела. Но, читая их и перечитывая, она стала наслаждаться именно этим болезненным ощущением, словно ей нашептывали — забыться, обессилеть, расточить что-то драгоценное, затосковать по тому, чего никогда не бывает.

Из-за Бессонова она начала бывать на «Философских вечерах». Он приезжал туда поздно, говорил редко, но каждый раз Даша возвращалась домой взволнованная и была рада, когда дома — гости. Самолюбие ее молчало.

Сегодня пришлось в одиночестве разбирать Скрябина. Звуки, как ледяные шарики, медленно падают в грудь, в глубь темного озера без дна. Упав, колышут влагу и тонут, а влага приливает и отходит, и там, в горячей темноте, гулко, тревожно ударяет сердце, точно скоро, скоро, сейчас, в это мгновение, должно произойти что-то невозможное.

Даша опустила руки на колени и подняла

голову. В мягком свете оранжевого абажура глядели со стен багровые, вспухшие, оскаленные, с выпученными глазами лица, точно призраки первозданного хаоса, жадно облепившие в первый день творения ограду райского сада.

— Да, милостивая государыня, плохо наше дело, — сказала Даша. Слева направо стремительно проиграла гаммы, без стука закрыла крышку рояля, из японской коробочки вынула папироску, закурила, закашлялась и смяла ее в пепельнице.

— Николай Иванович, который час? — крикнула Даша так, что было слышно через четыре комнаты.

В кабинете что-то упало, но не ответили. Появилась Великий Могол и, глядя в зеркало, сказала, что ужин подан.

В столовой Даша села перед вазой с увядшими цветами и принялась их ощипывать на скатерть. Могол подала чай, холодное мясо и яичницу. Появился наконец Николай Иванович в новом синем костюме, но без воротничка. Волосы его были растрепаны, на бороде, отогнутой влево, висела пушинка с диванной подушки.

Николай Иванович хмуро кивнул Даше, сел в конце стола, придвинул сковородку с яичницей и жадно стал есть.

Потом он облокотился о край стола, подпер большим волосатым кулаком щеку, уставился невидящими глазами на кучу оборванных лепестков и проговорил голосом низким и почти ненатуральным:

— Вчера ночью твоя сестра мне изменила.

# 4

Родная сестра, Катя, сделала что-то страшное и непонятное, черного цвета. Вчера ночью ее голова лежала на подушке, отвернувшись от всего живого, родного, теплого, а тело было раздавлено, развернуто. Так, содрогаясь, чувствовала Даша то, что Николай Иванович назвал изменой. И ко всему, Кати не было дома, точно ее и на свете больше не существует.

В первую минуту Даша обмерла, в глазах потемнело. Не дыша, она ждала, что Николай Иванович либо зарыдает, либо закричит как-нибудь страшно. Но он ни слова не прибавил к своему сообщению и вертел в пальцах подставку для вилок. Взглянуть ему в лицо Даша не смела.

Затем, после очень долгого молчания, он с грохотом отодвинул стул и ушел в кабинет. «Застрелится», — подумала Даша. Но и этого не случилось. С острой и мгновенной жалостью она вспомнила, какая у него волосатая большая рука на столе. Затем он уплыл из ее зрения, и Даша только повторяла: «Что же делать? Что делать?» В голове звенело, — все, все, все было изуродовано

и разбито.

Из-за суконной занавески появилась Великий Могол с подносом, и Даша, взглянув на нее, вдруг поняла, что теперь никакого больше Великого Могола не будет. Слезы залили ей глаза, она крепко сжала зубы и выбежала в гостиную.

Здесь все до мелочей было с любовью расставлено и развешано Катиными руками. Но Катина душа ушла из этой комнаты, и все в ней стало диким и нежилым. Даша села на диван. Понемногу ее взгляд остановился на недавно купленной картине. И в первый раз она увидела и поняла, что там было изображено.

Нарисована была голая женщина, гнойно-красного цвета, точно с содранной кожей. Рот — сбоку, носа не было совсем, вместо него — треугольная дырка, голова — квадратная, и к ней приклеена тряпка — настоящая материя. Ноги, как поленья — на шарнирах. В руке цветок. Остальные подробности ужасны. И самое страшное был угол, в котором она сидела раскорякой, — глухой и коричневый. Картина называлась «Любовь». Катя называла ее современной Венерой.

«Так вот почему Катя так восхищалась этой окаянной бабой. Она сама теперь такая же — с цветком, в углу». Даша легла лицом в подушку и,

кусая ее, чтобы не кричать, заплакала. Некоторое время спустя в гостиной появился Николай Иванович. Расставив ноги, сердито зачиркал зажигательницей, подошел к роялю и стал тыкать в клавиши. Неожиданно вышел — «чижик». Даша похолодела. Николай Иванович хлопнул крышкой и сказал:

— Этого надо было ожидать.

Даша несколько раз про себя повторила эту фразу, стараясь понять, что она означает. Внезапно в прихожей раздался резкий звонок. Николай Иванович взялся за бороду, но, произнеся сдавленным голосом: «О-о-о!» — ничего не сделал и быстро ушел в кабинет. По коридору простукала, как копытами, Великий Могол. Даша соскочила с дивана, — в глазах было темно, так билось сердце, — и выбежала в прихожую.

Там неловкими от холода пальцами Екатерина Дмитриевна развязывала лиловые ленты мехового капора и морщила носик. Сестре она подставила холодную розовую щеку для поцелуя, но, когда ее никто не поцеловал, тряхнула головой, сбрасывая капор, и пристально серыми глазами взглянула на сестру.

— У вас что-нибудь произошло? Вы поссорились? — спросила она низким, грудным, всегда

таким очаровательно милым голосом.

Даша стала глядеть на кожаные калоши Николая Ивановича, они назывались в доме «самоходами» и сейчас стояли сиротски. У нее дрожал подбородок.

— Нет, ничего не произошло, просто я так.

Екатерина Дмитриевна медленно расстегнула большие пуговицы беличьей шубки, движением голых плеч освободилась от нее, и теперь была вся теплая, нежная и усталая. Расстегивая гамаши, она низко наклонилась, говоря:

— Понимаешь, покуда нашла автомобиль, промочила ноги.

Тогда Даша, продолжая глядеть на калоши Николая Ивановича, спросила сурово:

— Катя, где ты была?

— На литературном ужине, моя милая, в честь, ей-богу, даже не знаю кого. Все то же самое. Устала до смерти и хочу спать.

И она пошла в столовую. Там, бросив на скатерть кожаную сумку и вытирая платком носик, спросила:

— Кто это нащипал цветов? А где Николай Иванович, спит?

Даша была сбита с толку: сестра ни с какой стороны не походила на окаянную бабу и была

не только не чужая, а чем-то особенно сегодня близкая, так бы ее всю и погладила.

Но все же с огромным присутствием духа, царапая ногтем скатерть в том именно месте, где полчаса тому назад Николай Иванович ел яичницу, Даша сказала:

— Катя!

— Что, миленький?

— Я все знаю.

— Что ты знаешь? Что случилось, ради бога?

Екатерина Дмитриевна села к столу, коснувшись коленями Дашиных ног, и с любопытством глядела на нее снизу вверх.

Даша сказала:

— Николай Иванович мне все открыл.

И не видела, какое было лицо у сестры, что с ней происходило.

После молчания, такого долгого, что можно было умереть, Екатерина Дмитриевна проговорила злым голосом:

— Что же такое потрясающее сообщил про меня Николай Иванович?

— Катя, ты знаешь.

— Нет, не знаю.

Она сказала это «не знаю» так, словно получился ледяной шарик.

Даша сейчас же опустилась у ее ног.

— Так, может быть, это неправда? Катя, родная, милая, красивая моя сестра, скажи, — ведь это все неправда? — И Даша быстрыми поцелуями касалась Катиной нежной, пахнущей духами руки с синеватыми, как ручейки, жилками.

— Ну, конечно, неправда, — ответила Екатерина Дмитриевна, устало закрывая глаза, — а ты и плакать сейчас же. Завтра глаза будут красные, носик распухнет.

Она приподняла Дашу и надолго прижалась губами к ее волосам.

— Слушай, я дура! — прошептала Даша в ее грудь.

В это время громкий и отчетливый голос Николая Ивановича проговорил за дверью кабинета:

— Она лжет!

Сестры быстро обернулись, но дверь была затворена. Екатерина Дмитриевна сказала:

— Иди-ка ты спать, ребенок. А я пойду выяснять отношения. Вот удовольствие, в самом деле, — едва на ногах стою.

Она проводила Дашу до ее комнаты, рассеянно поцеловала, потом вернулась в столовую, где захватила сумочку, поправила гребень и тихо, пальцем, постучала в дверь кабинета:

— Николай, отвори, пожалуйста.

На это ничего не ответили. Было зловещее молчание, затем фыркнул нос, повернули ключ, и Екатерина Дмитриевна, войдя, увидела широкую спину мужа, который, не оборачиваясь, шел к столу, сел в кожаное кресло, взял слоновой кости нож и резко провел им вдоль разгиба книги (роман Вассермана «Сорокалетний мужчина»).

Все это делалось так, будто Екатерины Дмитриевны в комнате нет.

Она села на диван, одернула юбку на ногах и, спрятав носовой платочек в сумку, щелкнула замком. При этом у Николая Ивановича вздрогнул клок волос на макушке.

— Я не понимаю только одного, — сказала она, — ты волен думать все, что тебе угодно, но прошу Дашу в свои настроения не посвящать.

Тогда он живо повернулся в кресле, вытянул шею и бороду и проговорил, не разжимая зубов:

— У тебя хватает развязности называть это моим настроением?

— Не понимаю.

— Превосходно! Ты не понимаешь? Ну, а вести себя, как уличная женщина, кажется, очень понимаешь?

Екатерина Дмитриевна немного только рас-

крыла рот на эти слова. Глядя в побагровевшее до пота, обезображенное лицо мужа, она проговорила тихо:

— С каких пор, скажи, ты начал говорить со мной неуважительно?

— Покорнейше прошу извинить! Но другим тоном я разговаривать не умею. Одним словом, я желаю знать подробности.

— Какие подробности?

— Не лги мне в глаза.

— Ах, вот ты о чем. — Екатерина Дмитриевна закатила, как от последней усталости, большие глаза. — Давеча я тебе сказала что-то такое… Я и забыла совсем.

— Я хочу знать — с кем это произошло?

— А я не знаю.

— Еще раз прошу не лгать…

— А я не лгу. Охота тебе лгать. Ну, сказала. Мало ли что я говорю со зла. Сказала и забыла.

Во время этих слов лицо Николая Ивановича было как каменное, но сердце его нырнуло и задрожало от радости: «Слава богу, наврала на себя». Зато теперь можно было безопасно и шумно ничему не верить — отвести душу.

Он поднялся с кресла и, шагая по ковру, останавливаясь и разрезая воздух взмахами костяного

ножа, заговорил о падении семьи, о растлении нравственности, о священных, ныне забытых обязанностях женщины — жены, матери своих детей, помощницы мужа. Он упрекал Екатерину Дмитриевну в душевной пустоте, в легкомысленной трате денег, заработанных кровью («не кровью, а трепанием языка», — поправила Екатерина Дмитриевна). Нет, больше, чем кровью, — тратой нервов. Он попрекал ее беспорядочным подбором знакомых, беспорядком в доме, пристрастием к «этой идиотке», Великому Моголу, и даже «омерзительными картинами, от которых меня тошнит в вашей мещанской гостиной».

Словом, Николай Иванович отвел душу.

Был четвертый час утра. Когда муж охрип и замолчал, Екатерина Дмитриевна сказала:

— Ничего не может быть противнее толстого и истерического мужчины, — поднялась и ушла в спальню.

Но Николай Иванович теперь даже и не обиделся на эти слова. Медленно раздевшись, он повесил платье на спинку стула, завел часы и с легким вздохом влез в свежую постель, постланную на кожаном диване.

«Да, живем плохо. Надо перестроить всю жизнь. Нехорошо, нехорошо», — подумал он, раскрывая

книгу, чтобы для успокоения почитать на сон грядущий. Но сейчас же опустил ее и прислушался. В доме было тихо. Кто-то высморкался, и от этого звука забилось сердце. «Плачет, — подумал он, — ай, ай, ай, кажется, я наговорил лишнего».

И, когда он стал вспоминать весь разговор и то, как Катя сидела и слушала, ему стало ее жалко. Он приподнялся на локте, уже готовый вылезть из-под одеяла, но по всему телу поползла истома, точно от многодневной усталости, он уронил голову и уснул.

Даша, раздевшись в своей чистенько прибранной комнате, вынула из волос гребень, помотала головой так, что сразу вылетели все шпильки, влезла в белую постель и, закрывшись до подбородка, зажмурилась. «Господи, все хорошо! Теперь ни о чем не думать, спать». Из угла глаза выплыла какая-то смешная рожица. Даша улыбнулась, подогнула колени и обхватила подушку. Темный сладкий сон покрыл ее, и вдруг явственно в памяти раздался Катин голос: «Ну, конечно, неправда». Даша открыла глаза. «Я ни одного звука, ничего не сказала Кате, только спросила — правда или неправда. Она же ответила так, точно отлично понимала, о чем идет речь». Сознание, как иглою, прокололо все тело: «Катя меня обма-

нула!» Затем, припоминая все мелочи разговора, Катины слова и движения, Даша ясно увидела: да, действительно обман. Она была потрясена. Катя изменила мужу, но, изменив, согрешив, налгав, стала точно еще очаровательнее. Только слепой не заметил бы в ней чего-то нового, какой-то особой усталой нежности. И лжет она так, что можно с ума сойти — влюбиться. Но ведь она преступница. Ничего, ничего не понимаю.

Даша была взволнована и сбита с толку. Пила воду, зажигала и опять тушила лампочку и до утра ворочалась в постели, чувствуя, что не может ни осудить Катю, ни понять того, что она сделала.

Екатерина Дмитриевна тоже не могла заснуть в эту ночь. Она лежала на спине, без сил, протянув руки поверх шелкового одеяла, и, не вытирая слез, плакала о том, что ей смутно, нехорошо и нечисто, и она ничего не может сделать, чтобы было не так, и никогда не будет такой, как Даша, — пылкой и строгой, и еще плакала о том, что Николай Иванович назвал ее уличной женщиной и сказал про гостиную, что это — мещанская гостиная. И уже горько заплакала о том, что Алексей Алексеевич Бессонов вчера в полночь завез ее на лихом извозчике в загородную гостиницу

и там, не зная, не любя, не чувствуя ничего, что было у нее близкого и родного, омерзительно и не спеша овладел ею так, будто она была куклой, розовой куклой, выставленной на Морской, в магазине парижских мод мадам Дюклэ.

# 5

На Васильевском острове в только что отстроенном доме, по 19-й линии, на пятом этаже, помещалась так называемая «Центральная станция по борьбе с бытом», в квартире инженера Ивана Ильича Телегина.

Телегин снял эту квартиру под «обжитье» на год по дешевой цене. Себе он оставил одну комнату, остальные, меблированные железными кроватями, сосновыми столами и табуретками, сдал с тем расчетом, чтобы поселились жильцы «тоже холостые и непременно веселые». Таких ему сейчас же и подыскал его бывший одноклассник и приятель, Сергей Сергеевич Сапожков.

Это были — студент юридического факультета Александр Иванович Жиров, хроникер и журналист Антошка Арнольдов, художник Валет и молодая девица Елизавета Расторгуева, не нашедшая еще себе занятия по вкусу.

Жильцы вставали поздно, когда Телегин приходил с завода завтракать, и не спеша принимались каждый за свои занятия. Антошка Арнольдов уезжал на трамвае на Невский, в кофейню, где

узнавал новости, затем — в редакцию. Валет обычно садился писать свой автопортрет. Сапожков запирался на ключ — работать, — готовил речи и статьи о новом искусстве. Жиров пробирался к Елизавете Киевне и мягким, мяукающим голосом обсуждал с ней вопросы жизни. Он писал стихи, но из самолюбия никому их не показывал. Елизавета Киевна считала его гениальным.

Елизавета Киевна, кроме разговоров с Жировым и другими жильцами, занималась вязанием из разноцветной шерсти длинных полос, не имеющих определенного назначения, причем пела грудным, сильным и фальшивым голосом украинские песни, или устраивала себе необыкновенные прически, или, бросив петь и распустив волосы, ложилась на кровать с книгой, — засасывалась в чтение до головных болей. Елизавета Киевна была красивая, рослая и румяная девушка с близорукими, точно нарисованными глазами и одевавшаяся с таким безвкусием, что ее ругали за это даже телегинские жильцы.

Когда в доме появлялся новый человек, она зазывала его к себе, и начинался головокружительный разговор, весь построенный на остриях и безднах, причем она выпытывала — нет ли у ее собеседника жажды к преступлению? способен

ли он, например, убить? не ощущает ли в себе «самопровокации»? — это свойство она считала признаком всякого замечательного человека.

Телегинские жильцы даже прибили на дверях у нее таблицу этих вопросов. В общем, это была неудовлетворенная девушка и все ждала каких-то «переворотов», «кошмарных событий», которые сделают жизнь увлекательной, такой, чтобы жить во весь дух, а не томиться у серого от дождя окошка.

Сам Телегин немало потешался над своими жильцами, считал их отличными людьми и чудаками, но за недостатком времени мало принимал участия в их развлечениях.

Однажды, на рождестве, Сергей Сергеевич Сапожков собрал жильцов и сказал им следующее:

— Товарищи, настало время действовать. Нас много, но мы распылены. До сих пор мы выступали разрозненно и робко. Мы должны составить фалангу и нанести удар буржуазному обществу. Для этого, во-первых, мы фиксируем вот эту инициативную группу, затем выпускаем прокламацию, вот она: «Мы — новые Колумбы! Мы — гениальные возбудители! Мы — семена нового человечества! Мы требуем от заплывшего жиром буржуазного общества отмены всех

предрассудков. Отныне нет добродетели! Семья, единственные приличия, браки — отменяются. Мы этого требуем. Человек — мужчина и женщина — должен быть голым и свободным. Половые отношения есть достояние общества. Юноши и девушки, мужчины и женщины, вылезайте из насиженных логовищ, идите, нагие и счастливые, в хоровод под солнце дикого зверя!..»

Затем Сапожков сказал, что необходимо издавать футуристический журнал под названием «Блюдо богов», деньги на который отчасти даст Телегин, остальные нужно вырвать из пасти буржуев — всего три тысячи.

Так была создана «Центральная станция по борьбе с бытом», название, придуманное Телегиным, когда, вернувшись с завода, он до слез хохотал над проектом Сапожкова. Немедленно было приступлено к изданию первого номера «Блюда богов». Несколько богатых меценатов, адвокаты и даже сам Сашка Сакельман дали требуемую сумму — три тысячи. Были заказаны бланки, на оберточной бумаге, с непонятной надписью — «Центрофуга», и приступлено к приглашению ближайших сотрудников и к сбору материала. Художник Валет подал идею, чтобы комната Сапожкова, превращенная в редакцию,

была обезображена циничными рисунками. Он нарисовал на стенах двенадцать автопортретов. Долго думали о меблировке. Наконец убрали в комнате все, кроме большого стола, оклеенного золотой бумагой.

После выхода первого номера в городе заговорили о «Блюде богов». Одни возмущались, другие утверждали, что не так-то все это просто и не пришлось бы в недалеком будущем Пушкина отослать в архив. Литературный критик Чирва растерялся — в «Блюде богов» его назвали сволочью. Екатерина Дмитриевна Смоковникова немедленно подписалась на журнал на весь год и решила устроить вторник с футуристами.

Ужинать к Смоковниковым был послан от «Центральной станции» Сергей Сергеевич Сапожков. Он появился в грязном сюртуке из зеленой бумазеи, взятом напрокат в театральной парикмахерской, из пьесы «Манон Леско». Он подчеркнуто много ел за ужином, пронзительно, так что самому было противно, смеялся, глядя на Чирву, обозвал критиков «шакалами, питающимися падалью». Затем развалился и курил, поправляя пенсне на мокром носу. В общем, все ожидали большего.

После выхода второго номера решено было

устраивать вечера под названием «Великолепные кощунства». На одно из таких кощунств пришла Даша. Парадную дверь ей отворил Жиров и сразу засуетился, стаскивая с Даши ботики, шубку, снял даже какую-то ниточку с суконного ее платья. Дашу удивило, что в прихожей пахнет капустой. Жиров, скользя бочком за ней по коридору, к месту кощунства, спросил:

— Скажите, вы какими духами душитесь? Замечательно приятные духи.

Затем удивила Дашу «доморощенность» всего этого так нашумевшего дерзновения. Правда, на стенах были разбросаны глаза, носы, руки, срамные фигуры, падающие небоскребы — словом, все, что составляло портрет Василия Веньяминовича Валета, молча стоявшего здесь же с нарисованными зигзагами на щеках. Правда, хозяева и гости, — а среди них были почти все молодые поэты, посещавшие вторники у Смоковниковых, — сидели на неоструганных досках, положенных на обрубки дерева (дар Телегина). Правда, читались преувеличенно наглыми голосами стихи про автомобили, ползущие по небесному своду, про «плевки в старого небесного сифилитика», про молодые челюсти, которыми автор разгрызал, как орехи, церковные купола,

про какого-то до головной боли непонятного кузнечика в коверкоте, с бедекером и биноклем, прыгающего из окна на мостовую. Но Даше почему-то все эти ужасы казались убогими. По-настоящему понравился ей только Телегин. Во время разговора он подошел к Даше и спросил с застенчивой улыбкой, не хочет ли она чаю и бутербродов.

— И чай и колбаса у нас обыкновенные, хорошие.

У него было загорелое лицо, бритое и простоватое, и добрые синие глаза, должно быть, умные и твердые, когда нужно.

Даша подумала, что доставит ему удовольствие, если согласится, поднялась и пошла в столовую. Там на столе стояло блюдо с бутербродами и помятый самовар. Телегин сейчас же собрал грязные тарелки и поставил их прямо на пол в угол комнаты, оглянулся, ища тряпку, вытер стол носовым платком, налил Даше чаю и выбрал бутерброд наиболее «деликатный». Все это он делал не спеша, большими сильными руками, и приговаривал, словно особенно стараясь, чтобы Даше было уютно среди этого мусора:

— Хозяйство у нас в беспорядке, это верно, но чай и колбаса первоклассные, от Елисеева. Были

конфеты, но съедены, хотя, — он поджал губы и поглядел на Дашу, в синих глазах его появился испуг, затем решимость, — если позволите? — и вытащил из жилетного кармана две карамельки в бумажках.

«С таким не пропадешь», — подумала Даша и тоже, чтобы ему было приятно, сказала:

— Как раз мои любимые карамельки.

Затем Телегин, бочком присев напротив Даши, принялся внимательно глядеть на горчичницу. На его большом и широком лбу от напряжения налилась жила. Он осторожно вытащил платок и вытер лоб.

У Даши губы сами растягивались в улыбку: этот большой красивый человек до того в себе не уверен, что готов спрятаться за горчичницу. У него где-нибудь в Арзамасе, — так ей показалось, — живет чистенькая старушка мать и пишет оттуда строгие письма насчет его «постоянной манеры давать взаймы денежки разным дуракам», насчет того, что только «скромностью и прилежанием получишь, друг мой, уважение среди людей». И он, очевидно, вздыхает над этими письмами, понимая, как далеко ему до совершенства. Даша почувствовала нежность к этому человеку.

— Вы где служите? — спросила она.

Телегин сейчас же поднял глаза, увидел ее улыбку и широко улыбнулся.

— На Балтийском заводе.

— Интересная работа у вас?

— Не знаю. По-моему, всякая работа интересна.

— Мне кажется, рабочие должны вас очень любить.

— Вот не думал никогда об этом. Но, по-моему, не должны любить. За что им меня любить? Я с ними строг. Хотя отношения хорошие, конечно. Товарищеские отношения.

— Скажите, — вам действительно нравится все, что сегодня делалось в той комнате?

Морщины сошли со лба Ивана Ильича, он громко рассмеялся.

— Мальчишки. Хулиганы отчаянные. Замечательные мальчишки. Я своими жильцами доволен, Дарья Дмитриевна. Иногда в нашем деле бывают неприятности, вернешься домой расстроенным, а тут преподнесут чепуху какую-нибудь… На следующий день вспомнишь — умора.

— А мне эти кощунства очень не понравились, — сказала Даша строго, — это просто нечистоплотно.

Он с удивлением посмотрел ей в глаза. Она подтвердила — «очень не понравилось».

— Разумеется, виноват прежде всего я сам, — проговорил Иван Ильич раздумчиво, — я их к этому поощрял. Действительно, пригласить гостей и весь вечер говорить непристойности… Ужасно, что вам все это было так неприятно.

Даша с улыбкой глядела ему в лицо. Она могла бы что угодно сказать этому почти незнакомому ей человеку.

— Мне представляется, Иван Ильич, что вам совсем другое должно нравиться. Мне кажется, — вы хороший человек. Гораздо лучше, чем сами о себе думаете. Правда, правда.

Даша, облокотясь, подперла подбородок и мизинцем трогала губы. Глаза ее смеялись, а ему казались они страшными, — до того были потрясающе прекрасны: серые, большие, холодноватые. Иван Ильич в величайшем смущении сгибал и разгибал чайную ложку.

На его счастье, в столовую вошла Елизавета Киевна, — на ней была накинута турецкая шаль и на ушах бараньими рогами закручены две косы. Даше она подала длинную мягкую руку, представилась:

— Расторгуева, — села и сказала: — О вас много, много рассказывал Жиров. Сегодня я изучала ваше лицо. Вас коробило. Это хорошо.

— Лиза, хотите холодного чаю? — поспешно спросил Иван Ильич.

— Нет, Телегин, вы знаете, что я никогда не пью чаю… Так вот, вы думаете, конечно, что за странное существо говорит с вами? Я — никто. Ничтожество. Бездарна и порочна.

Иван Ильич, стоявший у стола, в отчаянии отвернулся. Даша опустила глаза. Елизавета Киевна с улыбкой разглядывала ее.

— Вы изящны, благоустроены и очень хороши собой. Не спорьте, вы это сами знаете. В вас, конечно, влюбляются десятки мужчин. Обидно думать, что все это кончится очень просто, — придет самец, народите ему детей, потом умрете. Скука.

У Даши от обиды задрожали губы.

— Я и не собираюсь быть необыкновенной, — ответила она, — и не знаю, почему вас так волнует моя будущая жизнь.

Елизавета Киевна еще веселее улыбнулась, глаза же ее продолжали оставаться грустными и кроткими.

— Я же вас предупредила, что я ничтожная как человек и омерзительная как женщина. Переносить меня могут очень немногие, и то из жалости, как, например, Телегин.

— Черт знает, что вы говорите, Лиза, — пробормотал он, не поднимая головы.

— Я ничего от вас не требую, Телегин, успокойтесь. — И она опять обратилась к Даше: — Вы переживали когда-нибудь бурю? Я пережила одну бурю. Был человек, я его любила, он меня ненавидел, конечно. Я жила тогда на Черном море. Была буря. Я говорю этому человеку: «Едем…» От злости он поехал со мной… Нас понесло в открытое море… Вот было весело. Чертовски весело. Я сбрасываю с себя платье и говорю ему…

— Слушайте, Лиза, — сказал Телегин, морща губы и нос, — вы врете. Ничего этого не было, я знаю.

Тогда Елизавета Киевна с непонятной улыбкой поглядела на него и вдруг начала смеяться. Положила локти на стол, спрятала в них лицо и, смеясь, вздрагивала полными плечами. Даша поднялась и сказала Телегину, что хочет домой и уедет, если можно, ни с кем не прощаясь.

Иван Ильич подал Даше шубку так осторожно, точно шубка была тоже частью Дашиного существа, сошел вниз по темной лестнице, все время зажигая спички и сокрушаясь, что так темно, ветрено и скользко, довел Дашу до угла и посадил на извозчичьи санки, — извозчик был старичок,

и лошадка его занесена снегом. И долго еще стоял и смотрел, без шапки и пальто, как таяли и расплывались в желтом тумане низенькие санки с сидящей в них фигурой девушки. Потом не спеша вернулся домой, в столовую. Там, у стола, все так же — лицом в руки — сидела Елизавета Киевна. Телегин почесал подбородок и проговорил, морщась:

— Лиза.

Тогда она быстро, слишком быстро, подняла голову.

— Лиза, для чего, простите меня, вы всегда заводите такой разговор, что всем делается неловко и стыдно?

— Влюбился, — негромко проговорила Елизавета Киевна, продолжая глядеть на него близорукими, грустными, точно нарисованными глазами, — сразу вижу. Вот скука.

— Это совершенная неправда. — Телегин побагровел. — Неправда.

— Ну, виновата. — Она лениво встала и ушла, волоча за собой по полу пыльную турецкую шаль.

Иван Ильич походил некоторое время в задумчивости, выпил холодного чаю, потом взял стул, на котором сидела Дарья Дмитриевна, и отнес его

в свою комнату. Там примерился, поставил его в угол и, взяв себя всей горстью за нос, проговорил точно с величайшим изумлением:

— Чепуха. Вот ерунда-то!

Для Даши эта встреча была как одна из многих, — встретила очень славного человека, и только. Даша была в том еще возрасте, когда видят и слышат плохо: слух оглушен шумом крови, а глаза повсюду, — будь даже это человеческое лицо, — видят, как в зеркале, только свое изображение. В такое время лишь уродство поражает фантазию, а красивые люди, и обольстительные пейзажи, и скромная красота искусства считаются повседневной свитой королевы в девятнадцать лет.

Не так было с Иваном Ильичом. Теперь, когда с посещения Даши прошло больше недели, ему стало казаться удивительным, как могла незаметно (он с ней не сразу даже и поздоровался) и просто (вошла, села, положила муфту на колени) появиться в их оголтелой квартире эта девушка с нежной, нежно-розовой кожей, в черном суконном платье, с высоко поднятыми пепельными волосами и надменным детским ртом. Непонятно было, как решился он спокойно говорить с ней про колбасу от Елисеева.

А теплые карамелечки вытащил из кармана, предложил съесть? Мерзавец!

Иван Ильич за свою жизнь (ему недавно исполнилось двадцать девять лет) влюблялся раз шесть: еще реалистом, в Казани, — в зрелую девицу, Марусю Хвоеву, дочь ветеринарного врача, давно уже и бесплодно гуляющую, все в одной и той же плюшевой шубке, по главной улице в четыре часа; но Марусе Хвоевой было не до шуток, — Ивана Ильича отвергли, и он без предварительного перехода увлекся гастролершей Адой Тилле, поражавшей казанцев тем, что в опереттах, из какой бы эпохи ни были они, появлялась, по возможности, в костюме для морского купанья, что и подчеркивалось дирекцией в афишах: «Знаменитая Ада Тилле, получившая золотой приз за красоту ног».

Иван Ильич дошел даже до того, что пробрался к ней в дом и поднес букет, нарванный в городском саду. Но Ада Тилле, сунув эти цветы понюхать лохматой собачонке, сказала Ивану Ильичу, что от местной пищи у нее совершенно испорчен желудок, и попросила его сбегать в аптеку. Тем дело и кончилось.

Затем, уже студентом, в Петербурге, он увлекся было медичкой Вильбушевич и даже ходил к ней

на свидание в анатомический театр, но как-то само собой из этого ничего не вышло, и Вильбушевич уехала служить в земство.

Однажды Ивана Ильича полюбила до слез, до отчаяния модисточка из большого магазина, Зиночка, и он от смущения и душевной мягкости делал все, что ей хотелось, но, в общем, облегченно вздохнул, когда она вместе с отделением фирмы уехала в Москву, — прошло постоянное ощущение каких-то неисполненных обязательств.

Последнее нежное чувство было у него в позапрошлом году, летом, в июне. На дворе, куда выходила его комната, напротив, в окне, каждый день перед закатом появлялась худенькая бледная девушка и, отворив окно, старательно вытряхивала и чистила щеткой свое, всегда одно и то же, рыженькое платье. Потом надевала его и выходила посидеть в парк.

Там, в парке, Иван Ильич в тихие сумерки разговорился с ней, — и с тех пор каждый вечер они гуляли вместе, хвалили петербургские закаты и беседовали.

Девушка эта, Оля Комарова, была одинокая, служила в нотариальной конторе и все хворала, — кашляла. Они беседовали об этом кашле, о

болезни, о том, что по вечерам тоскливо бывает одинокому человеку, и о том, что какая-то ее знакомая, Кира, полюбила хорошего человека и уехала за ним в Крым. Разговоры были скучные. Оля Комарова до того уже не верила в свое счастье, что, не стесняясь, говорила Ивану Ильичу о самых заветных мыслях и даже о том, что иногда рассчитывает, — вдруг он полюбит ее, сойдется, отвезет в Крым.

Иван Ильич очень жалел ее и уважал, но полюбить так и не мог, хотя иногда, после их беседы, лежа на диване в сумерках, думал, — какой он эгоист, бессердечный и плохой человек.

Осенью Оля Комарова простудилась и слегла. Иван Ильич отвез ее в больницу, а оттуда на кладбище. Перед смертью она сказала: «Если я выздоровею, вы женитесь на мне?» — «Честное слово, женюсь», — ответил Иван Ильич.

Чувство к Даше не было похоже на те, прежние. Елизавета Киевна сказала: «Влюбился». Но влюбиться можно было во что-то предполагаемое доступным, и невозможно, например, влюбиться в статую или в облако.

К Даше было какое-то особенное, незнакомое ему чувство, притом малопонятное, потому что и причин-то к нему было мало — несколько минут

разговора да стул в углу комнаты.

Чувство это было даже и не особенно острое, но Ивану Ильичу хотелось самому теперь стать тоже особым, начать очень следить за собой. Он часто думал: «Мне скоро тридцать лет, а жил я до сих пор — как трава рос. Запустение страшное. Эгоизм и безразличие к людям. Надо подтянуться, пока не поздно».

В конце марта, в один из тех передовых весенних дней, неожиданно врывающихся в белый от снега, тепло закутанный город, когда с утра заблестит, зазвенит капель с карнизов и крыш, зажурчит вода по водосточным трубам, верхом потекут под ними зеленые кадки, развезет на улицах снег, задымится асфальт и высохнет пятнами, когда тяжелая шуба повиснет на плечах, глядишь, — а уж какой-то мужчина с острой бородкой идет в одном пиджаке, и все оглядываются на него, улыбаются, а поднимешь голову — небо такое бездонное и синее, словно вымыто водами, — в такой день, в половине четвертого, Иван Ильич вышел из технической конторы, что на Невском, расстегнул хорьковую шубу и сощурился от солнца.

«На свете жить все-таки недурно».

И в ту же минуту увидел Дашу. Она медленно

шла, в синем весеннем пальто, с краю тротуара и махала левой рукой со сверточком; на синей ее шапочке покачивались белые ромашки; лицо было задумчивое и грустное. Она шла с той стороны, откуда по лужам, по рельсам трамваев, в стекла, в спины прохожим, под ноги им, на спицы и медь экипажей светило из синей бездны огромное солнце, косматое, пылающее весенней яростью.

Даша точно вышла из этой синевы и света и прошла, пропала в толпе. Иван Ильич долго смотрел в ту сторону. Сердце медленно било в грудь. Воздух был густой, пряный, кружащий голову.

Иван Ильич медленно дошел до угла и, заложив за спину руки, долго стоял перед столбом с афишами. «Новые и интересные приключения Джека, потрошителя животов», — прочел он и сообразил, что ничего не понимает и счастлив так, как в жизни с ним еще не бывало.

А отойдя от столба, во второй раз увидел Дашу. Она возвращалась, все так же — с ромашками и сверточком, по краю тротуара. Он подошел к ней, снял шляпу.

— Дарья Дмитриевна, какой день чудесный…

Она чуть-чуть вздрогнула. Затем подняла на него холодноватые глаза, — в них от света блестели зеленые точки, — улыбнулась ласково и

подала руку в белой лайковой перчатке, крепко, дружески.

— Вот как хорошо, что я вас встретила. Я даже думала сегодня о вас… Правда, правда думала. — Даша кивнула головой, и на шапочке закивали ромашки.

— У меня, Дарья Дмитриевна, было дело на Невском, и теперь весь день свободный. И день-то какой… — Иван Ильич сморщил губы, собирая все присутствие духа, чтобы они не расплылись в улыбку.

Даша спросила:

— Иван Ильич, вы могли бы меня проводить до дома?

Они свернули в боковую улицу и шли теперь в тени.

— Иван Ильич, вам не будет странно, если я спрошу вас об одной вещи? Нет, конечно, с вами-то я и поговорю. Только вы отвечайте мне сразу. Отвечайте, не раздумывая, а прямо, — как спрошу, так и ответьте.

Лицо ее было озабоченно и брови сдвинуты.

— Раньше мне казалось так, — она провела рукой по воздуху, — есть воры, лгунишки, убийцы… Они существуют где-то в стороне, так же как змеи, пауки, мыши. А люди, все люди — может быть,

со слабостями, с чудачествами, но все — добрые и ясные… Вон видите — идет барышня, — ну вот какая она есть, такая и есть. Весь свет мне казался точно нарисованным чудесными красками. Вы понимаете меня?

— Но это прекрасно, Дарья Дмитриевна…

— Подождите. А теперь я точно проваливаюсь в эту картину, в темноту, в духоту… Я вижу, — человек может быть обаятельным, даже каким-то особенно трогательным, прямо на ощупь, и грешить, грешить ужасно при этом. Вы не подумайте, — не пирожки таскать из буфета, а грех настоящий: ложь. — Даша отвернулась, подбородок ее дрогнул. — Человек этот прелюбодей. Женщина — замужняя. Значит, можно? Я спрашиваю, Иван Ильич.

— Нет, нет, нельзя.

— Почему нельзя?

— Этого сейчас сказать не могу, но чувствую, что нельзя.

— А вы думаете, я сама этого не чувствую? С двух часов брожу в тоске. День такой ясный, свежий, а мне представляется, что в этих домах, за занавесками, попрятались черные люди. И я должна быть с ними, вы понимаете?

— Нет, не понимаю, — быстро ответил он.

— Нет, должна. Ах, какая тоска у меня. Значит, просто я — девчонка. А этот город не для девчонок построен, а для взрослых.

Даша остановилась у подъезда и носком высокого башмака стала передвигать взад и вперед по асфальту коробку от папирос, с картинкой — зеленая дама, изо рта дым. Иван Ильич, глядя на лакированный носок Дашиной ноги, чувствовал, как Даша словно тает, уходит туманом. Он бы хотел удержать ее, но какой силой? Есть такая сила, и он чувствовал, как она сжимает ему сердце, стискивает горло. Но для Даши все его чувство, как тень на стене, потому что и он сам не более как «добрый, славный Иван Ильич».

— Ну, прощайте, спасибо вам, Иван Ильич. Вы очень славный и добрый. Мне легче не стало, но все же я вам очень, очень благодарна. Вы меня поняли, правда? Вот какие дела на свете. Надо быть взрослой, ничего не поделаешь. Заходите к нам в свободный часок, пожалуйста. — Она улыбнулась, встряхнула ему руку и вошла в подъезд, пропала там в темноте.

# 6

Даша растворила дверь своей комнаты и остановилась в недоумении: пахло сырыми цветами, и сейчас же она увидела на туалетном столике корзину с высокой ручкой и синим бантом, подбежала и опустила в нее лицо. Это были пармские фиалки, помятые и влажные.

Даша была взволнована. С утра ей хотелось чего-то неопределимого, а сейчас она поняла, что хотелось именно фиалок. Но кто их прислал? Кто думал о ней сегодня так внимательно, что угадал даже то, чего она сама не понимала? Вот только бант совсем уж здесь не к месту. Развязывая его, Даша подумала: «Хоть и беспокойная, но не плохая девушка. Какими бы вы там грешками ни занимались, — она пойдет своей дорогой. Быть может, думаете, что слишком задирает нос? — Найдутся люди, которые поймут задранный нос и даже оценят».

В банте оказалась засунутой записка на толстой бумаге, два слова незнакомым крупным почерком: «Любите любовь». С обратной стороны: «Цветоводство Ницца». Значит, там, в магазине,

кто-то и написал: «Любите любовь». Даша с корзинкой в руках вышла в коридор и крикнула:

— Могол, кто мне принес эти цветы?

Великий Могол посмотрела на корзину и чистоплотно вздохнула, — эти вещи ее ни с какой стороны не касались.

— Екатерине Дмитриевне мальчишка из магазина принес. А барыня вам велела поставить.

— От кого, он сказал?

— Ничего не говорил, только сказал, чтобы передали барыне.

Даша вернулась к себе и стала у окна. Сквозь стекла был виден закат, — слева, из-за кирпичной стены соседнего дома, он разливался по небу, зеленел и линял. Появилась звезда в этой зеленеющей пустоте, переливаясь, сверкала, как вымытая. Внизу, в узкой и затуманившейся теперь улице, сразу во всю ее длину, вспыхнули электрические шары, еще не яркие и не светящие. Близко прокрякал автомобиль, и было видно, как покатил вдоль улицы в вечернюю мглу.

В комнате стало совсем темно, и нежно пахли фиалки. Их прислал тот, с кем у Кати был грех. Это ясно. Даша стояла и думала, что вот она, как муха, попала во что-то, как паутина, — тончайшее и соблазнительное. Это «что-то» было во

влажном запахе цветов, в двух словах: «Любите любовь», жеманных и волнующих, и в весеннем очаровании этого вечера.

И вдруг ее сердце сильно и часто забилось. Даша почувствовала, точно прикасается пальцами, видит, слышит, ощущает что-то запретное, скрытое, обжигающее сладостью. Она внезапно, всем духом словно разрешила себе, дала волю. И нельзя было понять, как случилось, что в то же мгновенье она была уже по эту сторону. Строгость, ледяная стеночка растаяла дымкой, такой же, как та, в конце улицы, куда беззвучно унесся автомобиль с двумя дамами в белых шляпах.

Только билось сердце, легко кружилась голова, и во всем теле веселым холодком сама собою пела музыка: «Я живу, люблю. Радость, жизнь, весь свет — мои, мои, мои!»

— Послушайте, моя милая, — вслух проговорила Даша, открывая глаза, — вы — девственница, друг мой, у вас просто несносный характер…

Она пошла в дальний угол комнаты, села в большое мягкое кресло и, не спеша обдирая бумагу с шоколадной плитки, стала припоминать все, что произошло за эти две недели.

В доме ничего не изменилось. Катя даже стала особенно нежной с Николаем Ивановичем.

Он ходил веселый и собирался строить дачу в Финляндии. Одна Даша переживала молча эту «трагедию» двух ослепших людей. Заговорить первая с сестрой она не решалась, а Катя, всегда такая внимательная к Дашиным настроениям, на этот раз точно ничего не замечала. Екатерина Дмитриевна заказывала себе и Даше весенние костюмы к пасхе, пропадала у портних и модисток, принимала участие в благотворительных базарах, устраивала по просьбе Николая Ивановича литературный спектакль с негласной целью сбора в пользу комитета левого крыла социал-демократической партии, — так называемых большевиков, — собирала гостей, кроме вторников, еще и по четвергам, — словом, у нее не было ни минуты свободной.

«А вы в это время трусили, ни на что не решались и размышляли над вещами, в которых, как овца, ничего не понимали и не поймете, покуда сами не обожжете крылышки», — подумала Даша и тихо засмеялась. Из того темного озера, куда падали ледяные шарики и откуда нельзя было ожидать ничего хорошего, встал, как часто бывало за эти дни, едкий и злой образ Бессонова. Она разрешила себе, и он овладел ее мыслями. Даша притихла. В темной комнате тикали часики.

Затем далеко в доме хлопнула дверь, и было слышно, как голос сестры спросил:

— Давно вернулась?

Даша поднялась с кресла и вышла в прихожую.

Екатерина Дмитриевна сейчас же сказала:

— Почему ты красная?

Николай Иванович, снимая драповое пальто, отпустил остроту из репертуара любовника-резонера. Даша, с ненавистью поглядев ему на мягкие большие губы, пошла за Катей в ее спальню. Там, присев у туалета, изящного и хрупкого, как все в комнате сестры, она стала слушать болтовню о знакомых, встреченных во время прогулки.

Рассказывая, Екатерина Дмитриевна наводила порядок в зеркальном шкафу, где лежали перчатки, куски кружев, вуальки, шелковые башмачки, — множество маленьких пустяков, пахнущих ее духами. «Оказывается, что Керенский опять проворонил процесс и сидит без денег; встретила его жену, плачется, — очень трудно стало жить. У Тимирязевых корь. Шейнберг опять сошелся со своей истеричкой, передают, что она даже стрелялась у него на квартире. Вот весна-то, весна. А день какой сегодня? Все бродят, как пьяные, по улицам. Да, еще новость, — встрети-

ла Акундина, уверяет, что в самом ближайшем времени у нас будет революция. Понимаешь, на заводах, в деревнях — повсюду брожение. Ах, поскорее бы. Николай Иванович до того обрадовался, что повел меня к Пивато, и мы выпили бутылку шампанского, ни с того ни с сего, за будущую революцию».

Даша, молча слушая сестру, открывала и закрывала крышечки на хрустальных флаконах.

— Катя, — сказала она внезапно, — понимаешь, — я такая, какая есть, никому не нужна. — Екатерина Дмитриевна, с шелковым чулком, натянутым на руку, обернулась и внимательно взглянула на сестру. — Главное, я не нужна самой себе такая. Вроде того, если бы человек решил есть одну сырую морковь и считал бы, что это его ставит гораздо выше остальных людей.

— Не понимаю тебя, — сказала Екатерина Дмитриевна.

Даша поглядела на ее спину и вздохнула.

— Все нехороши, всех я осуждаю. Один глуп, другой противный, третий грязный. Одна я хороша. Я здесь чужая, мне очень тяжело от этого. Я и тебя осуждаю, Катя.

— За что? — не оборачиваясь, тихо спросила Екатерина Дмитриевна.

— Нет, ты пойми. Хожу с задранным носом, — вот и все достоинства. Просто это глупо, и мне надоело быть чужой среди вас всех. Одним словом, понимаешь, мне очень нравится один человек.

Даша проговорила это, опустив голову; засунула палец в хрустальный флакончик и не могла его оттуда вытащить.

— Ну, что же, девочка, слава богу, если нравится. Будешь счастлива. Кому же и счастье, как не тебе. — Екатерина Дмитриевна легонько вздохнула.

— Видишь ли, Катя, все это не так просто. По-моему, — я не люблю его.

— Если нравится, — полюбишь.

— В том-то и дело, что он мне не нравится.

Тогда Екатерина Дмитриевна закрыла дверцу шкафа и остановилась около Даши.

— Ты же только что сказала, что нравится… Вот, действительно…

— Катюша, не придирайся. Помнишь англичанина в Сестрорецке, вот тот и нравился, была даже влюблена. Но тогда я была сама собой… Злилась, пряталась, по ночам ревела. А этот… Я даже не знаю, — он ли это… Нет, он, он, он… Смутил меня… И вся я другая теперь. Точно дыму

какого-то нанюхалась… Войди он сейчас ко мне в комнату, — не пошевелюсь… делай что хочешь…

— Даша, что ты говоришь?

Екатерина Дмитриевна присела на стул к сестре, привлекла ее, взяла ее горячую руку, поцеловала в ладонь, но Даша медленно освободилась, вздохнула, подперла голову и долго глядела на синеющее окно, на звезды.

— Даша, как его зовут?

— Алексей Алексеевич Бессонов.

Тогда Катя пересела на стул, рядом, положила руку на горло и сидела не двигаясь. Даша не видела ее лица, — оно все было в тени, — но чувствовала, что сказала ей что-то ужасное.

«Ну, и тем лучше», — отворачиваясь, подумала она. И от этого «тем лучше» стало легко и пусто.

— Почему, скажи, пожалуйста, другие все могут, а я не могу? Два года слышу про шестьсот шестьдесят шесть соблазнов, а всего-то за всю жизнь один раз целовалась с гимназистом на катке.

Она вздохнула громко и замолчала. Екатерина Дмитриевна сидела теперь согнувшись, опустив руки на колени.

— Бессонов очень дурной человек, — проговорила она, — он страшный человек, Дашенька. Ты слушаешь меня?

— Да.

— Он всю тебя сломает.

— Ну что же теперь поделаешь.

— Я не хочу этого. Пусть лучше другие… Но не ты, не ты, милочка.

— Нет, вороненок не хорош, он черен телом и душой, — сказала Даша, — чем же Бессонов плох, скажи?

— Не могу сказать… Не знаю… Но я содрогаюсь, когда думаю о нем.

— А ведь он тебе тоже, кажется, нравился немножко?

— Никогда… Ненавижу!.. Храни тебя господь от него.

— Вот видишь, Катюша… Теперь уж я наверно попаду к нему в сети.

— О чем ты говоришь?.. Мы с ума сошли обе.

Но Даше именно этот разговор и нравился, точно шла на цыпочках по дощечке. Нравилось, что волнуется Катя. О Бессонове она почти уже не думала, но нарочно принялась рассказывать про свои чувства к нему, описывала встречи, его лицо. Все это преувеличивала, и выходило так, будто она ночи напролет томится и чуть ли не сейчас готова бежать к Бессонову. Под конец ей самой стало смешно, захотелось схватить Катю за

плечи, расцеловать: «Вот уж кто дурочка, так это ты, Катюша». Но Екатерина Дмитриевна вдруг соскользнула со стула на коврик, обхватила Дашу, легла лицом в ее колени и, вздрагивая всем телом, крикнула как-то страшно даже:

— Прости, прости меня… Даша, прости меня!

Даша перепугалась. Нагнулась к сестре и от страха и жалости сама заплакала, всхлипывая, стала спрашивать, — о чем она говорит, за что ее простить? Но Екатерина Дмитриевна стиснула зубы и только ласкала сестру, целовала ей руки.

За обедом Николай Иванович, взглянув на обеих сестер, сказал:

— Так-с. А нельзя ли и мне быть посвященным в причину сих слез?

— Причина слез — мое гнусное настроение, — сейчас же ответила Даша, — успокойся, пожалуйста, и без тебя понимаю, что не стою мизинчика твоей супруги.

В конце обеда, к кофе, пришли гости. Николай Иванович решил, что по случаю семейных настроений необходимо поехать в кабак. Куличек стал звонить в гараж, Катю и Дашу послали переодеваться. Пришел Чирва и, узнав, что собираются в кабак, неожиданно рассердился:

— В конце концов от этих непрерывных кутe-

жей страдает кто? Русская литература-с. — Но и его взяли в автомобиль вместе с другими.

В «Северной Пальмире» было полно народа и шумно, огромная зала в подвале ярко залита белым светом хрустальных люстр. Люстры, табачный дым, поднимающийся из партера, тесно поставленные столики, люди во фраках и голые плечи женщин, цветные парики на них — зеленые, лиловые и седые, пучки снежных эспри, драгоценные камни, дрожащие на шеях и в ушах снопиками оранжевых, синих, рубиновых лучей, скользящие в темноте лакеи, испитой человек с поднятыми руками и магическая его палочка, режущая воздух перед занавесом малинового бархата, блестящая медь труб, — все это множилось в зеркальных стенах, и казалось, будто здесь, в бесконечных перспективах, сидит все человечество, весь мир.

Даша, потягивая через соломинку шампанское, наблюдала за столиками. Вот перед запотевшим ведром и кожурой от лангуста сидит бритый человек с напудренными щеками. Глаза его полузакрыты, рот презрительно сжат. Очевидно, сидит и думает о том, что в конце концов электричество потухнет и все люди умрут, — стоит ли радоваться чему-нибудь.

Вот заколыхался и пошел в обе стороны занавес. На эстраду выскочил маленький японец с трагическими морщинами, и замелькали вокруг в воздухе пестрые шары, тарелки, факелы. Даша подумала: «Почему Катя сказала — прости, прости?»

И вдруг точно обручем стиснуло голову, остановилось сердце. «Неужели?» Но она тряхнула головой, вздохнула глубоко, не дала даже подумать себе, что — «неужели», и поглядела на сестру.

Екатерина Дмитриевна сидела на другом конце стола такая утомленная, печальная и красивая, что у Даши глаза налились слезами. Она поднесла палец к губам и незаметно дунула на него. Это был условный знак. Катя увидела, поняла и нежно, медленно улыбнулась.

Часов около двух начался спор — куда ехать? Екатерина Дмитриевна попросилась домой. Николай Иванович говорил, что как все, так и он, а «все» решили ехать «дальше».

И тогда Даша сквозь поредевшую толпу увидела Бессонова. Он сидел, положив локоть далеко на стол, и внимательно слушал Акундина, который с полуизжеванной папироской во рту говорил ему что-то, резко чертя ногтем по скатерти. На

этот летающий ноготь Бессонов и глядел. Его лицо было сосредоточенно и бледно. Даше показалось, что сквозь шум она расслышала: «Конец, конец всему». Но сейчас же их обоих заслонил широкобрюхий татарин-лакей. Поднялись Катя и Николай Иванович, Дашу окликнули, и она так и осталась, уколотая любопытством и взволнованная.

Когда вышли на улицу, — неожиданно бодро и сладко пахнуло морозцем. В черно-лиловом небе пылали созвездия. Кто-то за Дашиной спиной проговорил со смешком: «Чертовски шикарная ночь!» К тротуару подкатил автомобиль, сзади, из бензиновой гари, вынырнул оборванный человек, сорвал картуз и, приплясывая, распахнул перед Дашей дверцу мотора. Даша, входя, взглянула — человек был худой, с небритой щетиной, с перекошенным ртом и весь трясся, прижимая локти.

— С благополучно проведенным вечером в храме роскоши и чувственных удовольствий! — бодро крикнул он хриплым голосом, живо подхватил брошенный кем-то двугривенный и салютовал рваной фуражкой. Даша почувствовала, как по ней царапнули его черные свирепые глаза.

Домой вернулись поздно. Даша, лежа на спине

в постели, даже не заснула, а забылась, будто все тело у нее отнялось, — такая была усталость.

Вдруг, со стоном сдергивая с груди одеяло, она села, раскрыла глаза. В окно на паркет светило солнце… «Боже мой, что за ужас был только что?!» Было так страшно, что она едва не заплакала, когда же собралась с духом, — оказалось, что забыла все. Только в сердце осталась боль от какого-то отвратительно страшного сна.

После завтрака Даша пошла на курсы, записалась держать экзамен, купила книг и до обеда действительно вела суровую, трудовую жизнь. Но вечером опять пришлось натягивать шелковые чулки (утром решено было носить только нитяные), пудрить руки и плечи, перечесываться. «Устроить бы на затылке шиш, вот и хорошо, а то все кричат: делай модную прическу, а как ее сделаешь, когда волосы сами рассыпаются». Словом, была мука. На новом же синем шелковом платье оказалось спереди пятно от шампанского.

Даше вдруг стало до того жалко этого платья, до того жаль своей пропадающей жизни, что, держа в руке испорченную юбку, она села и расплакалась. В дверь сунулся было Николай Иванович, но, увидев, что Даша в одной рубашке и плачет, позвал жену. Прибежала Катя, схватила

платье, воскликнула: «Ну, это сейчас отойдет», — кликнула Великого Могола, которая появилась с бензином и горячей водой.

Платье отчистили, Дашу одели. Николай Иванович чертыхался из прихожей: «Ведь премьера же, господа, нельзя опаздывать». И, конечно, в театр опоздали..

Даша, сидя в ложе рядом с Екатериной Дмитриевной, глядела, как рослый мужчина с наклеенной бородой и неестественно расширенными глазами, стоя под плоским деревом, говорил девушке в ярко-розовом: «Я люблю вас, люблю вас», — и держал ее за руку. И хотя пьеса была не жалобная, Даше все время хотелось плакать, жалеть девушку в ярко-розовом, и было досадно, что действие не так поворачивает. Девушка, как выяснилось, и любит и не любит, на объятие ответила русалочьим хохотом и убежала к мерзавцу, белые брюки которого мелькали на втором плане. Мужчина схватился за голову, сказал, что уничтожит какую-то рукопись — дело его жизни, и первое действие окончилось.

В ложе появились знакомые, и начался обычный торопливо приподнятый разговор.

Маленький Шейнберг, с голым черепом и бритым измятым лицом, словно все время вы-

прыгивающим из жесткого воротника, сказал о пьесе, что она захватывает.

— Опять проблема пола, но проблема, поставленная остро. Человечество должно, наконец, покончить с этим проклятым вопросом.

На это ответил угрюмый, большой Буров, следователь по особо важным делам, — либерал, у которого на рождестве сбежала жена с содержателем скаковой конюшни:

— Как для кого — для меня вопрос решенный. Женщина лжет самым фактом своего существования, мужчина лжет при помощи искусства. Половой вопрос — просто мерзость, а искусство — один из видов уголовного преступления.

Николай Иванович захохотал, глядя на жену. Буров продолжал мрачно:

— Птице пришло время нести яйца, — самец одевается в пестрый хвост. Это ложь, потому что природный хвост у него серый, а не пестрый. На дереве распускается цветок — тоже ложь, приманка, а суть в безобразных корнях под землей. А больше всего лжет человек. На нем цветов не растет, хвоста у него нет, приходится пускать в дело язык; ложь сугубая и отвратительная — так называемая любовь и все, что вокруг нее накручено. Вещи, загадочные для барышень в нежном воз-

расте только, — он покосился на Дашу, — в наше время — полнейшего отупения — этой чепухой занимаются серьезные люди. Да-с, Российское государство страдает засорением желудка.

Он с катаральной гримасой нагнулся над коробкой конфет, покопал в ней пальцем, ничего не выбрал и поднял к глазам морской бинокль, висевший у него на ремешке через шею.

Разговор перешел на застой в политике и реакцию. Куличек взволнованным шепотом рассказал последний дворцовый скандал.

— Кошмар, кошмар, — быстро проговорил Шейнберг.

Николай Иванович ударил себя по коленке:

— Революция, господа, революция нужна нам немедленно. Иначе мы просто задохнемся. У меня есть сведения, — он понизил голос, — на заводах очень неспокойно.

Все десять пальцев Шейнберга взлетели от возбуждения на воздух.

— Но когда же, когда? Невозможно без конца ждать.

— Доживем, Яков Александрович, доживем, — проговорил Николай Иванович весело, — и вам портфельчик вручим министра юстиции, ваше превосходительство.

Даше надоело слушать об этих проблемах, революциях и портфелях. Облокотясь о бархат ложи и другою рукою обняв Катю за талию, она глядела в партер, иногда с улыбкой кивая знакомым. Даша знала и видела, что они с сестрой нравятся, и эти удивленные в толпе взгляды — нежные мужские и злые женские, — и обрывки фраз, и улыбки возбуждали ее, как пьянит весенний воздух. Слезливое настроение прошло. Щеку около уха щекотал завиток Катиных волос.

— Катюша, я тебя люблю, — шепотом проговорила Даша.

— И я.

— Ты рада, что я у тебя живу?

— Очень.

Даша раздумывала, что бы ей еще сказать Кате доброе. И вдруг внизу увидела Телегина. Он стоял в черном сюртуке, держал в руках фуражку и афишу и давно уже исподлобья, чтобы не заметили, глядел на ложу Смоковниковых. Его загорелое твердое лицо заметно выделялось среди остальных лиц, либо слишком белых, либо испитых. Волосы его были гораздо светлее, чем Даша их представляла, — как рожь.

Встретясь глазами с Дашей, он сейчас же поклонился, затем отвернулся, но у него упала

шапка. Нагибаясь, он толкнул сидевшую в креслах толстую даму, начал извиняться, покраснел, попятился и наступил на ногу редактору эстетического журнала «Хор муз». Даша сказала сестре:

— Катя, это и есть Телегин.

— Вижу, очень милый.

— Поцеловала бы, до чего мил. И если бы ты знала, до чего он умный человек, Катюша.

— Вот, Даша…

— Что?

Но сестра промолчала. Даша поняла и тоже приумолкла. У нее опять защемило сердце, — у себя, в улиточьем дому, было неблагополучно: на минуту забылась, а заглянула опять туда — тревожно-темно.

Когда зал погас и занавес поплыл в обе стороны, Даша вздохнула, сломала шоколадку, положила в рот и внимательно стала слушать.

Человек с наклеенной бородой продолжал грозиться сжечь рукопись, девушка издевалась над ним, сидя у рояля. И было очевидно, что эту девицу поскорее нужно выдать замуж, чем тянуть еще канитель на три акта.

Даша подняла глаза к плафону зала, — там среди облаков летела прекрасная полуобнаженная женщина с радостной и ясной улыбкой. «Боже, до

чего похожа на меня», — подумала Даша. И сейчас же увидела себя со стороны: сидит существо в ложе, ест шоколад, врет, путает и ждет, чтобы само собою случилось что-то необыкновенное. Но ничего не случится. «И жизни мне нет, покуда не пойду к нему, не услышу его голоса, не почувствую его всего. А остальное — ложь. Просто — нужно быть честной».

С этого вечера Даша не раздумывала более. Она знала теперь, что пойдет к Бессонову, и боялась этого часа. Одно время она решила было уехать к отцу в Самару, но подумала, что полторы тысячи верст не спасут от искушения, и махнула рукой.

Ее здоровая девственность негодовала, но что можно было поделать со «вторым человеком», когда ему помогало все на свете. И, наконец, было невыносимо оскорбительно так долго страдать и думать об этом Бессонове, который и знать-то ее не хочет, живет в свое удовольствие где-то около Каменноостровского проспекта, пишет стихи об актрисе с кружевными юбками. А Даша вся до последней капельки наполнена им, вся в нем.

Даша теперь нарочно гладко причесывала волосы, закручивая их шишом на затылке, носила старое — гимназическое — платье, привезенное еще из Самары, с тоской, упрямо зубрила римское

право, не выходила к гостям и отказывалась от развлечений. Быть честной оказалось нелегко. Даша просто трусила..

В начале апреля, в прохладный вечер, когда закат уже потух и зеленовато-линялое небо светилось фосфорическим светом, не бросая теней, Даша возвращалась с островов пешком.

Дома она сказала, что идет на курсы, а вместо этого проехала в трамвайчике до Елагина моста и бродила весь вечер по голым аллеям, переходила мостики, глядела на воду, на лиловые сучья, распластанные в оранжевом зареве заката, на лица прохожих, на плывущие за мшистыми стволами огоньки экипажей. Она не думала ни о чем и не торопилась.

Было спокойно на душе, и всю ее, словно до костей, пропитал весенний солоноватый воздух взморья. Ноги устали, но не хотелось возвращаться домой. По широкому проспекту Каменноостровского крупной рысью катили коляски, проносились длинные автомобили, с шутками и смехом двигались кучки гуляющих. Даша свернула в боковую улочку.

Здесь было совсем тихо и пустынно. Зеленело небо над крышами. Из каждого дома, из-за опущенных занавесей, раздавалась музыка. Вот

разучивают сонату, вот — знакомый-знакомый вальс, а вот в тусклом и красноватом от заката окне мезонина поет скрипка.

И у Даши, насквозь пронизанной звуками, тоже все пело и все тосковало. Казалось, тело стало легким и чистым.

Она свернула за угол, прочла на стене дома номер, усмехнулась и, подойдя к парадной двери, где над медной львиной головой была прибита визитная карточка — «А. Бессонов», сильно позвонила.

# 7

Швейцар в ресторане «Вена», снимая с Бессонова пальто, сказал многозначительно:

— Алексей Алексеевич, вас дожидаются.

— Кто?

— Особа женского пола.

— Кто именно?

— Нам неизвестная.

Бессонов, глядя пустыми глазами поверх голов, прошел в дальний угол переполненного ресторанного зала. Лоскуткин — метрдотель, повиснув у него за плечом седыми бакенбардами, сообщил о необыкновенном бараньем седле.

— Есть не хочу, — сказал Бессонов, — дадите белого вина, моего.

Он сидел строго и прямо, положив руки на скатерть. В этот час, в этом месте, как обычно, нашло на него привычное состояние мрачного вдохновения. Все впечатления дня сплелись в стройную и осмысленную форму, и в нем, в глубине, волнуемой завыванием румынских скрипок, запахами женских духов, духотой людного зала, — возникала тень этой вошедшей извне формы, и эта

тень была — вдохновение. Он чувствовал, что каким-то внутренним, слепым осязанием постигает таинственный смысл вещей и слов.

Бессонов поднимал стакан и пил вино, не разжимая зубов. Сердце медленно билось. Было невыразимо приятно чувствовать всего себя, пронизанного звуками и голосами.

Напротив, у столика под зеркалом, ужинали Сапожков, Антошка Арнольдов и Елизавета Киевна. Она вчера написала Бессонову длинное письмо, назначив здесь свидание, и сейчас сидела красная и взволнованная. На ней было платье из полосатой материи, черной с желтым, и такой же бант в волосах. Когда вошел Бессонов, ей стало душно.

— Будьте осторожны, — прошептал ей Арнольдов и показал сразу все свои гнилые и золотые зубы, — он бросил актрису, сейчас без женщины и опасен, как тигр.

Елизавета Киевна засмеялась, тряхнула полосатым бантом и пошла между столиками к Бессонову. На нее оглядывались, усмехались.

За последнее время жизнь Елизаветы Киевны складывалась совсем уныло, — день за днем без дела, без надежды на лучшее, — словом — тоска. Телегин явно невзлюбил ее, обращался вежливо,

но разговоров и встреч наедине избегал. Она же с отчаянием чувствовала, что он-то именно ей и нужен. Когда в прихожей раздавался его голос, Елизавета Киевна пронзительно глядела на дверь. Он шел по коридору, как всегда, на цыпочках. Она ждала, сердце останавливалось, дверь расплывалась в глазах, но он опять проходил мимо. Хоть бы постучал, попросил спичек.

На днях, назло Жирову, с кошачьей осторожностью ругавшему все на свете, она купила книгу Бессонова, разрезала ее щипцами для волос, прочла несколько раз подряд, залила кофеем, смяла в постели и, наконец, за обедом объявила, что он гений… Телегинские жильцы возмутились. Сапожков назвал Бессонова грибком на разлагающемся теле буржуазии. У Жирова вздулась на лбу жила. Художник Валет разбил тарелку. Один Телегин остался безучастным. Тогда у нее произошел так называемый «момент самопровокации», она захохотала, ушла к себе, написала Бессонову восторженное, нелепое письмо с требованием свидания, вернулась в столовую и молча бросила письмо на стол. Жильцы прочли его вслух и долго совещались. Телегин сказал:

— Очень смело написано.

Тогда Елизавета Киевна отдала письмо кухарке,

чтобы немедленно опустить в ящик, и почувствовала, что летит в пропасть.

Сейчас, подойдя к Бессонову, Елизавета Киевна проговорила бойко:

— Я вам писала. Вы пришли. Спасибо.

И сейчас же села напротив него, боком к столу, — нога на ногу, локоть на скатерть, — подперла подбородок и стала глядеть на Алексея Алексеевича нарисованными глазами. Он молчал. Лоскуткин подал второй стакан и налил вина Елизавете Киевне. Она сказала:

— Вы спросите, конечно, зачем я вас хотела видеть?

— Нет, этого я спрашивать не стану. Пейте вино.

— Вы правы, мне нечего рассказывать. Вы живете, Бессонов, а я нет. Мне просто — скучно.

— Чем вы занимаетесь?

— Ничем. — Она засмеялась и сейчас же залилась краской. — Сделаться кокоткой — скучно. Ничего не делаю. Я жду, когда затрубят трубы, и — зарево… Вам странно?

— Кто вы такая?

Она не ответила, опустила голову и еще гуще залилась краской.

— Я — химера, — прошептала она.

Бессонов криво усмехнулся. «Дура, вот дура», — подумал он. Но у нее был такой милый девичий пробор в русых волосах, сильно открытые полные плечи ее казались такими непорочными, что Бессонов усмехнулся еще раз — добрее, вытянул стакан вина сквозь зубы, и вдруг ему захотелось напустить на эту простодушную девушку черного дыма своей фантазии. Он заговорил, что на Россию опускается ночь для совершения страшного возмездия. Он чувствует это по тайным и зловещим знакам.

— Вы видели, — по городу расклеен плакат: хохочущий дьявол летит на автомобильной шине вниз по гигантской лестнице… Вы понимаете, что это означает?..

Елизавета Киевна глядела в ледяные его глаза, на женственный рот, на поднятые тонкие брови и на то, как слегка дрожали его пальцы, державшие стакан, и как он пил, — жаждая, медленно. Голова ее упоительно кружилась. Издали Сапожков начал делать ей знаки. Внезапно Бессонов обернулся и спросил, нахмурясь:

— Кто эти люди?

— Это — мои друзья.

— Мне не нравятся их знаки.

Тогда Елизавета Киевна проговорила, не ду-

мая:

— Пойдемте в другое место, хотите?

Бессонов взглянул на нее пристально. Глаза ее слегка косили, рот слабо усмехался, на висках выступили капельки пота. И вдруг он почувствовал жадность к этой здоровой близорукой девушке, взял ее большую и горячую руку, лежавшую на столе, и сказал:

— Или уходите сейчас же… Или молчите… Едем. Так нужно…

Елизавета Киевна только вздохнула коротко, щеки ее побледнели. Она не чувствовала, как поднялась, как взяла Бессонова под руку, как они прошли между столиками. И когда садились на извозчика, даже ветер не охладил ее пылающей кожи. Пролетка тарахтела по камням. Бессонов, опираясь о трость обеими руками и положив на них подбородок, говорил:

— Мне тридцать пять лет, но жизнь окончена. Меня не обманывает больше любовь. Что может быть грустнее, когда увидишь вдруг, что рыцарский конь — деревянная лошадка? И вот еще много, много времени нужно тащиться по этой жизни, как труп… — Он обернулся, губа его приподнялась с усмешкой. — Видно, и мне, вместе с вами, нужно подождать, когда затрубят

иерихонские трубы. Хорошо, если бы на этом кладбище вдруг раздалось тра-та-та! И — зарево по всему небу… Да, пожалуй, вы правы…

Они подъехали к загородной гостинице. Заспанный половой повел их по длинному коридору в единственный оставшийся незанятым номер. Это была низкая комната с красными обоями, в трещинах и пятнах. У стены, под выцветшим балдахином, стояла большая кровать, в ногах ее — жестяной рукомойник. Пахло непроветренной сыростью и табачным перегаром. Елизавета Киевна, стоя в дверях, спросила чуть слышно:

— Зачем вы привезли меня сюда?

— Нет, нет, здесь нам будет хорошо, — поспешно ответил Бессонов.

Он снял с нее пальто и шляпу и положил на сломанное креслице. Половой принес бутылку шампанского, мелких яблочков и кисть винограда с пробковыми опилками, заглянул в рукомойник и скрылся все так же хмуро.

Елизавета Киевна отогнула штору на окне, — там среди мокрого пустыря горел газовый фонарь и ехали огромные бочки с согнувшимися под рогожами людьми на козлах. Она усмехнулась, подошла к зеркалу и стала поправлять себе волосы какими-то новыми, незнакомыми самой

себе движениями. «Завтра опомнюсь, — сойду с ума», — подумала она спокойно и расправила полосатый бант. Бессонов спросил:

— Вина хотите?

— Да, хочу.

Она села на диван, он опустился у ее ног на коврик и проговорил в раздумье:

— У вас страшные глаза: дикие и кроткие. Русские глаза. Вы любите меня?

Тогда она опять растерялась, но сейчас же подумала: «Нет. Это и есть безумие». Взяла из его рук стакан, полный вина, и выпила, и сейчас же голова медленно закружилась, словно опрокидываясь.

— Я вас боюсь и, должно быть, возненавижу, — сказала Елизавета Киевна, прислушиваясь, как словно издалека звучат ее и не ее слова. — Не смотрите так на меня, мне стыдно.

— Вы странная девушка.

— Бессонов, вы очень опасный человек. Я ведь из раскольничьей семьи, я в дьявола верю… Ах, боже мой, не смотрите же так на меня. Я знаю, зачем я вам понадобилась… Я вас боюсь.

Она громко засмеялась, все тело ее задрожало от смеха, и в руках расплескалось вино из стакана. Бессонов опустил ей в колени лицо:

— Любите меня… Умоляю, любите меня, — проговорил он отчаянным голосом, словно в ней было сейчас все его спасение. — Мне тяжело… Мне страшно… Мне страшно одному… Любите, любите меня…

Елизавета Киевна положила руку ему на голову, закрыла глаза.

Он говорил, что каждую ночь находит на него ужас смерти. Он должен чувствовать около себя близко, рядом живого человека, который бы жалел его, согревал, отдавал бы ему себя. Это наказание, муки… «Да, да, знаю… Но я весь окоченел. Сердце остановилось. Согрейте меня. Мне так мало нужно. Сжальтесь, я погибаю. Не оставляйте меня одного. Милая, милая девушка…»

Елизавета Киевна молчала, испуганная и взволнованная. Бессонов целовал ее ладони все более долгими поцелуями. Стал целовать большие и сильные ее ноги. Она крепче зажмурилась, показалось, что остановилось сердце, — так было стыдно.

И вдруг ее всю обвеял огонек. Бессонов стал казаться милым и несчастным… Она приподняла его голову и крепко, жадно поцеловала в губы. После этого уже без стыда поспешно разделась и легла в постель.

Когда Бессонов заснул, положив голову на ее голое плечо, Елизавета Киевна еще долго вглядывалась близорукими глазами в его желтовато-бледное лицо, все в усталых морщинках — на висках, под веками, у сжатого рта: чужое, но теперь навек родное лицо.

Глядеть на спящего было так тяжело, что Елизавета Киевна заплакала.

Ей казалось, что Бессонов проснется, увидит ее в постели, толстую, некрасивую, с распухшими глазами, и постарается поскорее отвязаться, что никогда никто не сможет ее полюбить, и все будут уверены, будто она развратная, глупая и пошлая женщина, и она нарочно станет делать все, чтобы так думали: что она любит одного человека, а сошлась с другим, и так всегда ее жизнь будет полна мути, мусора, отчаянных оскорблений. Елизавета Киевна осторожно всхлипывала и вытирала глаза углом простыни. И так, незаметно, в слезах, забылась сном.

Бессонов глубоко втянул носом воздух, повернулся на спину и открыл глаза… Ни с чем не сравнимой кабацкой тоской гудело все тело. Было противно подумать, что нужно начинать заново день. Он долго рассматривал металлический шарик кровати, затем решился и поглядел налево.

Рядом, тоже на спине, лежала женщина, лицо ее было прикрыто голым локтем.

«Кто такая?» Он напряг мутную память, но ничего не вспомнил, осторожно вытащил из-под подушки портсигар и закурил. «Вот так черт! Забыл, забыл. Фу, как неудобно».

— Вы, кажется, проснулись, — проговорил он вкрадчивым голосом, — доброе утро. — Она помолчала, не отнимая локтя. — Вчера мы были чужими, а сегодня связаны таинственными узами этой ночи. — Он поморщился, все это выходило пошловато. И, главное, неизвестно, что она сейчас начнет делать — каяться, плакать, или охватит ее прилив родственных чувств? Он осторожно коснулся ее локтя. Он отодвинулся. Кажется, ее звали Маргарита. Он сказал грустно:

— Маргарита, вы сердитесь на меня?

Тогда она села в подушках и, придерживая на груди падающую рубашку, стала глядеть на него выпуклыми, близорукими глазами. Веки ее припухли, полный рот кривился в усмешку. Он сейчас же вспомнил и почувствовал братскую нежность.

— Меня зовут не Маргарита, а Елизавета Киевна, — сказала она. — Я вас ненавижу. Слезьте с постели.

Бессонов сейчас же вылез из-под одеяла и за пологом кровати около вонючего рукомойника оделся кое-как, затем поднял штору и загасил электричество.

— Есть минуты, которых не забывают, — пробормотал он.

Елизавета Киевна продолжала следить за ним темными глазами. Когда он присел с папироской на диван, она проговорила медленно:

— Приеду домой — отравлюсь.

— Я не понимаю вашего настроения, Елизавета Киевна.

— Ну, и не понимайте. Убирайтесь из комнаты, я хочу одеваться.

Бессонов вышел в коридор, где пахло угаром и сильно сквозило. Ждать пришлось долго. Он сидел на подоконнике и курил; потом пошел в самый конец коридора, где из маленькой кухоньки слышались негромкие голоса полового и двух горничных, — они пили чай, и половой говорил:

— Заладила про свою деревню. Тоже Расея. Много ты понимаешь. Походи ночью по номерам — вот тебе и Расея. Все сволочи. Сволочи и охальники.

— Выражайтесь поаккуратнее, Кузьма Иваныч.

— Если я при этих номерах восемнадцать лет состою, — значит, могу выражаться.

Бессонов вернулся обратно. Дверь в его номер была отворена, комната была пуста. На полу валялась его шляпа.

«Ну, что же, тем лучше», — подумал он и, зевнув, потянулся, расправляя кости.

Так начался новый день. Он отличался от вчерашнего тем, что с утра сильный ветер разорвал дождевые облака, погнал их на север и там свалил в огромные побелевшие груды. Мокрый город был залит свежими потоками солнечного света. В нем корчились, жарились, валились без чувств студенистые чудовища, неуловимые глазу, — насморки, кашли, дурные хвори, меланхолические палочки чахотки, и даже полумистические микробы черной неврастении забивались за занавеси, в полумрак комнат и сырых подвалов. По улицам продувал ветерок. В домах протирали стекла, открывали окна. Дворники в синих рубахах подметали мостовые. На Невском порочные девочки с зелеными личиками предлагали прохожим букетики подснежников, пахнущих дешевым одеколоном. В магазинах спешно убирали все зимнее, и, как первые цветы, появились за витринами весенние, веселенькие вещи.

Трехчасовые газеты вышли все с заголовками: «Да здравствует русская весна». И несколько стишков были весьма двусмысленны. Словом, цензуре натянули нос.

И, наконец, по городу, под свист и улюлюканье мальчишек, прошли футуристы от группы «Центральная станция». Их было трое: Жиров, художник Валет и никому тогда еще не известный Аркадий Семисветов, огромного роста парень с лошадиным лицом.

Футуристы были одеты в короткие, без пояса, кофты из оранжевого бархата с черными зигзагами и в цилиндры. У каждого был монокль, и на щеке нарисованы — рыба, стрела и буква «Р». Часам к пяти пристав Литейной части задержал их и на извозчике повез в участок для выяснения личности.

Весь город был на улицах. По Морской, по набережным и Каменноостровскому двигались сверкающие экипажи и потоки людей. Многим, очень многим казалось, что сегодня должно случиться что-то необыкновенное: либо в Зимнем дворце подпишут какой-нибудь манифест, либо взорвут бомбой совет министров, либо вообще где-нибудь «начнется».

Но опустились синие сумерки на город, за-

жглись огни вдоль улиц и каналов, отразившись зыбкими иглами в черной воде, и с мостов Невы был виден за трубами судостроительных заводов огромный закат, дымный и облачный. И ничего не случилось. Блеснула в последний раз игла на Петропавловской крепости, и день кончился.

Бессонов много и хорошо работал в этот день. Освеженный после завтрака сном, он долго читал Гёте, и чтение возбудило его и взволновало.

Он ходил вдоль книжных шкафов и думал вслух; подсаживался к письменному столу и записывал слова и строки. Старушка нянька, жившая при его холостой квартире, принесла фарфоровый, дымящийся моккой кофейник.

Бессонов переживал хорошие минуты. Он писал о том, что опускается ночь на Россию, раздвигается занавес трагедии и народ-богоносец чудесно, как в «Страшной мести» казак, превращается в богоборца, надевает страшную личину. Готовится всенародное совершение Черной обедни. Бездна раскрыта. Спасения нет.

Закрывая глаза, он представлял пустынные поля, кресты на курганах, разметанные ветром кровли и вдалеке, за холмами, зарева пожарищ. Обхватив обеими руками голову, он думал, что любит именно такою эту страну, которую знал

только по книгам и картинкам. Лоб его покрывался глубокими морщинками, сердце было полно ужаса предчувствий. Потом, держа в пальцах дымящуюся папиросу, он исписывал крупным почерком хрустящие четвертушки бумаги.

В сумерки, не зажигая огня, Бессонов прилег на диван, весь еще взволнованный, с горячей головой и влажными руками. На этом кончался его рабочий день.

Понемногу сердце стало биться ровнее и спокойнее. Теперь надо было подумать, как провести этот вечер и ночь. Брр… Никто не звонил по телефону и не приходил в гости. Придется одному справляться с бесом уныния. Наверху, где жила английская семья, играли на рояле, и от этой музыки поднимались смутные и невозможные желания.

Вдруг в тишине дома раздался звонок с парадного. Нянька прошлепала туфлями. Заносчивый женский голос проговорил:

— Я хочу его видеть.

Затем легкие, стремительные шаги замерли у двери. Бессонов, не шевелясь, усмехнулся. Без стука распахнулась дверь, и в комнату вошла, освещенная сзади из прихожей, стройная, тоненькая девушка, в большой шляпе с дыбом

стоящими ромашками.

Ничего не различая со света, она остановилась посреди комнаты; когда же Бессонов молча поднялся с дивана, — попятилась было, но упрямо тряхнула головой и проговорила тем же высоким голосом:

— Я пришла к вам по очень важному делу.

Бессонов подошел к столу и повернул выключатель. Между книг и рукописей засветился синий абажур, наполнивший всю комнату спокойным полусветом.

— Чем могу быть полезен? — спросил Алексей Алексеевич; показав вошедшей на стул, сам спокойно опустился в рабочее кресло и положил руки на подлокотники. Лицо его было прозрачно-бледное, с синевой под веками. Он не спеша поднял глаза на гостью и вздрогнул, пальцы его затрепетали.

— Дарья Дмитриевна, — проговорил он тихо. — Я вас не узнал в первую минуту.

Даша села на стул решительно, так же как и вошла, сложила на коленях руки в лайковых перчатках и насупилась.

— Дарья Дмитриевна, я счастлив, что вы посетили меня. Это большой, большой подарок.

Не слушая его, Даша сказала:

— Вы, пожалуйста, не подумайте, что я ваша поклонница. Некоторые ваши стихи мне нравятся, другие не нравятся, — не понимаю их, просто не люблю. Я пришла вовсе не затем, чтобы разговаривать о стихах… Я пришла потому, что вы меня измучили.

Она низко нагнула голову, и Бессонов увидел, что у нее покраснели шея и руки между перчатками и рукавами черного платья. Он молчал, не шевелился.

— Вам до меня, конечно, нет никакого дела. И я бы тоже очень хотела, чтобы мне было все равно. Но вот, видите, приходится испытывать очень неприятные минуты…

Она быстро подняла голову и строгими, ясными глазами взглянула ему в глаза. Бессонов медленно опустил ресницы.

— Вы вошли в меня, как болезнь. Я постоянно ловлю себя на том, что думаю о вас. Это, наконец, выше моих сил. Лучше было прийти и прямо сказать. Сегодня — решилась. Вот, видите, объяснилась в любви…

Губы ее дрогнули. Она поспешно отвернулась и стала смотреть на стену, где, освещенная снизу, усмехалась стиснутым ртом и закрытыми веками любимая в то время всеми поэтами маска

Петра Первого. Наверху, в семействе английского пастора, четыре голоса фуги пели: «Умрем». «Нет, мы улетим». «В хрустальное небо». «В вечную, вечную радость».

— Если вы станете уверять, что испытываете тоже ко мне какие-то чувства, я уйду сию минуту, — торопливо и горячо проговорила Даша. — Вы меня даже не можете уважать — это ясно. Так не поступают женщины. Но я ничего не хочу и не прошу от вас. Мне нужно было только сказать, что я вас люблю мучительно и очень сильно… Я разрушилась вся от этого чувства… У меня даже гордости не осталось…

И она подумала: «Теперь встать, гордо кивнуть головой и выйти». Но продолжала сидеть, глядя на усмехающуюся маску. Ею овладела такая слабость, что — не поднять руки, и она почувствовала теперь все свое тело, его тяжесть и теплоту. «Отвечай же, отвечай», — думала она сквозь сон. Бессонов прикрыл ладонью лицо и стал говорить тихо, как беседуют в церкви, — немного придушенно.

— Всем моим духом я могу только благодарить вас за это чувство. Таких минут, такого благоухания, каким вы меня овеяли, не забывают никогда…

— Не требуется, чтобы вы их помнили, — сказала Даша сквозь зубы.

Бессонов помолчал, поднялся и, отойдя, прислонился спиной к книжному шкафу.

— Дарья Дмитриевна, я вам могу только поклониться низко. Я недостоин был слушать вас. Я никогда, быть может, так не проклинал себя, как в эту минуту. Растратил, размотал, изжил всего себя. Чем я вам отвечу? Приглашением за город, в гостиницу? Дарья Дмитриевна, я честен с вами. Мне нечем любить. Несколько лет назад я бы поверил, что могу еще испить вечной молодости. Я бы вас не отпустил от себя.

Даша чувствовала, как он впускает в нее иголочки. В его словах была затягивающая мука…

— Теперь я только расплескаю драгоценное вино. Вы должны понять, чего мне это стоит. Протянуть руку и взять…

— Нет, нет, — быстро прошептала Даша.

— Нет, да. И вы это чувствуете. Нет слаще греха, чем расточение. Расплескать. За этим вы и пришли ко мне. Расплескать чашу девичьего вина… Вы принесли ее мне…

Он медленно зажмурился. Даша, не дыша, с ужасом глядела в его лицо.

— Дарья Дмитриевна, позвольте мне быть от-

кровенным. Вы так похожи на вашу сестру, что в первую минуту…

— Что? — крикнула Даша. — Что вы сказали?

Она сорвалась с кресла и остановилась перед ним. Бессонов не понял и не так истолковал это волнение. Он чувствовал, что теряет голову. Его ноздри вдыхали благоухание духов и тот почти неуловимый, но оглушающий и различный для каждого запах женской кожи.

— Это сумасшествие… Я знаю… Я не могу… — прошептал он, отыскивая ее руку. Но Даша рванулась и побежала. На пороге оглянулась дикими глазами и скрылась. Сильно хлопнула парадная дверь. Бессонов медленно подошел к столу и застучал ногтями по хрустальной коробочке, беря папиросу. Потом сжал ладонью глаза и со всей ужасающей силой воображения почувствовал, что Белый орден, готовящийся к решительной борьбе, послал к нему эту пылкую, нежную и соблазнительную девушку, чтобы привлечь его, обратить и спасти. Но он уже безнадежно в руках Черных, и теперь спасения нет. Медленно, как яд, текущий в крови, разжигали его неутоленная жадность и сожаление.

# 8

— Даша, это ты? Можно. Войди.

Екатерина Дмитриевна стояла перед зеркальным шкафом, затягивая корсет. Даше она улыбнулась рассеянно и продолжала деловито повертываться, переступая на ковре тугими туфельками. На ней было легкое белье, в ленточках и кружевцах, красивые руки и плечи напудрены, волосы причесаны пышной короной. Около, на низеньком столике, стояла чашка с горячей водой; повсюду — ножницы для ногтей, пилочки, карандашики, пуховки. Сегодня был пустой вечер, и Екатерина Дмитриевна «чистила перышки», как это называлось дома.

— Понимаешь, — говорила она, пристегивая чулок, — теперь перестают носить корсеты с прямой планшеткой. Посмотри, этот — новый, от мадам Дюклэ. Живот гораздо свободнее и даже чуть-чуть обозначен. Тебе нравится?

— Нет, не нравится, — ответила Даша. Она остановилась у стены и заложила за спину руки. Екатерина Дмитриевна удивленно подняла брови:

— Правда, не нравится? Какая досада. А в нем так удобно.

— Что удобно, Катя?

— Может быть, тебе кружева не нравятся? Можно положить другие. Как все-таки странно, — почему не нравится?

И она опять повернулась и правым и левым боком у зеркала. Даша сказала:

— Ты, пожалуйста, не у меня спрашивай, как нравятся твои корсеты.

— Ну, Николай Иванович совсем в этом деле ничего не понимает.

— Николай Иванович тоже тут ни при чем.

— Даша, ты что?

Екатерина Дмитриевна даже приоткрыла рот от изумления. Только теперь она заметила, что Даша едва сдерживается, говорит сквозь зубы, на щеках у нее горячие пятна.

— Мне кажется, Катя, тебе бы надо бросить вертеться у зеркала.

— Но должна же я привести себя в порядок.

— Для кого?

— Что ты, в самом деле!.. Для самой себя.

— Врешь.

Долго после этого обе сестры молчали. Екатерина Дмитриевна сняла со спинки кресла

верблюжий халатик на синем шелку, надела его и медленно завязала пояс. Даша внимательно следила за ее движениями, затем проговорила:

— Ступай к Николаю Ивановичу и расскажи ему все честно.

Екатерина Дмитриевна продолжала стоять, перебирая пояс. Было видно, что у нее по горлу несколько раз прокатился клубочек, точно она проглотила что-то.

— Даша, ты что-нибудь узнала? — спросила она тихо.

— Я сейчас была у Бессонова. (Екатерина Дмитриевна взглянула невидящими глазами и вдруг страшно побледнела, подняла плечи.) Можешь не беспокоиться, — со мной там ничего не случилось. Он вовремя сообщил мне…

Даша переступала с ноги на ногу.

— Я давно догадывалась, что ты… именно с ним… Только слишком все это было омерзительно, чтобы верить… Ты трусила и лгала. Так вот, я в этой мерзости жить не желаю… Пойди к мужу и все расскажи.

Даша не могла больше говорить, — сестра стояла перед ней, низко наклонив голову. Даша ждала всего, но только не этой повинно и покорно склоненной головы.

— Сейчас пойти? — спросила Катя.

— Да. Сию минуту… Ты сама должна понять…

Екатерина Дмитриевна коротко вздохнула и пошла к двери. Там, замедлив, она сказала еще:

— Я не могу, Даша. — Но Даша молчала. — Хорошо, я скажу.

Николай Иванович сидел в гостиной и, поскребывая в бороде костяным ножом, читал статью Акундина в только что полученной книжке журнала «Русские записки».

Статья была посвящена годовщине смерти Бакунина. Николай Иванович наслаждался. Когда вошла жена, он воскликнул:

— Катюша, сядь. Послушай, что он пишет, вот это место… «Даже не в образе мыслей и не в преданности до конца своему делу обаяние этого человека — то есть Бакунина, — а в том пафосе претворенных в реальную жизнь идей, которым было проникнуто каждое его движение, — и бессонные беседы с Прудоном, и мужество, с каким он бросался в самое пламя борьбы, и даже тот романтический жест, когда мимоездом он наводит пушки австрийских повстанцев, еще не зная хорошо, с кем и за что они дерутся. Пафос Бакунина есть прообраз той могучей силы, с какою выступят на борьбу новые классы. Мате-

риализация идей — вот задача наступающего века. Не извлечение их из-под груды фактов, подчиненных слепой инерции жизни, не увод их в идеальный мир, а процесс обратный: завоевание физического мира миром идей. Реальность — груда горючего, идеи — искры. Эти два мира, разъединенные и враждебные, должны слиться в пламени мирового переворота...» Нет, подумай. Катюша... Ведь это черным по белому — да здравствует революция. Молодец, Акундин! Действительно, живем, — ни больших идей, ни больших чувств. Правительством руководит только одно — безумный страх за будущее. Интеллигенция обжирается и опивается. Ведь мы только болтаем, болтаем, Катюша, и — по уши в болоте. Народ заживо разлагается. Вся Россия погрязла в сифилисе и водке. Россия сгнила, дунь на нее, — рассыплется в прах. Так жить нельзя... Нам нужно какое-то самосожжение, очищение в огне...

Николай Иванович говорил возбужденным и бархатным голосом, глаза его стали круглыми, нож полосовал воздух. Екатерина Дмитриевна стояла около, держась за спинку кресла. Когда он выговорился и опять принялся разрезать журнал, — она подошла и положила ему руку

на волосы:

— Коленька, тебе будет очень больно то, что я скажу. Я хотела скрыть, но вышло так, что нужно сказать…

Николай Иванович освободил голову от ее руки и внимательно вгляделся:

— Да, я слушаю, Катя.

— Помнишь, мы как-то с тобой повздорили, и я тебе сказала со зла, чтобы ты не был очень спокоен на мой счет… А потом отрицала это…

— Да, помню. — Он положил книгу и совсем повернулся в кресле. Глаза его, встретясь с простым и спокойным взором Кати, забегали от испуга.

— Так вот… Я тебе тогда солгала… Я была тебе неверна…

Он жалобно сморщился, стараясь улыбнуться. У него пересохло во рту. Когда молчать уже дольше было нельзя, он проговорил глухо:

— Ты хорошо сделала, что сказала… Спасибо, Катя…

Тогда она взяла его руку, прикоснулась к ней губами и прижала к груди. Но рука выскользнула, и она ее не удерживала. Потом Екатерина Дмитриевна тихо опустилась на ковер и положила голову на кожаный выступ кресла.

— Больше тебе не нужно ничего говорить?

— Нет. Уйди, Катя.

Она поднялась и вышла. В дверях столовой на нее неожиданно налетела Даша, схватила, стиснула и зашептала, целуя в волосы, в шею, в уши:

— Прости, прости!.. Ты дивная, ты изумительная!.. Я все слышала… Простишь ты меня, простишь ты меня, Катя?.. Катя?..

Екатерина Дмитриевна осторожно высвободилась, подошла к столу, поправила морщину на скатерти и сказала:

— Я исполнила твое приказание, Даша.

— Катя, простишь ты меня когда-нибудь?

— Ты была права, Даша. Так лучше, как вышло.

— Ничего я не была права! Я от злости… Я от злости… А теперь вижу, что тебя никто не смеет осуждать. Пускай мы все страдаем, пускай нам будет больно, но ты — права, я это чувствую, ты права во всем. Прости меня, Катя.

У Даши катились крупные, как горох, слезы. Она стояла позади, на шаг от сестры, и говорила громким шепотом:

— Если ты не простишь, — я больше не хочу жить.

Екатерина Дмитриевна быстро повернулась к ней:

— Что ты еще хочешь от меня? Тебе хочется, чтобы все опять стало благополучно и душевно… Так я тебе скажу… Я потому лгала и молчала, что только этим и можно было продлить еще немного нашу жизнь с Николаем Ивановичем… А вот теперь — конец. Поняла? Я Николая Ивановича давно не люблю и давно ему неверна. А Николай Иванович любит меня или не любит — не знаю, но он мне не близок. Поняла? А ты, как зяблик, все голову под мышку прячешь, чтобы не видеть страшных вещей. Я их видела и знала, но жила в этой мерзости, потому что — слабая женщина. Я видела, как тебя эта жизнь тоже затягивает. Я старалась сберечь тебя, запретила Бессонову приезжать к нам… Это было еще до того, как он… Ну, все равно… Теперь всему этому конец…

Екатерина Дмитриевна вдруг подняла голову, прислушиваясь. У Даши со страха похолодела спина. В дверях, из-за портьеры, боком, появлялся Николай Иванович. Руки его были спрятаны за спиной.

— Бессонов? — спросил он, с улыбкой покачивая головой. И продвинулся в столовую.

Екатерина Дмитриевна не ответила. На щеках ее выступили пятна, глаза высохли. Она стиснула рот.

— Ты, кажется, думаешь, Катя, что наш разговор окончен. Напрасно.

Он продолжал улыбаться.

— Даша, оставь нас одних, пожалуйста.

— Нет, я не уйду. — И Даша стала рядом с сестрой.

— Нет, ты уйдешь, если я тебя попрошу.

— Нет, не уйду.

— В таком случае мне придется удалиться из дома.

— Удаляйся, — глядя на него с яростью, ответила Даша.

Николай Иванович побагровел, но сейчас же в глазах мелькнуло прежнее выражение — веселенького сумасшествия.

— Тем лучше, оставайся. Вот в чем дело, Катя… Я сейчас сидел там, где ты меня оставила, и, в сущности говоря, за несколько минут пережил то, что трудно вообще переживаемо… Я пришел к выводу, что мне нужно тебя убить… Да, да.

При этих словах Даша быстро прижалась к сестре, обхватив ее обеими руками. У Екатерины Дмитриевны презрительно задрожали губы.

— У тебя истерика… Тебе нужно принять валерьянку, Николай Иванович …

— Нет, Катя, на этот раз — не истерика…

— Тогда делай то, за чем пришел, — крикнула она, оттолкнув Дашу, и подошла к Николаю Ивановичу вплоть. — Ну, делай. В лицо тебе говорю — я тебя не люблю.

Он попятился, положил на скатерть вытащенный из-за спины маленький, «дамский» револьвер, запустил концы пальцев в рот, укусил их, повернулся и пошел к двери. Катя глядела ему вслед. Не оборачиваясь, он проговорил:

— Мне больно… Мне больно…

Тогда она кинулась к нему, схватила его за плечи, повернула к себе его лицо:

— Врешь… Ведь врешь… Ведь ты и сейчас врешь…

Но он замотал головой и ушел. Екатерина Дмитриевна присела у стола:

— Вот, Дашенька, — сцена из третьего акта, с выстрелом. Я уеду от него.

— Катюша… Господь с тобой.

— Уйду, не хочу так жить. Через пять лет стану старая, будет уже поздно. Не могу больше жить так… Гадость, гадость!

Она закрыла лицо руками, опустила его в локти на стол. Даша, присев рядом, быстро и осторожно целовала ее в плечо. Екатерина Дмитриевна подняла голову:

— Ты думаешь — мне его не жалко? Мне всегда его жалко. Но ты вот подумай, — пойду сейчас к нему, и будет у нас длиннейший разговор, насквозь фальшивый… Точно бес какой-то всегда между нами кривит, фальшивит. Все равно как играть на расстроенном рояле, так и с Николаем Ивановичем разговаривать… Нет, я уеду… Ах, Дашенька, если бы ты знала, какая у меня тоска!

К концу вечера Екатерина Дмитриевна все же пошла в кабинет.

Разговор с мужем был долгий, говорили оба тихо и горестно, старались быть честными, не щадили друг друга, и все же у обоих осталось такое чувство, что ничего этим разговором не достигнуто, и не понято, и не спаяно.

Николай Иванович, оставшись один, до рассвета сидел у стола и вздыхал. За эти часы, как впоследствии узнала Катя, он продумал и пересмотрел всю свою жизнь. Результатом было огромное письмо жене, которое кончалось так: «Да, Катя, мы все в нравственном тупике. За последние пять лет у меня не было ни одного сильного чувства, ни одного крупного движения. Даже любовь к тебе и женитьба прошли точно впопыхах. Существование — мелкое, полуистерическое; под непрерывным наркозом. Выходов

два — или покончить с собой, или разорвать эту лежащую на моих мыслях, на чувствах, на моем сознании душевную пелену. Ни того, ни другого сделать я не в состоянии...»

Семейное несчастье произошло так внезапно и домашний мир развалился до того легко и окончательно, что Даша была оглушена, и думать о себе ей и в голову не приходило; какие уже там девичьи настроения, — чепуха, страшная коза на стене, вроде той, что давным-давно нянька показывала им с Катей.

Несколько раз на дню Даша подходила к Катиной двери и скреблась пальцем. Катя отвечала:

— Дашенька, если можешь, оставь меня одну, пожалуйста.

Николай Иванович в эти дни должен был выступать в суде. Он уезжал рано, завтракал и обедал в ресторане, возвращался ночью. Его речь в защиту жены акцизного чиновника Ладникова, Зои Ивановны, зарезавшей ночью, в постели, на Гороховой улице, своего любовника, сына петербургского домовладельца, студента Шлиппе, потрясла судей и весь зал. Дамы рыдали. Обвиняемая, Зоя Ивановна, билась головой о спинку скамейки и была оправдана.

Николай Иванович, бледный, с провалившими-

мися глазами, был окружен при выходе из суда толпой женщин, которые бросали цветы, взвизгивали и целовали ему руки. Из суда он приехал домой и объяснился с Катей с полной душевной размягченностью.

У Екатерины Дмитриевны оказались сложенными чемоданы. Он по чистой совести посоветовал ей поехать на юг Франции и дал на расходы двенадцать тысяч. Сам же он, тоже во время разговора, решил передать дела помощнику и поехать в Крым — отдохнуть и собраться с мыслями.

В сущности, было неясно и неопределенно — разъезжаются ли они на время или навсегда и кто кого покидает. Эти острые вопросы были старательно заслонены суетой отъезда.

О Даше они забыли. Екатерина Дмитриевна спохватилась только в последнюю минуту, когда, одетая в серый дорожный костюм, в изящной шапочке, под вуалькой, похудевшая, грустная и милая, увидела Дашу в прихожей на сундуке. Даша болтала ногой и ела хлеб с мармеладом, потому что сегодня обед заказать забыли.

— Родной мой Данюша, — говорила Екатерина Дмитриевна, целуя ее через вуальку, — ты-то как же? Хочешь, поедем со мной.

Но Даша сказала, что останется одна в квартире с Великим Моголом, будет держать экзамены и в конце мая поедет на все лето к отцу.

# 9

Даша осталась одна в доме. Большие комнаты казались ей теперь неуютными и вещи в них — лишними. Даже кубические картины в гостиной с отъездом хозяев перестали пугать и поблекли. Мертвыми складками висели портьеры. И хотя Великий Могол каждое утро молча, как привидение, бродила по комнатам, отряхивая пыль метелкой из петушиных перьев, все же словно иная, невидимая пыль все гуще покрывала дом.

В комнате сестры можно было, как по книге, прочесть все, чем жила Екатерина Дмитриевна. Вот в углу маленький мольбертик с начатой картиночкой, — девушка в белом венке и с глазами в пол-лица. За этот мольбертик Екатерина Дмитриевна уцепилась было, чтобы как-нибудь вынырнуть из бешеной суеты, но, конечно, не удержалась. Вот старинный рабочий столик, в беспорядке набитый начатыми рукоделиями, пестрыми лоскутками, все не окончено и заброшено, — тоже попытка. Такой же беспорядок в книжном шкафу, — видно, что начали прибирать и бросили. И повсюду брошены, засунуты

наполовину разрезанные книги. Йоги, популярные лекции по антропософии, стишки, романы. Сколько попыток и бесплодных усилий начать добрую жизнь! На туалетном столе Даша нашла серебряный блокнотик, где было записано: «Рубашек 24, лифчиков 8, лифчиков кружевных 6… Для Керенских билеты на „Дядю Ваню“…» И затем, крупным детским почерком: «Даше купить яблочный торт».

Даша вспомнила — яблочный торт так никогда и не был куплен. Ей до слез стало жалко сестру. Ласковая, добрая, слишком деликатная для этой жизни, она цеплялась за вещи и вещицы, старалась укрепиться, оберечь себя от дробления и разрушения, но нечем и некому было помочь.

Даша вставала рано, садилась за книги и сдавала экзамены, почти все — «отлично». К телефону, без устали звонившему в кабинете, она посылала Великого Могола, которая отвечала неизменно: «Господа уехали, барышня подойти не могут».

Целые вечера Даша играла на рояле. Музыка не возбуждала ее, как прежде, не хотелось чего-то неопределенного и не замирало мечтательное сердце. Теперь, сидя строго и мирно перед тетрадью нот, озаренная с боков двумя свечками, Даша словно очищала себя торжественными звуками,

наполнявшими до последних закоулков весь этот пустынный дом.

Иногда среди музыки являлись маленькие враги — непрошеные воспоминания. Даша опускала руки и хмурилась. Тогда в доме становилось так тихо, что было слышно, как потрескивала свеча. Затем Даша шумно вздыхала, и вновь ее руки с силой касались холодных клавиш, а маленькие враги, точно пыль и листья, гонимые ветром, летели из большой комнаты куда-нибудь в темный коридор, за шкафы и картонки… Было навек покончено с той Дашей, которая звонила у подъезда Бессонова и говорила беззащитной Кате злые слова. Ополоумевшая девчонка чуть было не натворила бед. Удивительное дело! Будто один свет в окошке — любовные настроения, и любви-то никакой не было.

Часов в одиннадцать Даша закрывала рояль, задувала свечи и шла спать, — все это делалось без колебаний, деловито. За это время она решила как можно скорее начать самостоятельную жизнь — самой зарабатывать и взять Катю к себе.

В конце мая, едва сдав экзамены, Даша поехала к отцу через Рыбинск по Волге. Вечером, прямо с железной дороги, она села на белый, ярко

освещенный среди ночи и темной воды пароход, разобрала в чистенькой каюте вещи, заплела косу, подумала, что самостоятельная жизнь начинается неплохо, и, положив под голову локоть и улыбаясь от счастья, заснула под мерное дрожание машины.

Разбудили ее тяжелые шаги и беготня по палубе. Сквозь жалюзи лился солнечный свет, играя на красном дереве рукомойника жидкими переливами. Ветерок, отдувавший чесучовую штору, пахнул медовыми цветами. Она приоткрыла жалюзи. Пароход стоял у пустынного берега, где, под свежеобвалившейся, в корнях и комьях, невысокой кручей стояли возы с сосновыми ящиками. У воды, расставив худые, с толстыми коленками, ноги, пил коричневый жеребенок. На круче красным крестом торчала маячная веха.

Даша соскочила с койки, развернула на полу тэб и, набрав полную губку воды, выжала ее на себя. Стало до того свежо и боязно, что она, смеясь, начала поджимать к животу колени. Потом надела приготовленные с вечера белые чулки, белое платье и белую шапочку, — все это сидело на ней ловко, — и, чувствуя себя независимой, сдержанная, но страшно счастливая, вышла на палубу.

По всему белому пароходу играли жидкие отсветы солнца, на воду больно было смотреть, — река сияла и переливалась. На дальнем берегу, гористом, белела, по пояс в березах, старенькая колокольня.

Когда пароход отчалил и, описав полукруг, побежал вниз, навстречу ему медленно двигались берега. Из-за бугров, точно завалившись, выглядывали кое-где потемневшие соломенные крыши изб. В небе стояли кучевые облака с синеватыми днищами, и от них в небесно-желтоватую бездну реки падали белые тени.

Даша сидела в плетеном кресле, положив ногу на ногу, обхватив колено, и чувствовала, как сияющие изгибы реки, облака и белые их отражения, березовые холмы, луга и струи воздуха, то пахнущие болотной травой, то сухостью вспаханной земли, медовой кашкой и полынью, текут сквозь нее, — и тихим восторгом ширится сердце.

Какой-то человек медленно подошел, остановился сбоку у перил и, кажется, поглядывал. Даша несколько раз забывала про него, а он все стоял. Тогда она твердо решила не оборачиваться, но у нее был слишком горячий нрав, чтобы спокойно переносить такое разглядывание. Она покраснела и быстро, гневно обернулась. Перед ней стоял

Телегин, держась за столбик и не решаясь ни подойти, ни заговорить, ни скрыться.

Даша неожиданно засмеялась, — он ей напомнил что-то неопределенно веселое и доброе. Да и весь Иван Ильич, широкий, в белом кителе, сильный и застенчивый, точно необходимым завершением появился из всего этого речного покоя. Она протянула ему руку. Телегин сказал:

— Я видел, как вы садились на пароход. В сущности, мы ехали с вами в одном вагоне от Петербурга. Но я не решался подойти, — вы были очень озабочены… Я вам не мешаю?

— Садитесь. — Она пододвинула ему плетеное кресло. — Еду к отцу, а вы куда?

— Я-то, в сущности говоря, еще не знаю. Пока — в Кинешму, к родным.

Телегин сел рядом и снял шляпу. Брови его сдвинулись, по лбу пошли морщины. Суженными глазами он глядел на воду, вогнутой, пенящейся дорогой выбегавшую из-под парохода. Над ней за кормой летели острокрылые мартыны, падали на воду, взлетали с хриплыми, жалобными криками и, далеко отстав, кружились и дрались над плывущей хлебной коркой.

— Приятный день, Дарья Дмитриевна.

— Такой день, Иван Ильич, такой день! Я сижу

и думаю: как из ада на волю вырвалась! Помните наш разговор на улице?

— Помню до последнего слова, Дарья Дмитриевна.

— После этого такое началось, не дай бог! Я вам как-нибудь расскажу. — Она задумчиво покачала головой. — Вы были единственным человеком, который не сходил с ума в Петербурге, так мне представляется. — Она улыбнулась и положила ему руку на рукав. У Ивана Ильича испуганно дрогнули веки, поджались губы. — Я вам очень доверяю, Иван Ильич. Вы очень сильный? Правда?

— Ну, какой же я сильный.

— И верный человек. — Даша почувствовала, что все мысли ее — добрые, ясные и любовные, и такие же добрые, верные и сильные мысли были у Ивана Ильича. И особая радость была в том, чтобы говорить — выражать прямо эти светлые волны чувств, подходящие к сердцу. — Мне представляется, Иван Ильич, что если вы любите, то мужественно, уверенно. А если чего-нибудь захотите, то не отступитесь.

Не отвечая, Иван Ильич медленно полез в карман, вытащил оттуда кусок хлеба и стал бросать птицам. Целая стая белых мартынов с тревожным

криком кинулась ловить крошки. Даша и Иван Ильич поднялись с кресел и подошли к борту.

— Вот этому киньте, — сказала Даша, — смотрите, какой голодный.

Телегин далеко в воздух швырнул остаток хлеба. Жирный головастый мартын скользнул на недвигающихся, распластанных, как ножи, крыльях, налетел и промахнулся, и сейчас же штук десять их понеслось вслед за падающим хлебом до самой воды, теплой пеной бьющейся из-под борта. Даша сказала:

— Мне хочется быть, знаете, какой женщиной? На будущий год кончу курсы, начну зарабатывать много денег, возьму жить к себе Катю. Увидите, Иван Ильич.

Во время этих слов Телегин морщился, удерживался и наконец раскрыл рот, с крепким, чистым рядом крупных зубов, и захохотал так весело, что взмокли ресницы. Даша вспыхнула, но и у нее запрыгал подбородок, и не хотела, а рассмеялась, так же как Телегин, сама не зная чему.

— Дарья Дмитриевна, — проговорил он наконец, — вы замечательная… Я вас боялся до смерти… Но вы прямо замечательная!

— Ну, вот что — идемте завтракать, — сказала Даша сердито.

— С удовольствием.

Иван Ильич велел вынести столик на палубу и, глядя на карточку, озабоченно стал скрести чисто выбритый подбородок.

— Что вы думаете, Дарья Дмитриевна, относительно бутылки легкого белого вина?

— Немного выпью с удовольствием.

— Белого или красного?

Даша так же деловито ответила:

— Или то, или другое.

— В таком случае — выпьем шипучего.

Мимо плыл холмистый берег с атласно-зелеными полосами пшеницы, зелено-голубыми — ржи и розоватыми — зацветающей гречихи. За поворотом, над глинистым обрывом, на навозе, под шапками соломы, стояли приземистые избы, отсвечивая окошечками. Подальше — десяток крестов деревенского кладбища и шестикрылая, как игрушечная, мельница с проломанным боком. Стайка мальчишек бежала вдоль кручи за пароходом, кидая камнями, не долетавшими даже до воды. Пароход повернул, и на пустынном берегу — низкий кустарник и коршуны над ним.

Теплый ветерок поддувал под белую скатерть, под платье Даши. Золотистое вино в граненых больших рюмках казалось божьим даром. Даша

сказала, что завидует Ивану Ильичу, — у него есть свое дело, уверенность в жизни, а вот ей еще полтора года корпеть над книгами, и притом такое несчастье, что она — женщина. Телегин, смеясь, ответил:

— А меня ведь с завода выгнали.

— Что вы говорите!

— В двадцать четыре часа, чтобы духу не было. Иначе зачем бы я на пароходе оказался. Вы разве не слышали, какие у нас дела творились?

— Нет, нет…

— Я-то вот дешево отделался. Да… — Он помолчал, положив локти на скатерть. — Вот, подите же, до чего у нас все делается глупо и бездарно — на редкость. И черт знает какая слава о нас идет, о русских. Обидно и совестно. Подумайте, — талантливый народ, богатейшая страна, а какая видимость? Видимость: наглая писарская рожа. Вместо жизни — бумага и чернила. Вы не можете себе представить, сколько у нас изводится бумаги и чернил. Как начали отписываться при Петре Первом, так до сих пор не можем остановиться. И ведь оказывается, кровавая вещь — чернила, представьте себе.

Иван Ильич отодвинул стакан с вином и закурил. Ему, видимо, было неприятно рассказывать

все дальнейшее.

— Ну, да что вспоминать. Думать надо, что и у нас когда-нибудь хорошо будет, не хуже, чем у людей.

Весь этот день Даша и Иван Ильич провели на палубе. Постороннему наблюдателю показалось бы, что они говорят чепуху, но это происходило оттого, что они разговаривали шифром. Слова, самые обычные, таинственно и непонятно получали двойной смысл, и, когда Даша, указывая глазами на пухленькую барышню, с отдувающимся за спиной лиловым шарфом, и на сосредоточенно шагающего рядом с ней второго помощника капитана, говорила: «Смотрите, Иван Ильич, у них, кажется, дело идет на лад», — нужно было понимать: «Если бы у нас с вами что-нибудь случилось — было бы совсем не так». Никто из них не мог бы вспомнить по чистой совести, что он говорил, но Ивану Ильичу казалось, что Даша гораздо умнее, тоньше и наблюдательнее его; Даше казалось, что Иван Ильич добрее ее, лучше, умнее раз в тысячу.

Даша собиралась несколько раз с духом, чтобы рассказать ему о Бессонове, но раздумывала; солнце грело колени, ветер касался щеки, плеч, шеи, словно круглыми и ласковыми пальцами.

Даша думала: «Нет, расскажу ему завтра. Пойдет дождик — тогда расскажу».

Даша, любившая наблюдать и наблюдательная, как все женщины, знала к концу дня приблизительно всю подноготную про всех едущих на пароходе. Ивану Ильичу казалось это почти чудом.

Про декана Петербургского университета, угрюмого человека в дымчатых очках и крылатке, Даша решила почему-то, что это крупный пароходный шулер. И хотя Иван Ильич знал, что это декан, теперь ему тоже запало подозрение — не шулер ли это? Вообще его представление о действительности пошатнулось за этот день. Он чувствовал не то головокружение, не то сон в яви и, почти не в силах выдерживать время от времени подступающую волну любви ко всему, что видит и слышит, присматривался — хорошо бы сейчас, например, броситься в воду вон за той стриженой девочкой, если она упадет за борт. Вот бы упала!

В первом часу ночи Даша до того сразу и сладко захотела спать, что едва дошла до каюты и, прощаясь в дверях, сказала, зевая:

— Покойной ночи. Смотрите, присматривайте за шулером-то.

Иван Ильич сейчас же пошел в рубку первого класса, где декан, страдающий бессонницей, читал сочинения Дюма-отца, поглядел на него некоторое время, подумал, что это прекрасный человек, несмотря на то что шулер, затем вернулся в ярко освещенный коридор, где пахло машиной, лакированным деревом, духами Даши, на цыпочках прошел мимо ее двери и у себя в каюте, повалившись на спину на койку и закрыв глаза, почувствовал, что весь потрясен, весь полон звуками, запахами, жаром солнца и острой, как боль в сердце, радостью.

В седьмом часу утра его разбудил рев парохода. Подходили к Кинешме. Иван Ильич быстро оделся и выглянул в коридор. Все двери были закрыты, все еще спали. Спала и Даша. «Мне слезть необходимо, иначе получается черт знает что», — подумал Иван Ильич и вышел на палубу, глядя на эту самую некстати подоспевшую Кинешму на крутом и высоком берегу, с деревянными лестницами, с деревянными, точно кое-как нагороженными домишками и яркими по-утреннему, желтовато-зелеными липами городского парка, с неподвижно висящим облаком пыли над возами, тянущимися по городскому спуску. Матрос, твердо ступая по палубе пятками босых

ног, появился с рыжим чемоданом Телегина.

— Нет, нет, я передумал, назад несите, — взволнованно проговорил ему Иван Ильич, — я, видите ли, до Нижнего решил ехать. В Кинешму мне и не особенно было нужно. Вот сюда ставьте, под койку. Благодарю вас, голубчик.

В каюте Иван Ильич просидел часа три, придумывая, как объяснить Даше свой, по его пониманию, пошлый и навязчивый поступок, и было ясно, что объяснить невозможно: ни соврать, ни сказать правду. В одиннадцатом часу, раскаиваясь, ненавидя и презирая себя, он появился на палубе, — руки за спиной, походочка какая-то ныряющая, лицо фальшивое, — словом, тип пошляка. Но, обойдя кругом палубу и не найдя Даши, Иван Ильич взволновался, стал заглядывать повсюду. Даши не было нигде. У него пересохло во рту. Очевидно, что-то случилось. И вдруг он прямо наткнулся на нее. Даша сидела на вчерашнем месте, в плетеном кресле, грустная и тихая. На коленях у нее лежали книжка и груша. Она медленно повернула голову к Ивану Ильичу, глаза ее расширились, точно от испуга, залились радостью, на щеки взошел румянец, груша покатилась с колен.

— Вы здесь? Не слезли? — проговорила она

тихо.

Иван Ильич проглотил волнение, сел рядом и сказал глухим голосом:

— Не знаю, как вы взглянете на мой поступок, но я намеренно не вылез в Кинешме.

— Как я посмотрю на ваш поступок? Ну, этого я не скажу. — Даша засмеялась и неожиданно, так что у Ивана Ильича снова на весь день, сильнее вчерашнего, пошла кружиться голова, положила ему в ладонь свою руку просто и нежно.

# 10

На самом деле на механическом заводе произошло следующее. В дождливый вечер, затянувший ветреными облаками фосфорическое небо, в узком переулке, вонючем и грязном той особенной, угольно-железной грязью, какою бывают сплошь залиты прилегающие к большим заводам улицы, в толпе рабочих, идущих после свистка по домам, появился неизвестный человек в резиновом плаще с поднятым капюшоном.

Некоторое время он шел вслед за всеми, затем остановился и направо и налево стал раздавать листки, говоря вполголоса:

— От Центрального комитета… Прочтите, товарищи.

Рабочие на ходу брали листки и прятали в карманы и под шапки.

Когда человек в резиновом плаще роздал почти все листочки, около него, сильно протиснувшись плечом сквозь толпу, появился сторож и, проговорив поспешно: «Погоди-ка», — схватил сзади за плащ. Но человек, мокрый и скользкий, вывернулся и побежал. Раздался резкий свисток,

в ответ издалека заверещал другой. По редеющей толпе прошел глухой говор. Но дело было сделано, и человек в плаще исчез.

Дня через два на механическом заводе, неожиданно для администрации, с утра не стал на работу слесарный цех и предъявил требования, не особенно серьезные, но решительные.

По длинным заводским корпусам, мутно освещенным сквозь грязные окна и закопченные стеклянные крыши, полетели, как искорки, неопределенные фразы, замечания и злые словечки. Рабочие, стоя у станков, странно поглядывали на проходящее начальство и в сдержанном возбуждении ждали дальнейших указаний.

Старшему мастеру Павлову, доносчику и нашептывателю, вертевшемуся около гидравлического пресса, нечаянно раздавили всю ступню раскаленной болванкой. Он дико закричал, и тогда по заводу пошел слух, что кого-то убили. В девять часов на заводской двор, как буря, влетел огромный лимузин главного инженера.

Иван Ильич Телегин, придя в обычный час в литейную, огромную постройку в виде цирка, с разбитыми кое-где стеклами, с висящими цепями мостовых кранов, с плавильными горнами у стен и земляным полом, остановился в дверях,

передернул плечами от утреннего холодка и за руку весело поздоровался с подошедшим мастером Пунько.

В литейной был получен спешный заказ на моторные станины, и Иван Ильич заговорил с Пунько о предстоящей работе, деловито и вдумчиво советуясь с ним о тех вещах, которые были для них обоих несомненны. Эта маленькая хитрость вела к тому, что Пунько, поступивший в литейную пятнадцать лет тому назад простым чернорабочим, а теперь — старший мастер, очень высоко ставивший свои знания и опыт, остался вполне доволен беседой, самолюбие его было удовлетворено, а Телегин был уверен, что если Пунько доволен, то работа пойдет споро.

Обойдя литейную, Иван Ильич поговорил с литейщиками и формовщиками, с каждым тем полушутливо-товарищеским тоном, который наиболее точно определял их взаимоотношения: мы оба стоим на одной работе, значит — товарищи, но я инженер, вы рабочий, и по существу мы — враги, но так как мы друг друга уважаем, то нам ничего не остается, как подшучивать друг над другом.

К одному из горнов, стуча спускающейся цепью, подкатил кран. Филипп Шубин и Иван

Орешников, мускулистые и рослые рабочие, один — черный с проседью и в круглых очках, другой — с кудрявой бородой, со светлыми, повязанными ремешком волосами, голубоглазый и атлетически сильный, принялись: один — ломом отдирать каменную доску с лицевой стороны горна, другой — наводить на белый от жара высокий тигель клещи. Цепь затрещала, тигель подался и, шипя, светясь и роняя корки нагара, поплыл по воздуху к середине мастерской.

— Стоп, — сказал Орешников, — снижай.

Опять загромыхала лебедка, тигель опустился, ослепительная струя бронзы, раскидывая лопающиеся зеленые звезды, озаряя оранжевым заревом шатровый потолок мастерской, полилась под землю. Запахло гарью приторно-сладкой меди.

В это время двустворчатые двери, ведущие в соседний корпус, распахнулись и в литейную быстро и решительно вошел молодой рабочий с бледным и злым лицом.

— Кончай работу… Снимайся! — крикнул он отрывистым, жестким голосом и покосился на Телегина. — Слышали? Али нет?

— Слышали, слышали, не кричи, — ответил Орешников спокойно и поднял голову к лебед-

ке: — Дмитрий, не спи, вытравливай.

— Ну, слышали — понимайте сами, второй раз просить не станем, — сказал рабочий, сунул руки в карманы и, бойко повернувшись, вышел.

Иван Ильич, присев над свежей отливкой, осторожно расковыривал землю куском проволоки. Пунько, сидя на высоком стуле у дверей перед конторкой, быстро начал гладить серую козлиную бородку и сказал, бегая глазами:

— Хочешь не хочешь, значит, а дело бросай. А ребятишек чем кормить, если тебе по шапке дадут с завода, об этом молодцы эти думают али нет?

— Этих делов ты бы лучше не касался, Василий Степаныч, — ответил Орешников густым голосом.

— То есть это как же — не касаться?

— Так это наша каша. Ты-то уж забежишь к начальству, в глаза прыгнешь. По этому случаю — молчи.

— Из-за чего забастовка? — спросил наконец Телегин. — Какие требования?..

Орешников, на которого он взглянул, отвел глаза. Пунько ответил:

— Слесаря забастовали. На прошлой неделе у них шестьдесят станков перевели на сдельную

работу, для пробы. Ну, вот и получается, что недорабатывают, сверхурочные часы приходится выстаивать. Да у них целый список в шестом корпусе на двери прибит, требования разные, небольшие.

Он сердито обмакнул перо в пузырек и принялся сводить ведомость. Телегин заложил руки за спину, прошелся вдоль горнов, потом сказал, глядя в круглое отверстие, за которым в белом нестерпимом огне танцевала, ходила змеями кипящая бронза:

— Орешников, как бы штука-то эта у нас не перестоялась, а?

Орешников, не отвечая, снял кожаный фартук, повесил его на гвоздь, надел барашковую шапку и длинный добротный пиджак и проговорил густым, наполнившим всю мастерскую басом:

— Снимайтесь, товарищи. Приходите в шестой корпус, к средним дверям.

И пошел к выходу. Рабочие молча побросали инструменты, кто спустился с лебедки, кто вылез из ямы в полу, и толпою двинулись за Орешниковым. И вдруг в дверях что-то произошло, — раздался срывающийся на визг исступленный голос:

— Пишешь?.. Пишешь, сукин сын?.. На, записы-

вай меня!.. Доноси начальству!.. — Это кричал на Пунько формовщик, Алексей Носов: изможденное, давно не бритое лицо его, с провалившимися мутными глазами, прыгало и перекашивалось, на тонкой шее надулась жила; крича, он бил черным кулаком в край конторки: — Кровопийцы!.. Мучители!.. Найдем и на вас ножик!..

Тогда Орешников схватил Носова за туловище, легко отодрал от конторки и повел к дверям. Тот сразу стих. Мастерская опустела.

К полудню забастовал весь завод. Ходили слухи, что неспокойно на Обуховском и Невском машиностроительном. Рабочие большими группами стояли на заводском дворе и ждали, к чему поведут переговоры администрации со стачечным комитетом.

Заседали в конторе. Администрация струсила и шла на уступки. Задержка теперь была только за дверцей в дощатом заборе, которую рабочие требовали открыть, иначе им приходится обходом месить четверть версты по грязи. Дверца никому, в сущности, была не нужна, но дело пошло на самолюбие, администрация вдруг уперлась, и начались длинные прения. И в это время по телефону из министерства внутренних дел получили приказ: отказать стачечному комитету во всех

требованиях и, впредь до особого распоряжения, ни в какие разговоры с ним не вступать.

Приказ этот настолько портил все дело, что старший инженер немедленно умчался в город для объяснений. Рабочие недоумевали, настроение было скорее мирное. Несколько инженеров, выйдя к толпе, объяснялись, разводили руками. Кое-где раздавался даже смех. Наконец на крыльце конторы появился огромный, тучный, седой инженер Бульбин и прокричал на весь двор, что переговоры отложены на завтра.

Иван Ильич, пробыв в мастерской до вечера и видя, что горны все равно погаснут, почесал в затылке и поехал домой. В столовой сидели футуристы и, оказывается, живо интересовались тем, что делается на заводе. Но Иван Ильич ничего рассказывать не стал, задумчиво сжевал подложенные ему Елизаветой Киевной бутерброды и ушел к себе, заперся на ключ и лег спать.

На следующий день, подъезжая к заводу, он еще издали увидал, что дело неладно. По всему переулку стояли кучки рабочих и совещались. Около ворот собралась огромная толпа в несколько сот человек и гудела, как потревоженный улей.

Иван Ильич был в мягкой шляпе и штатском пальто, на него не обращали внимания, и он,

прислушиваясь к отдельным кучкам спорящих, узнал, что ночью был арестован весь стачечный комитет, что и сейчас продолжаются аресты среди рабочих, что выбран новый комитет, что требования, предъявленные ими теперь, — уже политические, что весь заводский двор полон казаками, и, говорят, был дан приказ разогнать толпу, но казаки будто бы отказались и что, наконец, Обуховский, Невский судостроительный, Французский и несколько мелких заводов присоединились к забастовке.

Иван Ильич решил пробраться в контору — узнать новости, но с величайшим трудом протискался только до ворот. Там, около знакомого сторожа Бабкина, угрюмого человека, в огромном тулупе, стояли два рослых казака в надвинутых на ухо бескозырках и с бородами на две стороны. Весело и дерзко поглядывали они на невыспавшиеся, нездоровые лица рабочих, были оба румяны, сыты и, должно быть, ловки драться и зубоскалить.

«Да, эти мужики стесняться не станут», — подумал Иван Ильич и хотел было войти во двор, но ближайший к нему казак загородил дорогу и, в упор глядя дерзкими глазами, сказал:

— Куда? Осади!

— Мне нужно пройти в контору, я инженер.

— Осади, говорят!

Тогда из толпы послышались голоса:

— Нехристи! Опричники!

— Мало вами нашей крови пролито!

— Черти сытые! Помещики!

В это время в первые ряды протискался низенький прыщавый юноша с большим и кривым носом, в огромном, не по росту, пальто и неловко надетой высокой шапке на курчавых волосах. Помахивая слабой рукой, он заговорил, картавя:

— Товарищи казаки! Разве мы не все русские? На кого вы поднимаете оружие? На своих же братьев. Разве мы ваши враги, чтобы нас расстреливать? Чего мы хотим? Мы хотим счастья всем русским. Мы хотим, чтобы каждый человек был свободен. Мы хотим уничтожить произвол…

Казак, поджав губы, презрительно оглядел с головы до ног молодого человека, повернулся и зашагал в воротах. Другой ответил внушительно, книжным голосом:

— Никаких бунтов допустить мы не можем, потому что мы присягу принимали.

Тогда первый, очевидно, придумав ответ, крикнул курчавому юноше:

— Братья, братья… Штаны-то подтяни, поте-

ряешь.

И оба казака засмеялись.

Иван Ильич отодвинулся от ворот, движением толпы его понесло в сторону, к забору, где валялся заржавленный чугунный лом. Он попытался было взобраться туда и увидел Орешникова, который, сдвинув на затылок барашковую шапку, спокойно жевал хлеб. Телегину он кивнул бровями и сказал басом:

— Вот дела-то хороши, Иван Ильич.

— Здравствуйте, Орешников. Чем же это все кончится?

— А мы покричим малое время да и шапку снимем. Только и всех бунтов. Пригнали казаков. А чем мы с ними воевать будем? Вот этой разве луковицей кинуть — убить двоих.

В это время по толпе прошел ропот и стих. В тишине у ворот раздался отрывистый командный голос:

— Господа, прошу вас расходиться по домам. Ваши просьбы будут рассмотрены. Прошу вас спокойно разойтись.

Толпа заволновалась, двинулась назад, в сторону. Иные отошли, иные продвинулись. Говор усилился. Орешников сказал:

— Третий раз честью просят.

— Кто это говорит?

— Есаул.

— Товарищи, товарищи, не расходитесь, — послышался взволнованный голос, и сзади Ивана Ильича на гору чугунного лома вскочил бледный, возбужденный человек в большой шляпе, с растрепанной черной бородой, под которой изящный пиджак его был заколот английской булавкой на горле. — Товарищи, ни в коем случае не расходиться, — зычно заговорил он, протянув руки со сжатыми кулаками, — нам достоверно известно, что казаки стрелять отказались. Администрация ведет переговоры через третьих лиц со стачечным комитетом. Мало того, железнодорожники обсуждают сейчас всеобщую забастовку. В правительстве паника.

— Браво! — завопил чей-то исступленный голос.

Толпа загудела, оратор нырнул в нее и скрылся. Было видно, как по переулку подбегали люди.

Иван Ильич поискал глазами Орешникова, но тот стоял уже далеко у ворот. Несколько раз до слуха долетало: «революция, революция».

Иван Ильич чувствовал, как все в нем дрожит испуганно-радостным возбуждением. Взобравшись на чугунный лом, он оглядывал огромную

теперь толпу и вдруг в двух шагах от себя увидел Акундина, — он был в очках, в кепке с большим козырьком и в черной накидке. К нему протиснулся господин с дрожащими губами, в котелке. Телегин слышал, как он сказал Акундину:

— Идите, Иван Аввакумович, вас ждут.

— Я не приду, — коротко, зло ответил Акундин.

— Собрался весь комитет. Без вас, Иван Аввакумович, не хотят принимать решения.

— Я остаюсь при особом мнении, это известно.

— Вы с ума сошли. Вы видите, что делается. Я вам говорю, с минуты на минуту начнется расстрел… — У господина в котелке запрыгали губы.

— Во-первых, не кричите, — проговорил Акундин, — ступайте и выносите компромиссное решение. Я в провокации не участвую.

— Черт знает, черт знает, сумасшествие какое-то! — проговорил господин в котелке и протискался в толпу. К Акундину боком пододвинулся вчерашний рабочий, снявший людей в мастерской Телегина. Акундин что-то сказал ему, тот кивнул и скрылся. Затем то же самое — короткая фраза и кивок головы — произошло с другим рабочим.

Но в это время в толпе предостерегающе закричали, и вдруг раздались три коротких сухих

выстрела. Сразу настала тишина. И придушенный голос, точно по-нарочному, затянул: «а-а-а». Толпа подалась и отхлынула от ворот. На разбитой ногами грязи лежал ничком, с подогнутыми к животу коленями, казак. И сейчас же пошел крик по всему народу: «Не надо, не надо». Это отворяли ворота. Но откуда-то сбоку хлопнул четвертый револьверный выстрел, и полетело несколько камней, ударившись о железо. В эту минуту Телегин увидел Орешникова, стоявшего без шапки, с открытым ртом, одного, впереди уже беспорядочно бегущей толпы. Он точно врос от ужаса в землю огромными сапогами. И одновременно полоснули, как удары бича, длинные винтовочные выстрелы — один, два, и залп, — и, мягко осев на колени, повалился навзничь Орешников.

Через неделю было окончено расследование происшествия на заводе. Иван Ильич попал в список лиц, подозреваемых в сочувствии рабочим. Вызванный в контору, он, неожиданно для всех, наговорил резкостей администрации и подписал отставку.

# 11

Доктор Дмитрий Степанович Булавин, отец Даши, сидел в столовой около большого, валившего паром самовара и читал местную газету — «Самарский листок». Когда папироса догорала до ваты, доктор брал из толсто набитого портсигара новую, закуривал ее об окурок, кашлял, весь багровея, и почесывал под раскрытой рубашкой волосатую грудь. Читая, он прихлебывал с блюдца жидкий чай, сыпал пепел на газету, на рубаху, на скатерть.

Когда за дверью послышался скрип кровати, затопали ноги и в столовую вошла Даша в накинутом на рубашку халатике, вся еще розовая и сонная, Дмитрий Степанович посмотрел на дочь поверх треснувшего пенсне холодными, как у Даши, насмешливыми глазами и подставил ей щеку. Даша поцеловала его и села напротив, пододвинув хлеб и масло.

— Опять ветер, — сказала она. Действительно, второй день дул сильный горячий ветер. Известковая пыль тучей висела над городом, заслоняя солнце. Густые, колючие облака пыли порыва-

ми проносились вдоль улиц, и было видно, как спиною к ним поворачивались редкие прохожие. Пыль проникала во все щели, сквозь рамы окон, лежала на подоконниках тонким слоем, хрустела на зубах. От ветра дрожали стекла и громыхала железная крыша. При этом было жарко, душно, и даже в комнатах пахло улицей.

— Эпидемия глазных заболеваний. Недурно, — сказал Дмитрий Степанович.

Даша вздохнула.

Две недели тому назад на сходнях парохода она простилась с Телегиным, проводившим ее в конце концов до Самары, и с тех пор без дела жила у отца в новой, ей незнакомой, пустой квартире, где в зале стояли нераспечатанные ящики с книгами, до сих пор не были повешены занавеси, ничего нельзя найти, некуда приткнуться, как на постоялом дворе.

Помешивая чай в стакане, Даша с тоской глядела, как за окном летят снизу вверх клубы серой пыли. Ей казалось, что вот — прошли два года, как сон, и она опять дома, а от всех надежд, волнений, людской пестроты, — от шумного Петербурга, — остались только вот эти пыльные облака.

— Эрцгерцога убили, — сказал Дмитрий Степанович, переворачивая газету.

— Какого?

— То есть как — какого? Австрийского эрцгерцога убили в Сараеве.

— Он был молодой?

— Не знаю. Налей-ка еще стакан.

Дмитрий Степанович бросил в рот маленький кусочек сахару, — он пил всегда вприкуску, — и насмешливо оглядел Дашу.

— Скажи на милость, — спросил он, поднимая блюдечко, — Екатерина окончательно разошлась с мужем?

— Я же тебе рассказывала, папа.

— Ну, ну…

И он опять принялся за газету. Даша подошла к окну. Какое уныние! И она вспомнила белый пароход и, главное, солнце повсюду, — синее небо, река, чистая палуба, и все, все полно солнцем, влагой и свежестью. Тогда казалось, что этот сияющий путь — широкая, медленно извивающаяся река, и пароход «Федор Достоевский», вместе с Дашей и Телегиным, вольются, войдут в синее, без берегов, море света и радости — счастье.

И Даша тогда не торопилась, хотя понимала, что переживал Телегин, и ничего не имела против этого переживания. Но к чему спешить, когда каждая минута этого пути без того была хороша,

и все равно они приплывут к счастью.

Иван Ильич, подъезжая к Самаре, осунулся, перестал шутить. Даша думала — плывем к счастью, и чувствовала на себе его взгляд, такой, точно сильного, веселого человека переехали колесом. Ей было жалко его, но что она могла поделать, как допустить его до себя, хотя бы немножко, если тогда — она это понимала — сразу начнется то, что должно было случиться в конце пути. Они не доплывут до счастья, а на полдороге нетерпеливо разворуют его. Поэтому она была нежна с Иваном Ильичом, и только. Ему же казалось, что он оскорбит Дашу, если хоть словом намекнет на то, из-за чего не спал уже четвертую ночь и чувствовал себя в том особом, наполовину призрачном мире, где все внешнее скользило мимо, как тени в голубоватом тумане, где грозно и тревожно горели серые глаза Даши, где действительностью были лишь запахи, свет солнца и неперестающая боль в сердце.

В Самаре Иван Ильич пересел на другой пароход и уехал обратно. А Дашино сияющее море, куда она так спокойно плыла, исчезло, рассыпалось, поднялось клубами пыли за дребезжащими стеклами.

— А зададут австрияки трепку этим самым

сербам, — сказал Дмитрий Степанович, снял с носа пенсне и бросил его на газету. — Ну, а ты что думаешь о славянском вопросе, кошка?

Даша, стоя у окна, пожала плечами.

— Обедать приедешь? — с тоской спросила она.

— Ни под каким видом. У меня скарлатина-с на Постниковой даче.

Дмитрий Степанович не спеша взял со стола, надел манишку, застегнул чесучовый пиджак, осмотрел по карманам — все ли на местах, и сломанным гребешком начал начесывать на лоб седые кудрявые волосы.

— Ну, так как же все-таки насчет славянского вопроса, а?

— Ей-богу, не знаю, папа. Что ты, в самом деле, пристаешь ко мне.

— А я кое-какое имею собственное мнение, Дарья Дмитриевна. — Ему, видимо, очень не хотелось ехать на дачу, да и вообще Дмитрий Степанович любил поговорить утром за самоваром о политике. — Славянский вопрос, — ты слушаешь меня? — это гвоздь мировой политики. На этом много народу сломает себе шею. Вот почему место происхождения славян, Балканы, не что иное, как европейский аппендицит. В чем же де-

ло? — ты хочешь меня спросить. Изволь. — И он стал загибать толстые пальцы: — Первое, славян более двухсот миллионов, и они плодятся, как кролики. Второе, — славянам удалось создать такое мощное военное государство, как Российская империя. Третье, — мелкие славянские группы, несмотря на ассимиляцию, организуются в самостоятельные единицы и тяготеют к так называемому всеславянскому союзу. Четвертое, — самое главное, — славяне представляют морально совершенно новый и в некотором смысле чрезвычайно опасный для европейской цивилизации тип «богоискателя». И «богоискательство», — ты слушаешь меня, кошка? — есть отрицание и разрушение всей современной цивилизации. Я ищу бога, то есть правды, — в самом себе. Для этого я должен быть абсолютно свободен, и я разрушаю моральные устои, под которыми я погребен, разрушаю государство, которое держит меня на цепи.

— Папочка, поезжай на дачу, — сказала Даша уныло.

— Нет, ищи правду там. — Дмитрий Степанович потыкал пальцем, словно указывая на подполье, но вдруг замолчал и обернулся к двери. В прихожей трещал звонок. — Даша, поди отвори.

— Не могу, я раздета.

— Матрена! — закричал Дмитрий Степанович. — Ах, баба проклятая. — И сам пошел отворять парадное и сейчас же вернулся, держа в руке письмо. — От Катюшки, — сказал он. — Подожди, не хватай из рук, я сначала доскажу… Так вот, — «богоискательство» прежде всего начинает с разрушения, и этот период очень опасен и заразителен. Как раз этот момент болезни Россия сейчас и переживает… Попробуй выйди вечером на главную улицу — только и слышно — орут: «Карауууул!» По улице шатаются горчишники, озорство такое, что полиция с ног сбилась. Эти ребята — без всяких признаков морали — «богоискатели». Поняла, кошка? Сегодня они озоруют на главной улице, завтра начнут озоровать во всем государстве Российском. А в целом народ переживает первый фазис «богоискательства» — разрушение основ.

Дмитрий Степанович засопел, закуривая папиросу. Даша вытащила у него из пальцев Катино письмо и ушла к себе. Он же некоторое время еще что-то доказывал, ходил, хлопая дверями, по большой, наполовину пустой, пыльной квартире с крашеными полами, затем уехал на дачу.

«Данюша, милая, — писала Катя, — до сих пор

ничего не знаю ни о тебе, ни о Николае. Я живу в Париже. Здесь сезон в разгаре. Носят очень узкие внизу платья, в моде шифон. Париж очень красив. И все решительно, — вот бы тебе посмотреть, — весь Париж танцует танго. За завтраком, между блюд — встают и танцуют, и в пять часов, и за обедом, и так до утра.

Я никуда не могу укрыться от этой музыки, она какая-то печальная, мучительная и сладкая. Мне все кажется, что хороню молодость, что-то невозвратное, когда гляжу на этих женщин с глубокими вырезами платьев, с глазами, подведенными синим, и на их кавалеров. В общем, у меня тоска. Все думается, что кто-то должен умереть. Очень боюсь за папу. Он ведь совсем не молод. Здесь полно русских, все наши знакомые: каждый день собираемся где-нибудь, точно и не уезжала из Петербурга. Кстати, здесь мне рассказали о Николае, что он был близок будто бы с одной женщиной. Она — вдова, у нее двое детей и третий маленький. Понимаешь? Мне было очень больно вначале. А потом почему-то стало ужасно жалко этого маленького… Ах, Данюша, иногда мне хочется иметь ребенка. Но ведь это можно только от любимого человека. Выйдешь замуж, — рожай, слышишь?»

Даша прочла письмо несколько раз, прослезилась, в особенности над этим ни в чем не повинным ребеночком, и села писать ответ, прописала его до обеда, обедала одна, — так, только пощипала что-то, — затем пошла в кабинет и начала рыться в старых журналах, отыскала длиннейший какой-то роман, легла на диван посреди разбросанных книг и читала до вечера. Наконец приехал отец, запыленный и усталый; сели ужинать, отец на все вопросы отвечал «угу»; Даша выведала: оказывается — скарлатинный больной, мальчик трех лет, умер. Дмитрий Степанович, сообщив это, засопел, спрятал пенсне в футляр и ушел спать. Даша легла в постель, закрылась с головой простыней и всласть наплакалась о разных грустных вещах.

Прошло два дня. Пыльная буря кончилась грозой и ливнем, барабанившим по крыше всю ночь, и утро воскресенья настало тихое и влажное — вымытое.

Утром, как Даше встать, зашел к ней старый знакомый, Семен Семенович Говядин, земский статистик — худой и сутулый, всегда бледный мужчина, с русой бородой и зачесанными за уши волосами. От него пахло сметаной; он отвергал вино, табак и мясо и был на счету у полиции. Здо-

роваясь с Дашей, он сказал без всякой причины насмешливым голосом:

— Я за вами, женщина. Едем на Волгу.

Даша подумала: «Итак, все кончилось статистиком Говядиным», — взяла белый зонтик и пошла за Семеном Семеновичем вниз к Волге, к пристани, где стояли лодки.

Между длинных дощатых бараков с хлебом, бунтов леса и целых гор из тюков с шерстью и хлопком бродили грузчики и крючники, широкоплечие, широкогрудые мужики и парни, босые, без шапок, с голыми шеями. Иные играли в орлянку, иные спали на мешках и досках; вдалеке человек тридцать с ящиками на плечах сбегали по зыбким сходням. Между телег стоял пьяный человек, весь в грязи и пыли, с окровавленной щекой, и, придерживая обеими руками штаны, ругался лениво и матерно.

— Этот элемент не знает ни праздников, ни отдыха, — наставительно заметил Семен Семенович, — а вот мы с вами, умные и интеллигентные люди, едем праздно любоваться природой.

И он перешагнул через огромные босые ноги грудастого и губастого парня, лежавшего навзничь; другой сидел на бревне и жевал французскую булку. Даша слышала, как лежащий

сказал ей вслед:

— Филипп, вот бы нам такую.

И другой ответил с набитым ртом:

— Чиста очень. Возни много.

По широкой желтоватой реке в зыбких солнечных отсветах двигались силуэты лодочек, направляясь к дальнему песчаному берегу. Одну из таких лодок нанял Говядин; попросил Дашу править рулем, сам сел на весла и стал выгребать против течения. Скоро на бледном лице у него выступил пот.

— Спорт — великая вещь, — сказал Семен Семенович и принялся стаскивать с себя пиджак, стыдливо отстегнул помочи и сунул их под нос лодки. У него были худые, с длинными волосами, слабые руки и гуттаперчевые манжеты. Даша раскрыла зонт и, прищурясь, глядела на воду.

— Простите за нескромный вопрос, Дарья Дмитриевна, — в городе поговаривают, что вы выходите замуж. Правда это?

— Нет, неправда.

Тогда он широко ухмыльнулся, что было неожиданно для его интеллигентного озабоченного лица, и жиденьким голоском попробовал было запеть: «Эх, да вниз по матушке по Волге», — но застыдился и со всей силой ударил в весла.

Навстречу проплыла лодка, полная народу. Три мещанки в зеленых и пунцовых кашемировых платьях грызли семечки и плевали шелухой себе на колени. Напротив сидел совершенно пьяный горчишник, кудрявый, с черными усиками, закатывал, точно умирая, глаза и играл польку на гармонике. Другой шибко греб, раскачивая лодку, третий, взмахнув кормовым веслом, закричал Семену Семеновичу:

— Сворачивай с дороги, шляпа, тудыть твою душу. — И они с криком и руганью проплыли совсем близко.

Наконец лодка с шорохом скользнула по песчаному дну. Даша выпрыгнула на берег. Семен Семенович опять надел помочи и пиджак.

— Хотя я городской житель, но искренне люблю природу, — сказал он, прищурясь, — особенно когда ее дополняет фигура девушки, в этом я нахожу что-то тургеневское. Пойдемте к лесу.

И они побрели по горячему песку, увязая в нем по щиколотку. Говядин поминутно останавливался, вытирая платком лицо, и говорил:

— Нет, вы взгляните, что за очаровательный уголок.

Наконец песок кончился, пришлось взобраться на небольшой обрыв, откуда начинались луга с

кое-где уже скошенной травой, вянущей в рядах. Здесь горячо пахло медовыми цветами. По берегу узкого оврага над водой рос кудрявый орешник. В низинке, в сочной траве, журчал ручей, переливаясь в другое озерцо — круглое. На берегу его росли старые липы и корявая сосна с одной, отставленной, как рука, веткой. Дальше, по узкой гривке, цвел белый шиповник… Это было место, излюбленное вальдшнепами во время перелетов. Даша и Семен Семенович сели на траву. Под их ногами синела небом, зеленела отражением листвы вода по извилистым овражкам. Неподалеку от Даши в кусте прыгали, однообразно посвистывая, две серые птички. И со всей грустью покинутого любовника где-то в чаще дерева ворковал, ворковал, не уставая, дикий голубь. Даша сидела, вытянув ноги, уронив руки на колени, и слушала, как в ветвях покинутый любовник бормотал нежным голосом: «Дарья Дмитриевна, Дарья Дмитриевна, ах, что происходит с вами, — почему вам так грустно, хочется плакать? Ведь ничего еще не случилось, а вы грустите, будто жизнь уж кончена, прошла, пролетела. Вы просто от природы плакса».

— Мне хочется быть с вами откровенным, Дарья Дмитриевна, — проговорил Говядин, —

позвольте мне, так сказать, отбросить в сторону условности?..

— Говорите, мне все равно, — ответила Даша и, закинув руки за голову, легла на спину, чтобы видеть небо, а не бегающие глазки Семена Семеновича, который исподтишка поглядывал на ее белые чулки.

— Вы гордая, смелая девушка. Вы молоды, красивы, полны кипучей жизни…

— Предположим, — сказала Даша.

— Неужто вам никогда не хотелось разрушить эту условную мораль, привитую воспитанием и средой? Неужто во имя этой всеми авторитетами уже отвергнутой морали вы должны сдерживать свои красивые инстинкты!

— Предположим, что я не хочу сдерживать свои красивые инстинкты, — тогда что? — спросила Даша и с ленивым любопытством ждала, что он ответит. Ее разогрело солнце, и было так хорошо глядеть в небо, в солнечную пыль, наполнившую всю эту синюю бездну, что не хотелось ни думать, ни шевелиться.

Семен Семенович молчал, ковыряя в земле пальцем. Даша знала, что он женат на акушерке Марье Давыдовне. Раза два в год Марья Давыдовна забирала троих детей и уходила от мужа к

матери, живущей напротив, через улицу. Семен Семенович в земской управе объяснял сослуживцам эти семейные разрывы чувственным и беспокойным характером Марьи Давыдовны. Она же в земской больнице объясняла их тем, что муж каждую минуту готов ей изменить с кем угодно, только об этом и думает, и не изменяет по трусости и вялости, что уже совсем обидно, и она больше не в состоянии видеть его длинную вегетарьянскую физиономию. Во время этих размолвок Семен Семенович по нескольку раз в день без шапки переходил улицу. Затем супруги мирились, и Марья Давыдовна с детьми и подушками перебиралась в свой дом.

— Когда женщина остается вдвоем с мужчиной, у нее возникает естественное желание принадлежать, у него — овладеть ее телом, — покашляв, проговорил наконец Семен Семенович. — Я вас зову быть честной, открытой. Загляните в глубь себя, и вы увидите, что среди предрассудков и лжи в вас горит естественное желание здоровой чувственности.

— А у меня сейчас никакого желания не горит, что это значит? — спросила Даша. Ей было смешно и лениво. Над головой, в бледном цветке шиповника, в желтой пыльце ворочалась пчела.

А покинутый любовник продолжал бормотать в осиннике: «Дарья Дмитриевна, Дарья Дмитриевна, не влюблены ли вы, в самом деле? Влюблены, влюблены, честное слово, — оттого и горюете». Слушая, Даша тихонько начала смеяться.

— Кажется, у вас забрался песок в туфельки. Позвольте, я вытряхну, — проговорил Семен Семенович каким-то особенным, глуховатым голосом и потянул ее за каблук. Тогда Даша быстро села, вырвала у него туфлю и шлепнула ею Семена Семеновича по щеке.

— Вы — негодяй, — сказала она, — я никогда не думала, что вы такой омерзительный человек.

Она надела туфлю, встала, подобрала зонтик и, не взглянув на Говядина, пошла к реке.

«Вот дура, вот дура, не спросила даже адреса — куда писать, — думала она, спускаясь с обрыва, — не то в Кинешму, не то в Нижний. Вот теперь и сиди с Говядиным. Ах, боже мой». Она обернулась. Семен Семенович шагал по спуску, по траве, подымая ноги, как журавль, и глядел в сторону. «Напишу Кате: „Представь себе, кажется, я полюбила, так мне кажется“». И, прислушиваясь внимательно, Даша повторила вполголоса: «Милый, милый, милый Иван Ильич».

В это время неподалеку раздался голос: «Не

полезу и не полезу, пусти, юбку оборвешь». По колена в воде у берега бегал голый человек, пожилой, с короткой бородой, с желтыми ребрами, с черным гайтаном креста на впалой груди. Он был непристоен и злобно, молча тащил в воду унылую женщину. Она повторяла: «Пусти, юбку оборвешь».

Тогда Даша изо всей силы побежала вдоль берега к лодке, — стиснуло горло от омерзения и стыда. Покуда она сталкивала лодку в воду, подбежал запыхавшийся Говядин. Не отвечая ему, не глядя, Даша села на корму, прикрылась зонтом и молчала всю обратную дорогу.

После этой прогулки у Даши каким-то особым, непонятным ей самой путем началась обида на Телегина, точно он был виноват во всем этом унынии пыльного, раскаленного солнцем провинциального города, с вонючими заборами и гнусными подворотнями, с кирпичными, как ящики, домишками, с телефонными и трамвайными столбами вместо деревьев, с тяжелым зноем в полдень, когда по серовато-белой, без теней, улице бредет одуревшая баба со связками вяленой рыбы на коромысле и кричит, глядя на пыльные окошки: «Рыбы воблой, рыбы», но остановится около нее и понюхает рыбу какой-нибудь

тоже одуревший и наполовину взбесившийся пес; когда со двора издалека дунайской, сосущей скукой заиграет шарманка.

Телегин виноват был в том, что Даша воспринимала сейчас с особенной чувствительностью весь этот окружавший ее утробный мещанский покой, не намеревающийся, видимо, во веки веков сдвинуться с места, хоть выбеги на улицу и закричи диким голосом: «Жить хочу, жить!»

Телегин был виноват в том, что чересчур уж был скромен и застенчив: не ей же, Даше, в самом деле говорить: «Понимаете, что люблю». Он был виноват в том, что не подавал о себе вестей, точно сквозь землю провалился, а может быть, даже и думать забыл.

И в прибавление ко всему этому унынию в одну из знойных, как в печке, черных ночей Даша увидела сон, тот же, что и в Петербурге, когда проснулась в слезах, и так же, как и тогда, он исчез из памяти, точно дымка с запотевшего стекла. Но ей казалось, что этот мучительный и страшный сон предвещает какую-то беду. Дмитрий Степанович посоветовал Даше впрыскивать мышьяк. Затем было получено второе письмо от Кати. Она писала:

*«Милая Данюша, я очень тоскую по тебе, по своим и по России. Мне все сильнее думается, что я виновата и в разрыве с Николаем. Я просыпаюсь и так весь день живу с этим чувством вины и какой-то душевной затхлости. И потом – я не помню, писала ли я тебе, – меня вот уже сколько времени преследует один человек. Выхожу из дому, – он идет навстречу. Поднимаюсь в лифте в большом магазине, – он по пути впрыгивает в лифт. Вчера была в Лувре, в музее, устала и села на скамеечку, и вдруг чувствую, – точно мне провели рукой по спине, – оборачиваюсь, – неподалеку сидит он. Худой, черный, с сильной проседью, борода точно наклеенная на щеках. Руки положил на трость, глядит сурово, глаза ввалившиеся. Он не заговаривает, не пристает ко мне, но я его боюсь. Мне кажется, что он какими-то кругами около меня ходит…»*

Даша показала письмо отцу. Дмитрий Степанович на другое утро за газетой сказал между прочим:

— Кошка, поезжай в Крым.

— Зачем?

— Разыщи этого Николая Ивановича и скажи ему, что он разиня. Пускай отправляется в Париж, к жене. А впрочем, как хочет… Это их частное дело…

Дмитрий Степанович рассердился и взволновался, хотя терпеть не мог показывать своих чувств. Даша вдруг обрадовалась: Крым ей представился синим, шумящим волнами, чудесным простором. Длинная тень от пирамидального тополя, каменная скамья, развевающийся на голове шарф, и чьи-то беспокойные глаза следят за Дашей.

Она быстро собралась и уехала в Евпаторию, где купался Николай Иванович.

# 12

В это лето в Крыму был необычайный наплыв приезжих с севера. По всему побережью бродили с облупленными носами колючие петербуржцы с катарами и бронхитами, и шумные, растрепанные москвичи с ленивой и поющей речью, и черноглазые киевляне, не знающие различия гласных «о» и «а», и презирающие эту российскую суету богатые сибиряки; жарились и обгорали дочерна молодые женщины, и голенастые юноши, священники, чиновники, почтенные и семейные люди, живущие, как и все тогда жило в России, расхлябанно, точно с перебитой поясницей.

В середине лета от соленой воды, жары и загара у всех этих людей пропадало ощущение стыда, городские платья начинали казаться пошлостью, и на прибрежном песке появлялись женщины, кое-как прикрытые татарскими полотенцами, и мужчины, похожие на изображения на этрусских вазах.

В этой необычайной обстановке синих волн, горячего песка и голого тела, лезущего отовсюду, шатались семейные устои. Здесь все казалось

легким и возможным. А какова будет расплата потом, на севере, в скучной квартире, когда за окнами дождь, а в прихожей трещит телефон и все кому-то чем-то обязаны, — стоит ли думать о расплате. Морская вода с мягким шорохом подходит к берегу, касается ног, и вытянутому телу на песке, закинутым рукам и закрытым векам — легко, горячо, сладко. Все, все, даже самое опасное, — легко и сладко.

Нынешним летом легкомыслие и шаткость среди приезжих превзошли всякие размеры, словно у этих сотен тысяч городских обывателей каким-то гигантским протуберанцем, вылетевшим в одно июньское утро из раскаленного солнца, отшибло память и благоразумие.

По всему побережью не было ни одной благополучной дачи. Неожиданно разрывались прочные связи. И казалось, самый воздух был полон любовного шепота, нежного смеха и неописуемой чепухи, которая говорилась на этой горячей земле, усеянной обломками древних городов и костями вымерших народов. Было похоже, что к осенним дождям готовится какая-то всеобщая расплата и горькие слезы.

Даша подъезжала к Евпатории после полудня. Незадолго до города, с дороги, пыльной белой лен-

той бегущей по ровной степи, мимо солончаков, ометов соломы, она увидела против солнца большой деревянный корабль. Он медленно двигался в полуверсте, по степи, среди полыни, сверху донизу покрытый черными, поставленными боком, парусами. Это было до того удивительно, что Даша ахнула. Сидевший рядом с ней в автомобиле армянин сказал, засмеявшись: «Сейчас море увидишь».

Автомобиль повернул мимо квадратных запруд солеварен на песчаную возвышенность, и с нее открылось море. Оно лежало будто выше земли, темно-синее, покрытое белыми длинными жгутами пены. Веселый ветер засвистел в ушах. Даша стиснула на коленях кожаный чемоданчик и подумала: «Вот оно. Начинается».

В это же время Николай Иванович Смоковников сидел в павильоне, вынесенном на столбах в море, и пил кофе с любовником-резонером. Подходили после обеденного отдыха дачники, садились за столики, перекликались, говорили о пользе йодистого лечения, о морском купанье и женщинах. В павильоне было прохладно. Ветром трепало края белых скатертей и женские шарфы. Мимо прошла однопарусная яхта, и оттуда что-то весело кричали. Толпой появились и заняли

большой стол москвичи, все — мировые знаменитости. Любовник-резонер поморщился при виде их и продолжал рассказывать содержание драмы, которую задумал написать.

— У меня глубоко продумана вся тема, но написан только первый акт, — говорил он, вдумчиво и благородно глядя в лицо Николаю Ивановичу. — У тебя светлая голова, Коля, ты поймешь мою идею: красивая молодая женщина тоскует, томится, кругом нее пошлость. Хорошие люди, но жизнь засосала, — гнилые чувства и пьянство. Словом, ты понимаешь… И вдруг она говорит: «Я должна уйти, порвать с этой жизнью, уйти туда, куда-то к светлому…» А тут — муж и друг… Оба страдают… Коля, ты пойми, — жизнь засосала… Она уходит, я не говорю, к кому, — любовника нет, все на настроении… И вот двое мужчин сидят в кабаке молча и пьют… Глотают слезы с коньяком… А ветер в каминной трубе завывает, хоронит их… Грустно… Пусто… Темно…

— Ты хочешь знать мое мнение? — спросил Николай Иванович.

— Да. Ты только скажи: «Миша, брось писать, брось», и я брошу.

— Пьеса твоя замечательная. Это — сама жизнь. — Николай Иванович, закрыв глаза, по-

мотал головой. — Да, Миша, мы не умели ценить своего счастья, и оно ушло, и вот мы — без надежды, без воли — сидим и пьем. И воет ветер над нашим кладбищем… Твоя пьеса меня чрезвычайно волнует…

У любовника-резонера задрожали мешочки под глазами, он потянулся и крепко поцеловал Николая Ивановича, затем налил по рюмочке. Они чокнулись, положили локти на стол и продолжали душевную беседу.

— Коля, — говорил любовник-резонер, тяжело глядя на собеседника, — а знаешь ли ты, что я любил твою жену, как бога?

— Да. Мне это казалось.

— Я мучился, Коля, но ты был мне другом… Сколько раз я бежал из твоего дома, клянясь не переступать больше порога… Но я приходил опять и разыгрывал шута… И ты, Николай, не смеешь ее винить. — Он вытянул губы свирепо.

— Миша, она жестоко поступила со мною.

— Может быть… Но мы все перед ней виноваты… Ах, Коля, одного я в тебе не могу понять, — как ты, живя с такой женщиной, — прости меня, — путался в то же время с какой-то вдовой — Софьей Ивановной. Зачем?

— Это сложный вопрос.

— Лжешь. Я ее видел, обыкновенная курица.

— Видишь ли, Миша, теперь дело прошлое, конечно… Софья Ивановна была просто добрым человеком. Она давала мне минуты радости и никогда ничего не требовала. А дома все было слишком сложно, трудно, углубленно… На Екатерину Дмитриевну у меня не хватало душевных сил.

— Коля, но неужели — вот мы вернемся в Петербург, вот настанет вторник, и я приеду к вам после спектакля… И твой дом пуст… Как мне жить?.. Слушай… Где жена сейчас?

— В Париже.

— Переписываешься?

— Нет.

— Поезжай в Париж. Поедем вместе.

— Бесполезно…

— Коля, выпьем за ее здоровье.

— Выпьем.

В павильоне, между столиками, появилась актриса Чародеева, в зеленом прозрачном платье, в большой шляпе, худая, как змея, с синей тенью под глазами. Ее, должно быть, плохо держала спина, — так она извивалась и клонилась. Ей навстречу поднялся редактор эстетического журнала «Хор муз», взял за руку и не спеша поцеловал

в сгиб локтя.

— Изумительная женщина, — проговорил Николай Иванович сквозь зубы.

— Нет, Коля, нет, Чародеева — просто падаль. В чем дело?.. Жила три месяца с Бессоновым, на концертах мяукает декадентские стихи… Смотри, смотри, — рот до ушей, на шее жилы. Это не женщина, это — гиена.

Все же, когда Чародеева, кивая шляпкой направо и налево, улыбаясь большим ртом с розовыми губами, приблизилась к столу, любовник-резонер, словно пораженный, медленно поднялся, всплеснул руками, сложил их под подбородком..

— Милая… Ниночка… Какой туалет!.. Не хочу, не хочу… Мне прописан глубокий покой, родная моя…

Чародеева потрепала костлявой рукой его щеку, сморщила нос.

— А что болтал вчера про меня в ресторане?

— Я тебя ругал вчера в ресторане? Ниночка!

— Да еще как!

— Честное слово, меня оклеветали.

Чародеева со смехом положила мизинчик ему на губы: «Ведь знаешь, что не могу на тебя долго сердиться». И уже другим голосом, из какой-то воображаемой светской пьесы, обратилась к

Николаю Ивановичу:

— Сейчас проходила мимо вашей комнаты; к вам приехала, кажется, родственница, — прелестная девушка.

Николай Иванович быстро взглянул на друга, затем взял с блюдечка окурок сигары и так принялся его раскуривать, что задымилась вся борода.

— Это неожиданно, — сказал он, — что бы это могло означать?.. Бегу. — Он бросил сигару в море и стал спускаться по лестнице на берег, вертя серебряной тростью, сдвинув шляпу на затылок.

В гостиницу Николай Иванович вошел уже запыхавшись…

— Даша, ты зачем? Что случилось? — спросил он, притворяя за собой дверь.

Даша сидела на полу около раскрытого чемодана и зашивала чулок. Когда вошел зять, она не спеша поднялась, подставила ему щеку для поцелуя и сказала рассеянно:

— Очень рада тебя видеть. Мы с папой решили, чтобы ты ехал в Париж. Я привезла два письма от Кати. Вот. Прочти, пожалуйста.

Николай Иванович схватил у нее письма и сел к окну. Даша ушла в умывальную комнату и оттуда, одеваясь, слушала, как зять шуршит

листочками, вздыхает. Затем он затих. Даша насторожилась.

— Ты завтракала? — вдруг спросил он. — Если голодна — пойдем в павильон.

Тогда она подумала: «Разлюбил ее совсем», — обеими руками надвинула на голову шапочку и решила разговор о Париже отложить до завтра.

По дороге к павильону Николай Иванович молчал и глядел под ноги, но, когда Даша спросила: «Ты купаешься?» — он весело поднял голову и заговорил о том, что здесь у них образовалось общество борьбы с купальными костюмами, главным образом преследующее гигиенические цели.

— Представь, за месяц купанья на этом пляже организм поглощает йода больше, нежели за это время можно искусственно ввести его внутрь. Кроме того, ты поглощаешь солнечные лучи и теплоту от нагретого песка. У нас, мужчин, еще терпимо, только небольшой пояс, но женщины закрывают почти две трети тела. Мы с этим решительно начали бороться… В воскресенье я читаю лекцию по этому вопросу.

Они шли вдоль воды по светло-желтому, мягкому, как бархат, песку из плоских, обтертых прибоями раковинок. Неподалеку, там, где на

отмель набегали и разбивались кипящей пеной небольшие волны, покачивались, как поплавки, две девушки в красных чепчиках.

— Наши адептки, — сказал Николай Иванович деловито. У Даши все сильнее росло чувство не то возбуждения, не то беспокойства. Это началось с той минуты, когда она увидела в степи черный корабль.

Даша остановилась, глядя, как вода тонкой пеленой взлизывает на песок и отходит, оставляя ручейки, и это прикосновение воды к земле было такое радостное и вечное, что Даша присела и опустила туда руки. Маленький плоский краб шарахнулся боком, пустив облачко песка, и исчез в глубине. Волной замочило руки выше локтя.

— Какая-то с тобой перемена, — проговорил Николай Иванович, прищурясь, — не то ты еще похорошела, не то похудела, не то замуж тебе пора.

Даша обернулась, взглянула на него странно, поднялась и, не обтирая рук, пошла к павильону, откуда любовник-резонер махал соломенной шляпой.

Дашу кормили чебуреками и простоквашей, поили шампанским; любовник-резонер суетился, время от времени впадал в столбняк, шепча

словно про себя: «Боже мой, как хороша!» — и подводил знакомить каких-то юношей — учеников драматической студии, говоривших придушенными голосами, точно на исповеди. Николай Иванович был польщен таким успехом «своей Дашурки».

Даша пила вино, смеялась, протягивала кому-то для поцелуев руку и, не отрываясь, глядела на сияющее голубым светом взволнованное море. «Это счастье», — думала она.

После купанья и прогулки пошли ужинать в гостиницу. Было шумно, светло и нарядно. Любовник-резонер много и горячо говорил о любви. Николай Иванович, глядя на Дашу, подвыпил и загрустил. А Даша все время сквозь щель в занавеси окна видела, как невдалеке появляются, исчезают и скользят какие-то жидкие блики. Наконец она поднялась и вышла на берег. Ясная и круглая луна, совсем близкая, как в сказках Шехерезады, висела над чешуйчатой дорогой через все море. Даша засунула пальцы между пальцев и хрустнула ими.

Когда послышался голос Николая Ивановича, она поспешно пошла дальше вдоль воды, сонно лижущей берег. На песке сидела женская фигура и другая, мужская, лежала головой у нее на коле-

нях. Между зыбкими бликами в черно-лиловой воде плавала человеческая голова, и на Дашу взглянули и долго следили за ней два глаза с лунными отблесками. Потом стояли двое, прижавшись; миновав их, Даша услышала вздох и поцелуй.

Издалека звали: «Даша, Даша!» Тогда она села на песок, положила локти на колени и подперла подбородок. Если бы сейчас подошел Телегин, опустился бы рядом, обнял рукой за спину и голосом суровым и тихим спросил: «Моя?» — ответила бы: «Твоя».

За бугорком песка пошевелилась серая, лежащая ничком фигура, села, уронив голову, долго глядела на играющую, точно на забаву детям, лунную дорогу, поднялась и побрела мимо Даши, уныло, как мертвая. И с отчаянно бьющимся сердцем Даша увидела, что это — Бессонов.

Так начались для Даши эти последние дни старого мира. Их осталось немного, насыщенных зноем догорающего лета, радостных и беспечных. Но люди, привыкшие думать, что будущий день так же ясен, как вдалеке синеватые очертания гор, даже умные и прозорливые люди не могли ни видеть, ни знать ничего, лежащего впереди мгновения их жизни. За мгновением, много-

цветным, насыщенным запахами, наполненным биением всех соков жизни, лежал непостижимый мрак… Туда ни на волосок не проникали ни взгляд, ни ощущение, ни мысль, и только, быть может, неясным чувством, какое бывает у зверей перед грозой, воспринимали иные то, что надвигалось. Это чувство было как необъяснимое беспокойство. А в это время на землю опускалось невидимое облако, бешено крутящееся какими-то торжествующими, и яростными, и какими-то падающими, и изнемогающими очертаниями. И это было отмечено лишь полосою солнечной тени, зачеркнувшей с юго-востока на северо-запад всю старую, веселую и грешную жизнь на земле.

# 13

Бессонов целыми днями валялся у моря. Разглядывая лица: женские — смеющиеся, покрытые солнечной пылью загара, и мужские — медно-красные и возбужденные, он с унынием чувствовал, что сердце его ледяным куском лежит в груди. Глядя на море, думал, что вот оно тысячи лет шумит волнами о берег, и берег был когда-то пуст, и вот он населен людьми, и они умрут, и берег опять опустеет, а море будет все так же набегать на песок. Думая, он морщился, сгребал пальцами раковинки в кучку и засовывал в нее потухшую папироску. Затем шел купаться. Затем лениво обедал. Затем уходил спать.

Вчера неподалеку от него быстро села в песок какая-то девушка и долго глядела на лунный свет; от нее слабо пахло фиалками. В оцепеневшем мозгу прошло воспоминание. Бессонов заворочался, подумал: «Ну, нет, на этот крючок не зацепишь, к черту, спать», — поднялся и побрел в гостиницу.

Даша после этой встречи струсила. Ей казалось, что петербургская жизнь — все эти воробьиные ночи — отошла навсегда и Бессонов, непонятно

чем занозивший ее воображение, — забыт.

Но от одного взгляда, от этой минутки, когда он черным силуэтом прошел перед светом месяца, в ней все поднялось с новой силой, и не в виде смутных и неясных переживаний, а теперь было точное желание, горячее, как полуденный жар: она жаждала почувствовать этого человека. Не любить, не мучиться, не раздумывать, — а только ощутить.

Сидя в залитой лунным светом белой комнате, на белой постели, она повторяла слабым голосом:

— Ах, боже мой, ах, боже мой, что же это такое?

В седьмом часу утра Даша пошла на берег, разделась, вошла по колена в воду и загляделась. Море было выцветшее, бледно-голубое и только кое-где вдалеке тронутое матовой рябью. Вода не спеша всходила то выше колен, то опускалась ниже. Даша протянула руки, упала на эту небесную прохладу и поплыла. Потом, освеженная и вся соленая, закуталась в мохнатый халат и легла на песок, уже тепловатый.

«Люблю одного Ивана Ильича, — думала она, лежа щекой на локте, пахнущем свежестью, — люблю, люблю Ивана Ильича. С ним чисто, свежо,

радостно. Слава богу, что люблю Ивана Ильича. Выйду за него замуж».

Она закрыла глаза и заснула, чувствуя, как рядом, набегая, будто дышит вода в лад с ее дыханием.

Этот сон был сладок. Она, не переставая, чувствовала, как ее телу тепло и легко лежать на песке. И во сне она ужасно любила себя.

На закате, когда солнце сплющенным шаром опускалось в оранжевое безоблачное зарево, Даша встретила Бессонова, сидевшего на камне у тропинки, вьющейся через плоское полынное поле. Даша забрела сюда, гуляя, и сейчас, увидев Бессонова, остановилась, хотела повернуть, побежать, но давешняя легкость опять исчезла, и ноги, отяжелев, точно приросли, и она исподлобья глядела, как он подходил, почти не удивленный встречей, как снял соломенную шляпу и поклонился по-монашески — смиренным наклонением.

— Вчера я не ошибся, Дарья Дмитриевна, — это вы были на берегу?

— Да, я…

Он помолчал, опустив глаза, потом взглянул мимо Даши в глубину степи.

— На этом поле во время заката чувствуешь се-

бя как в пустыне. Сюда редко кто забредет. Кругом — полынь, камни, и в сумерки представляется, что на земле никого уже не осталось.

Бессонов засмеялся, медленно открыв белые зубы. Даша глядела на него, как дикая птица. Потом она пошла рядом с ним по тропинке. С боков и по всему полю росли высокие, горько пахнувшие кустики полыни; от каждого ложилась на сухую землю еще не яркая лунная тень. Над головами, вверх и вниз, неровно и трепеща, летали две мыши, ясно видимые в полосе заката.

— Соблазны, соблазны, никуда от них не скроешься, — проговорил Бессонов, — прельщают, заманивают, и снова попадаешь в обман. Смотрите, до чего лукаво подстроено, — он показал палкой на невысоко висящий шар луны, — всю ночь будет ткать сети, тропинка прикинется ручьем, каждый кустик — населенным, даже труп покажется красивым и женское лицо — таинственным. А может быть, действительно так и нужно: вся мудрость в этом обмане… Какая вы счастливая, Дарья Дмитриевна, какая вы счастливая…

— Почему же это обман? По-моему, совсем не обман. Просто — светит луна, — сказала Даша упрямо.

— Ну, конечно, Дарья Дмитриевна, конечно… «Будьте как дети». Обман в том, что я не верю ничему этому. Но — «будьте так же, как змеи». А как это соединить? Что нужно для этого?.. Говорят, соединяет любовь? А вы как думаете?

— Не знаю. Ничего не думаю.

— Из каких она приходит пространств? Как ее заманить? Каким словом заклясть? Лечь в пыли и взывать: «О господи, пошли на меня любовь!..» — Он негромко засмеялся, показав зубы.

— Я дальше не пойду, — сказала Даша, — я хочу к морю.

Они повернулись и шли теперь по полыни к песчаной возвышенности. Неожиданно Бессонов сказал мягким и осторожным голосом:

— Я до последнего слова помню все, что вы говорили тогда у меня в Петербурге. Я вас спугнул. (Даша, глядя перед собой, шла очень быстро.) Тогда меня потрясло одно ощущение… Не ваша особенная красота, нет… Меня поразила, пронизала всего непередаваемая музыка вашего голоса. Я глядел тогда на вас и думал: здесь мое спасение — отдать сердце вам, стать нищим, смиренным, растаять в вашем свете… А может быть, взять ваше сердце? Стать бесконечно богатым?.. Подумайте, Дарья Дмитриевна, вот вы пришли, и я

должен отгадать загадку.

Даша, опередив его, взбежала на песчаную дюну. Широкая лунная дорога, переливаясь, как чешуя, в тяжелой громаде воды, обрывалась на краю моря длинной и ясной полосой, и там, над этим светом, стояло темное сияние. У Даши так билось сердце, что пришлось закрыть глаза. «Господи, спаси меня от него», — подумала она. Бессонов несколько раз вонзил палку в песок.

— Только уж нужно решаться, Дарья Дмитриевна… Кто-то должен сгореть на этом огне… Вы ли… Я ли… Подумайте, ответьте…

— Не понимаю, — отрывисто сказала Даша.

— Когда вы станете нищей, опустошенной, сожженной, — тогда только настанет для вас настоящая жизнь, Дарья Дмитриевна… без этого лунного света соблазна на три копейки. Будет — мудрость. И всего только и нужно для этого развязать девичий поясок.

Бессонов ледяной рукой взял Дашину руку и заглянул ей в глаза. Даша только и могла, что — медленно зажмурилась. Через несколько долгих молчаливых минут он сказал:

— Впрочем, пойдемте лучше по домам — спать. Поговорили, обсудили вопрос со всех сторон, — да и час поздний…

Он довел Дашу до гостиницы, простился учтиво, сдвинул шляпу на затылок и пошел вдоль воды, вглядываясь в неясные фигуры гуляющих. Внезапно остановился, повернул и подошел к высокой женщине, стоящей неподвижно, закутавшись в белую шаль. Бессонов перекинул трость через плечо, взялся за ее концы и сказал:

— Нина, здравствуй.

— Здравствуй.

— Ты что делаешь одна на берегу?

— Стою.

— Почему ты одна?

— Одна, потому что одна, — ответила Чародеева тихо и сердито.

— Неужели все еще сердишься?

— Нет, голубчик. Давно успокоилась.

— Нина, пойдем ко мне.

Тогда она, откинув голову, молчала долго, потом дрогнувшим, неясным голосом ответила:

— С ума ты сошел?

— А ты разве этого не знала?

Он взял ее под руку, но она резко выдернула ее и пошла медленно, рядом с ним, вдоль лунных отсветов, скользящих по маслено-черной воде вслед их шагам.

Наутро Дашу разбудил Николай Иванович,

осторожно постучав в дверь:

— Данюша, вставай, голубчик, идем кофе пить.

Даша спустила с кровати ноги и посмотрела на чулки и туфельки, — все в серой пыли. Что-то случилось. Или опять приснился тот омерзительный сон? Нет, нет, было гораздо хуже, не сон. Даша кое-как оделась и побежала купаться.

Но вода утомила ее, и солнце разожгло. Сидя под мохнатым халатом, обхватив голые коленки, она подумала, что здесь ничего хорошего случиться не может.

«И не умна, и трусиха, и бездельница. Воображение преувеличенное. Сама не знаю, чего хочу. Утром одно, вечером другое. Как раз тот тип, какой ненавижу».

Склонив голову, Даша глядела на море, и даже слезы навернулись у нее, — так было смутно и грустно.

«Подумаешь — великое сокровище берегу. Кому оно нужно? — ни одному человеку на свете. Никого по-настоящему не люблю. И выходит — он прав: лучше уж сжечь все, сгореть и стать трезвым человеком. Он позвал, и пойти к нему нынче же вечером, и… Ох, нет!..»

Даша опустила лицо на колени, — так стало жарко. И было ясно, что дальше жить этой двой-

ной жизнью нельзя. Должно прийти, наконец, освобождение от невыносимого дольше девичества. Или уж — пусть будет беда.

Так, сидя в унынии, она раздумывала: «Предположим, уеду отсюда. К отцу. В пыль. К мухам. Дождусь осени. Начнутся занятия. Стану работать по двенадцати часов в сутки. Высохну, стану уродом. Наизусть выучу международное право. Буду носить бумазейные юбки: уважаемая юрист-девица Булавина. Конечно, выход очень почтенный».

Даша стряхнула прилипший к коже песок и пошла в дом. Николай Иванович лежал на террасе, в шелковой пижаме, и читал запрещенный роман Анатоля Франса. Даша села к нему на ручку качалки и, покачивая туфелькой, сказала раздумчиво:

— Вот мы с тобой хотели поговорить насчет Кати.

— Да, да.

— Видишь ли, Николай, женская жизнь вообще очень трудная. Тут, в девятнадцать-то лет, не знаешь, что с собой делать.

— В твои годы, Данюша, надо жить вовсю, не раздумывая. Много будешь думать, — останешься на бобах. Смотрю на тебя, — ужасно ты хороша.

— Так и знала! Николай, с тобой бесполезно разговаривать. Всегда скажешь не то, что нужно, и бестактно. От этого-то и Катя от тебя ушла.

Николай Иванович засмеялся, положил роман Анатоля Франса на живот и закинул за голову толстые руки.

— Начнутся дожди, и птичка сама прилетит в дом. А помнишь, как она перышки чистила?.. Я Катюшу, несмотря ни на что, очень люблю. Ну, что же — мы квиты.

— Ах, ты вот как теперь разговариваешь! А вот я на месте Кати точно так же бы поступила с тобой…

И она сердито отошла к перилам балкона.

— Станешь постарше и увидишь, что слишком серьезно относиться к житейским невзгодам — вредно и неумно, — проговорил Николай Иванович, — это ваша закваска, булавинская, — все усложнять… Проще, проще надо, ближе к природе…

Он вздохнул и замолчал, рассматривая ногти. Мимо террасы проехал потный гимназист на велосипеде, — привез из города почту.

— Пойду в сельские учительницы, — проговорила Даша мрачно.

Николай Иванович переспросил сейчас же:

— Куда?

Но она не ответила и ушла к себе. С почты принесли письма для Даши: одно было от Кати, другое от отца. Дмитрий Степанович писал:

«…Посылаю тебе письмо от Катюшки. Я его читал, и мне оно не понравилось. Хотя — делайте как хотите. У нас все по-старому. Очень жарко. Кроме того, Семена Семеновича Говядина вчера в городском саду избили горчишники, но за что — он скрывает. Вот и все новости. Да, была тебе еще открытка от какого-то Телегина, но я ее потерял. Кажется, он тоже в Крыму, не то еще где-то».

Даша внимательно перечла эти последние строчки, и неожиданно шибко забилось сердце. Потом, с досады, она даже топнула ногой, — извольте радоваться: «Не то в Крыму, не то еще где-то…» Отец действительно кошмарный человек, неряха и эгоист. Она скомкала его письмо и долго сидела у письменного столика, подперев подбородок. Потом стала читать то, что было от Кати:

«Помнишь, Данюша, я писала тебе о человеке, который за мной ходит. Вчера вечером в Люксембургском саду он подсел ко мне. Я вначале струсила, но осталась сидеть. Тогда он мне сказал: „Я вас преследовал, я знаю ваше имя и кто

вы такая. Но затем со мною случилось большое несчастье, — я вас полюбил“. Я посмотрела на него, — сидит важно, лицо строгое, темное какое-то, обтянутое. „Вы не должны бояться меня, — я старик, одинокий. У меня грудная жаба, каждую минуту я могу умереть. И вот — такое несчастье“. У него по щеке потекла слеза. Потом он проговорил, покачивая головой: „О, какое милое, какое милое ваше лицо“. Я сказала: „Не преследуйте меня больше“. И хотела уйти, но мне стало его жалко, я осталась и говорила с ним… Он слушал и, закрыв глаза, покачивал головой. И представь себе, Данюша, — сегодня получаю от какой-то женщины, кажется от консьержки, где он жил, письмо… Она, „по его поручению“, сообщает, что он умер ночью… Ох, как это было страшно… Вот и сейчас — подошла к окну, на улице тысячи, тысячи огней, катятся экипажи, люди идут между деревьями. После дождя — туманно. И мне кажется, что все это уже бывшее, все умерло, эти люди — мертвые, будто я вижу то, что кончилось, а того, что происходит сейчас, когда стою и гляжу, — не вижу, но знаю, что все кончилось. Должно быть, мне совсем плохо. Иногда лягу — и плачу, — жалко жизни, зачем прошла. Было какое ни на есть, но все-таки счастье, любимые люди, — и следа

не осталось… И сердце во мне стало сухонькое — высохло. Я знаю, Даша, предстоит еще какое-то большое горе, и все это в расплату за то, что мы все жили дурно».

Даша показала это письмо Николаю Ивановичу.

Читая, он принялся вздыхать, потом заговорил о том, что он всегда чувствовал вину свою перед Катей.

— Я видел, — мы живем дурно, эти непрерывные удовольствия кончатся когда-нибудь взрывом отчаяния. Но что я мог поделать, если занятие моей жизни, и Катиной, и всех, кто нас окружал, — веселиться. Иногда, здесь, гляжу на море и думаю: существует какая-то Россия, пашет землю, пасет скот, долбит уголь, ткет, кует, строит, существуют люди, которые заставляют ее все это делать, а мы — какие-то третьи, умственная аристократия страны, интеллигенты, — мы ни с какой стороны этой России не касаемся. Она нас содержит. Мы — папильоны. Это — трагедия. Попробуй я, например, разводить овощи или еще что-нибудь полезное, — ничего не выйдет. Я обречен до конца дней порхать папильоном. Конечно, мы пишем книги, произносим речи, делаем политику, но это все тоже входит в круг

времяпрепровождения, даже тогда, когда гложет совесть. У Катюши эти непрерывные удовольствия кончились душевным опустошением. Иначе и не могло быть… Ах, если бы ты знала, какая это была прелестная, нежная и кроткая женщина! Я развратил ее, опустошил… Да, ты права, нужно к ней ехать…

Ехать в Париж решено было обоим и немедленно, как только получатся заграничные паспорта. После обеда Николай Иванович ушел в город, а Даша принялась переделывать в дорогу соломенную шляпу, но только разорила ее и подарила горничной. Потом написала письмо отцу и в сумерки прилегла на постель, — такая внезапно напала усталость, — положила ладонь под щеку и слушала, как шумит море, все отдаленнее, все приятнее.

Потом показалось, что кто-то наклонился над ней, отвел с лица прядь волос и поцеловал в глаза, в щеки, в уголки губ, легко — одним дыханием. По всему телу разлилась сладость этого поцелуя. Даша медленно пробудилась. В открытое окно виднелись редкие звезды, и ветерок, залетев, зашелестел листками письма. Затем из-за стены появилась человеческая фигура, облокотилась снаружи на подоконник и глядела на Дашу.

Тогда Даша проснулась совсем, села и поднесла руки к груди, где было расстегнуто платье.

— Что вам нужно? — спросила она едва слышно. Человек в окне голосом Бессонова проговорил:

— Я вас ждал на берегу. Почему вы не пришли? Боитесь?

Даша ответила, помолчав:

— Да.

Тогда он перелез через подоконник, отодвинул стол и подошел к кровати:

— Я провел омерзительную ночь, — я хотел повеситься. В вас есть хоть какое-нибудь чувство ко мне?

Даша покачала головой, но губ не раскрыла.

— Слушайте, Дарья Дмитриевна, не сегодня, завтра, через год, — это должно случиться. Я не могу без вас существовать. Не заставляйте меня терять образ человеческий. — Он говорил тихо и хрипло и подошел к Даше совсем близко. Она вдруг глубоко, коротко вздохнула и продолжала глядеть ему в лицо. — Все, что я вчера говорил, — вранье… Я жестоко страдаю… У меня нет силы вытравить память о вас… Будьте моей женой…

Он наклонился к Даше, вдыхая ее запах, положив руку сзади ей на шею, и прильнул к губам. Даша уперлась в грудь ему, но руки ее согнулись.

Тогда в оцепеневшем сознании прошла спокойная мысль: «Это то, чего я боялась и хотела, но это похоже на убийство…» Отвернув лицо, она слушала, как Бессонов, дыша вином, бормотал ей что-то на ухо. И Даша подумала: «Точно так же было у него с Катей». И тогда уже ясный, рассудительный холодок поджал все тело, и резче стал запах вина, и омерзительнее бормотанье.

— Пустите-ка, — проговорила она, с силой отстранила Бессонова и, отойдя к двери, застегнула наконец ворот на платье.

Тогда Бессоновым овладело бешенство: схватив Дашу за руки, он притянул ее к себе и стал целовать в горло. Она, сжав губы, молча боролась. Когда же он поднял ее и понес, — Даша проговорила быстрым шепотом:

— Никогда в жизни, хоть умрите…

Она с силой оттолкнула его, освободилась и стала у стены. Все еще трудно дыша, он опустился на стул и сидел неподвижно. Даша поглаживала руки в тех местах, где были следы пальцев.

— Не нужно было спешить, — сказал Бессонов.

Она ответила:

— Вы мне омерзительны.

Он сейчас же положил голову боком на спинку стула. Даша сказала:

— Вы с ума сошли… Уходите же…

И повторила это несколько раз. Он наконец понял, поднялся и тяжело, неловко вылез через окно. Даша затворила ставни и принялась ходить по темной комнате. Эта ночь была проведена плохо.

Под утро Николай Иванович, шлепая босиком, подошел к двери, спросил заспанным голосом:

— У тебя зубы, что ли, болят, Даша?

— Нет.

— А что это за шум был ночью?

— Не знаю.

Он, пробормотав: «Удивительное дело», ушел. Даша не могла ни присесть, ни лечь, — только ходила, ходила от окна до двери, чтобы утомить в себе это острое, как зубная боль, отвращение к себе. Если бы Бессонов совладал с ней, — кажется, было бы лучше. И с отчаянной болью она вспоминала белый, залитый солнцем пароход и еще то, как в осиннике ворковал, бормотал, все лгал, все лгал покинутый любовник, уверяя, что Даша влюблена. Оглядываясь на белевшую в сумраке постель, страшное место, где только что лицо человеческое превращалось в песью морду, Даша чувствовала, что жить с этим знанием нельзя. Какую бы угодно взяла муку на себя, — только бы

не чувствовать этой брезгливости. Горела голова, и хотелось точно содрать с лица, с шеи, со всего тела паутину.

Наконец свет сквозь ставни стал совсем яркий. В доме начали хлопать дверьми, чей-то звонкий голос позвал: «Матреша, принеси воды...» Проснулся Николай Иванович и за стеной чистил зубы. Даша ополоснула лицо и, надвинув на глаза шапочку, вышла на берег. Море было — как молоко, песок — сыроватый. Пахло водорослями. Даша повернула в поле и побрела вдоль дороги. Навстречу, поднимая пыльцу колесами, двигалась плетушка об одну лошадь. На козлах сидел татарин, позади него — какой-то широкий человек, весь в белом. Взглянув, Даша подумала, как сквозь сон (от солнца, от усталости слипались глаза): «Вот еще хороший, счастливый человек, ну, и пускай его — и хороший и счастливый», — и она отошла с дороги. Вдруг из плетушки послышался испуганный голос:

— Дарья Дмитриевна!

Кто-то спрыгнул на землю и побежал. От этого голоса у Даши закатилось сердце, ослабли ноги. Она обернулась. К ней подбегал Телегин, загорелый, взволнованный, синеглазый, до того неожиданно родной, что Даша стремительно

положила руки ему на грудь, прижалась лицом и громко, по-детски, заплакала.

Телегин твердо держал ее за плечи. Когда Даша срывающимся голосом попыталась что-то объяснить, он сказал:

— Пожалуйста, Дарья Дмитриевна, пожалуйста, потом. Это не важно…

Парусиновый пиджак на груди у него промок от Дашиных слез. И ей стало легче.

— Вы к нам ехали? — спросила она.

— Да, я проститься приехал, Дарья Дмитриевна… Вчера только узнал, что вы здесь, и вот хотел проститься…

— Проститься?

— Призывают, ничего не поделаешь.

— Призывают?

— Разве вы ничего не слыхали?

— Нет.

— Война, оказывается, вот в чем дело-то.

Даша взглянула на него, поморгала и так в эту минуту ничего и не поняла…

# 14

В кабинете редактора большой либеральной газеты «Слово народа» шло чрезвычайное редакционное заседание, и так как вчера законом спиртные напитки были запрещены, то к редакционному чаю, сверх обычая, были поданы коньяк и ром.

Матерые, бородатые либералы сидели в глубоких креслах, курили табак и чувствовали себя сбитыми с толку. Молодые сотрудники разместились на подоконниках и на знаменитом кожаном диване, оплоте оппозиции, про который один известный писатель выразился неосторожно, что там — клопы.

Редактор, седой и румяный, английской повадки мужчина, говорил чеканным голосом, — слово к слову, — одну из своих замечательных речей, которая должна была и на самом деле дала линию поведения всей либеральной печати.

— …Сложность нашей задачи в том, что, не отступая ни шагу от оппозиции царской власти, мы должны перед лицом опасности, грозящей целостности Российского государства, подать ру-

ку этой власти. Наш жест должен быть честным и открытым. Вопрос о вине царского правительства, вовлекшего Россию в войну, есть в эту минуту вопрос второстепенный. Мы должны победить, а затем судить виновных. Господа, в то время как мы здесь разговариваем, под Красноставом происходит кровопролитное сражение, куда в наш прорванный фронт брошена наша гвардия. Исход сражения еще не известен, но помнить надлежит, что опасность грозит Киеву. Нет сомнения, что война не может продолжиться долее трех-четырех месяцев, и какой бы ни был ее исход, — мы с гордо поднятой головой скажем царскому правительству: в тяжелый час мы были с вами, теперь мы потребуем вас к ответу…

Один из старейших членов редакции — Белосветов, пишущий по земскому вопросу, не выдержав, воскликнул вне себя:

— Воюет царское правительство, при чем здесь мы и протянутая рука? Убейте, не понимаю. Простая логика говорит, что мы должны отмежеваться от этой авантюры, а вслед за нами — и вся интеллигенция. Пускай цари ломают себе шеи, — мы только выиграем.

— Да, уж знаете, протягивать руку Николаю Второму, как хотите, — противно, господа, — про-

бормотал Альфа, передовик, выбирая в сухарнице пирожное, — во сне холодный пот прошибет…

Сейчас же заговорило несколько голосов:

— Нет и не может быть таких условий, которые заставили бы нас пойти на соглашение…

— Что же это такое — капитуляция? — я спрашиваю.

— Позорный конец всему прогрессивному движению?

— А я, господа, все-таки хотел бы, чтобы кто-нибудь объяснил мне цель этой войны.

— Вот когда немцы намнут шею, — тогда узнаете.

— Эге, батенька, да вы, кажется, националист!

— Просто — я не желаю быть битым.

— Да ведь бить-то будут не вас, а Николая Второго.

— Позвольте… А Польша? а Волынь? а Киев?

— Чем больше будем биты, — тем скорее настанет революция.

— А я ни за какую вашу революцию не желаю отдавать Киева…

— Петр Петрович, стыдитесь, батенька…

С трудом восстановив порядок, редактор разъяснил, что на основании циркуляра о военном положении военная цензура закроет газету за

малейший выпад против правительства и будут уничтожены зачатки свободного слова, в борьбе за которое положено столько сил.

— …Поэтому предлагаю уважаемому собранию найти приемлемую точку зрения. Со своей стороны смею высказать, быть может, парадоксальное мнение, что нам придется принять эту войну целиком, со всеми последствиями. Не забывайте, что война чрезвычайно популярна в обществе. В Москве ее объявили второй отечественной, — он тонко улыбнулся и опустил глаза, — государь был встречен в Москве почти горячо. Мобилизация среди простого населения проходит так, как этого ожидать не могли и не смели…

— Василий Васильевич, да вы шутите или нет? — уже совсем жалобным голосом воскликнул Белосветов. — Да ведь вы целое мировоззрение рушите… Идти помогать правительству? А десять тысяч лучших русских людей, гниющих в Сибири?.. А расстрелы рабочих?.. Ведь еще кровь не обсохла.

Все это были разговоры прекраснейшие и благороднейшие, но каждому становилось ясно, что соглашения с правительством не миновать, и поэтому, когда из типографии принесли корректуру передовой статьи, начинавшейся словами: «Пе-

ред лицом германского нашествия мы должны сомкнуть единый фронт», — собрание молча просмотрело гранки, кое-кто сдержанно вздохнул, кое-кто сказал многозначительно: «Дожили-с». Белосветов порывисто застегнул на все пуговицы черный сюртук, обсыпанный пеплом, но не ушел и опять сел в кресло, и очередной номер был сверстан с заголовком: «Отечество в опасности. К оружию!»

Все же в сердце каждого было смутно и тревожно. Каким образом прочный европейский мир в двадцать четыре часа взлетел на воздух и почему гуманная европейская цивилизация, посредством которой «Слово народа» ежедневно кололо глаза правительству и совестило обывателей, оказалась карточным домиком (уж, кажется, выдумали книгопечатание и электричество, и даже радий, а настал час, — и под накрахмаленной рубашкой объявился все тот же звероподобный, волосатый человечище с дубиной), — нет, это редакции усвоить было трудно и признать — слишком горько.

Молча и невесело окончилось совещание. Маститые писатели пошли завтракать к Кюба, молодежь собралась в кабинете заведующего хроникой. Было решено произвести подробнейшее

обследование настроения самых разнообразных сфер и кругов. Антошке Арнольдову поручили отдел военной цензуры. Он под горячую руку взял аванс и на лихаче «запустил» по Невскому в Главный штаб.

Заведующий отделом печати, полковник Генерального штаба Солнцев, принял в своем кабинете Антошку Арнольдова и учтиво выслушал его, глядя в глаза ясными, выпуклыми, веселыми глазами. Антошка приготовился встретить какого-нибудь чудо-богатыря, — багрового, с львиным лицом генерала, — бича свободной прессы, но перед ним сидел изящный, воспитанный человек и не хрипел, и не рычал басом, и ничего не готовился давить и пресекать, — все это плохо вязалось с обычным представлением о царских наемниках.

— Так вот, полковник, надеюсь, вы не откажете осветить вашим авторитетным мнением означенные у меня вопросы, — сказал Арнольдов, покосившись на темный, во весь рост, портрет императора Николая Первого, глядевшего неумолимыми глазами на представителя прессы, точно желая сказать ему: «Пиджачишко короткий, башмачишки желтые, нос в поту, вид гнусный, — боишься, сукин сын». — Я не сомне-

ваюсь, полковник, что к Новому году русские войска будут в Берлине, но редакцию интересуют главным образом некоторые частные вопросы…

Полковник Солнцев учтиво перебил:

— Мне кажется, что русское общество недостаточно уясняет себе размеры настоящей войны. Конечно, я не могу не приветствовать ваше прекрасное пожелание нашей доблестной армии войти в Берлин, но опасаюсь, что сделать это труднее, чем вы думаете. Я, со своей стороны, полагаю, что важнейшая задача прессы в настоящий момент — подготовить общество к мысли об очень серьезной опасности, грозящей нашему государству, а также о чрезвычайных жертвах, которые мы все должны принести.

Антошка Арнольдов опустил блокнот и с недоумением взглянул на полковника. Солнцев продолжал:

— Мы не искали этой войны, и сейчас мы пока только обороняемся. Германцы имеют преимущество перед нами в количестве артиллерии и густоте пограничной сети железных дорог. Тем не менее мы сделаем все возможное, чтобы не допустить врага перейти наши границы. Русские войска исполняют возложенный на них долг. Но было бы весьма желательно, чтобы общество,

со своей стороны, тоже прониклось чувством долга к отечеству. — Солнцев поднял брови. — Я понимаю, что чувство патриотизма среди некоторых кругов несколько осложнено. Но опасность настолько серьезна, что — я уверен — все споры и счеты будут отложены до лучшего времени. Российская империя даже в двенадцатом году не переживала столь острого момента. Вот все, что я хотел бы, чтобы вы отметили. Затем нужно привести в известность, что имеющиеся в распоряжении правительства военные лазареты не смогут вместить всего количества раненых. Поэтому и с этой стороны обществу нужно быть готовым к широкой помощи…

— Простите, полковник, я не понимаю, какое же может быть количество раненых?

Солнцев опять высоко поднял брови:

— Мне кажется, в ближайшие недели нужно ожидать тысяч двести пятьдесят — триста.

Антошка Арнольдов проглотил слюну, записал цифры и спросил совсем уже почтительно:

— Сколько же нужно считать убитых в таком случае?

— Обычно мы считаем от пяти до десяти процентов от количества раненых.

— Ага, благодарю вас.

Солнцев поднялся, Антошка быстро пожал ему руку и, растворяя дубовую дверь, столкнулся с входившим Атлантом, чахоточным, взлохмаченным журналистом в помятом пиджаке, уже со вчерашнего дня не пившим водки.

— Полковник, я к вам насчет войны, — проговорил Атлант, прикрывая ладонью грязную грудь рубахи. — Ну, как, — скоро берем Берлин?

Из Главного штаба Арнольдов вышел на Дворцовую площадь, надел шляпу и стоял некоторое время, прищурясь.

— Война до победного конца, — пробормотал он сквозь зубы, — держитесь теперь, старые калоши, мы вам покажем «пораженчество».

На огромной, чисто выметенной площади, с гранитным грузным столбом Александра, повсюду двигались кучки бородатых, нескладных мужиков. Слышались резкие выкрики команды. Мужики строились, перебегали, ложились. В одном месте человек пятьдесят, поднявшись с мостовой, закричали нестройно: «уряяя» — и побежали спотыкливой рысью… «Стой! Смирно… Сволочи, сукины дети!..» — перекричал их осипший голос. В другом месте было слышно: «Добегишь — и коли в туловище, штык сломал — бей прикладом».

Это были те самые корявые мужики с бородами веником, в лаптях и рубахах, с проступавшей на лопатках солью, которые двести лет тому назад приходили на эти топкие берега строить город. Сейчас их снова вызвали — поддержать плечами дрогнувший столб империи.

Антошка повернул на Невский, все время думая о своей статье. Посреди улицы, под завывавший, как осенний ветер, свист флейт, шли две роты в полном походном снаряжении, с мешками, котелками и лопатами. Широкоскулые лица солдат были усталые и покрыты пылью. Маленький офицер в зеленой рубашке, с новенькими ремнями — крест-накрест, — поминутно поднимаясь на цыпочки, — оборачивался и выкатывал глаза. «Правой! Правой!» Как сквозь сон, шумел нарядный, сверкающий экипажами и стеклами Невский. «Правой. Правой. Правой». Мерно покачиваясь, вслед за маленьким офицером шли покорные тяжелоногие мужики. Их догнал вороной рысак, брызгая пеной. Широкозадый кучер осадил его. В коляске поднялась красивая дама и глядела на проходивших солдат. Рука ее в белой перчатке стала крестить их.

Солдаты прошли, их заслонил поток экипажей. На тротуарах было жарко и тесно, и все словно

чего-то ожидали. Прохожие останавливались, слушали какие-то разговоры и выкрики, протискивались, спрашивали, в возбуждении отходили к другим кучкам.

Беспорядочное движение понемногу определялось, — толпы уходили с Невского на Морскую. Там уже двигались прямо по улице. Пробежали, молча и озабоченно, какие-то мелкорослые парни. На перекрестке полетели шапки, замахали зонтики. «Урра! Урра!» — загудело по Морской. Пронзительно свистели мальчишки. Повсюду в остановленных экипажах стояли нарядные женщины. Толпа валила валом к Исаакиевской площади, разливалась по ней, лезла через решетку сквера. Все окна, и крыши, и гранитные ступени Исаакия были полны народом. И все эти десятки тысяч людей глядели туда, где из верхних окон матово-красного тяжелого здания германского посольства вылетали клубы дыма. За разбитыми стеклами перебегали люди, швыряли в толпу пачки бумаг, и они, разлетаясь, медленно падали. С каждым клубом дыма, с каждой новой вещью, выброшенной из окон, — по толпе проходил рев. Но вот на фронтоне дома, где два бронзовых великана держали под уздцы коней, появились те же хлопотливые человечки.

Толпа затихла, и послышались металлические удары молотков. Правый из великанов качнулся и рухнул на тротуар. Толпа завыла, кинулась к нему, началась давка, бежали отовсюду. «В Мойку их! В Мойку окаянных!» Повалилась и вторая статуя. Антошку Арнольдова схватила за плечо полная дама в пенсне и кричала ему: «Всех их перетопим, молодой человек!» Толпа двинулась к Мойке. Послышались пожарные рожки, и вдалеке засверкали медные шлемы. Из-за углов выдвинулась конная полиция. И вдруг среди бегущих и кричащих Арнольдов увидел страшно бледного человека, без шляпы, с неподвижно раскрытыми стеклянными глазами. Он узнал Бессонова и подошел к нему.

— Вы были там? — сказал Бессонов. — Я слышал, как убивали.

— Разве было убийство? Кого убили?

— Не знаю.

Бессонов отвернулся и неровной походкой, как невидящий, пошел по площади. Остатки толпы отдельными кучками бежали теперь на Невский, где начинался разгром кофейни Рейтера.

В тот же вечер Антошка Арнольдов, стоя у конторки в одной из прокуренных комнат редакции, быстро писал на узких полосах бумаги:

«…Сегодня мы видели весь размах и красоту народного гнева. Необходимо отметить, что в погребах германского посольства не было выпито ни одной бутылки вина, — все разбито и вылито в Мойку. Примирение невозможно. Мы будем воевать до победного конца, каких бы жертв это нам ни стоило. Немцы рассчитывали застать Россию спящей, но при громовых словах: „Отечество в опасности“ — народ поднялся как один человек. Гнев его будет ужасен. Отечество — могучее, но забытое нами слово. С первым выстрелом германской пушки оно ожило во всей своей девственной красоте и огненными буквами засияло в сердце каждого из нас…»

Антошка зажмурился, мурашки пошли у него по спине. Какие слова приходилось писать! Не то что две недели тому назад, когда ему было поручено составить обзор летних развлечений. И он вспомнил, как в Буффе выходил на эстраду человек, одетый свиньей, и пел: «Я поросенок, и не стыжусь. Я поросенок, и тем горжусь. Моя маман была свинья, похож на маму очень я…»

«…Мы вступаем в героическую эпоху. Довольно мы гнили заживо. Война — наше очищение», — писал Антошка, брызгая пером.

Несмотря на сопротивление пораженцев во

главе с Белосветовым, статья Арнольдова была напечатана. Уступку прежнему сделали только в том, что поместили ее на третьей странице и под академическим заглавием: «В дни войны». Сейчас же в редакцию стали приходить письма от читателей, — одни выражали восторженное удовлетворение по поводу статьи, другие — горькую иронию. Но первых было гораздо больше. Антошке прибавили построчную плату и спустя неделю вызвали в кабинет главного редактора, где седой и румяный, пахнущий английским одеколоном Василий Васильевич, предложив Антошке кресло, сказал озабоченно:

— Вам нужно ехать в деревню.

— Слушаюсь.

— Мы должны знать, что думают и говорят мужики. — Он ударил ладонью по большой пачке писем. — В интеллигенции проснулся огромный интерес к деревне. Вы должны дать живое, непосредственное впечатление об этом сфинксе.

— Результаты мобилизации указывают на огромный патриотический подъем, Василий Васильевич.

— Знаю. Но откуда он, черт возьми, у них взялся? Поезжайте, куда хотите, послушайте и поспрошайте. К субботе я жду от вас пятьсот

строк деревенских впечатлений.

Из редакции Антошка пошел на Невский, где купил дорожный, военного фасона, костюм, желтые краги и фуражку; переодевшись во все это, поехал завтракать к Донону, где один вытянул бутылку французского шампанского, и пришел к решению, что проще всего поехать ему в деревню Хлыбы, — там у своего брата Кия гостила Елизавета Киевна. Вечером он занял место в купе международного вагона, закурил сигару и, поглядывая на мужественно поскрипывающие желтые гетры, подумал: «Жизнь!»

Деревня Хлыбы, в шестьдесят с лишком дворов, с заросшими крыжовником огородами и старыми липами посреди улицы, с большим, на бугорке, зданием школы, переделанным из помещичьего дома, лежала в низинке, между болотом и речонкой Свинюхой. Деревенский надел был небольшой, земля тощая, — мужики почти все ходили в Москву на промыслы.

Когда Антошка, под вечер, въехал на плетушке в деревню, — его удивила тишина. Только кудахтнула глупая курица, выбежав из-под лошадиных ног, зарычала под амбаром старая собака, да где-то на речке колотил валек, да бодались два барана посреди улицы, стуча рогами.

Антошка расплатился с глухим старичком, привезшим его со станции, и пошел по тропинке туда, где за зеленью берез виднелся старый бревенчатый фасад школы. Там, на крыльце, на полусгнивших ступенях, сидели Кий Киевич — учитель — и Елизавета Киевна и не спеша беседовали. Внизу по лугу протянулись от огромных ветел длинные тени. Переливаясь, летали темным облачком скворцы. Играл вдалеке рожок, собирая стадо. Несколько красных коров вышли из тростника, и одна, подняв морду, заревела. Кий Киевич, очень похожий на сестру, с такими же нарисованными глазами, говорил, кусая соломинку:

— Ты, Лиза, ко всему тому, чрезвычайно неорганизованна в области половой сферы. Типы, подобные тебе, — суть отвратительные отбросы буржуазной культуры.

Елизавета Киевна с ленивой улыбкой глядела туда, где на лугу в свете опускающегося солнца желтели и теплели трава и тени.

— Удивительно тебя скучно слушать, Кий, все ты наизусть выучил, все тебе ясно, как по книжке.

— Каждый человек, Лиза, должен заботиться о том, чтобы привести все свои идеи в порядок, в

систему, а не о том, чтобы скучно или не скучно разговаривать.

— Ну, и заботься на здоровье.

Вечер был тих. Неподвижно перед крыльцом висели прозрачные ветви плакучих берез. Тыркал дергач под горою. Кий Киевич грыз травяной стебелек. Елизавета Киевна мечтательно глядела на расплывающиеся в синеватых сумерках деревья. Между ними появился юркий маленький человек с чемоданом.

— Ну, вот и она, — закричал Антошка. — Лиза, здравствуй, красавица…

Елизавета Киевна ужасно ему обрадовалась, стремительно поднялась и обняла.

Кий Киевич поздоровался суховато и продолжал грызть стебелек. Антошка развалился на ступеньках, раскурил сигару.

— А я к вам за информацией, Кий Киевич, расскажите-ка мне поподробнее, что в ваших Хлыбах думают и говорят о войне…

Кий Киевич криво усмехнулся:

— А черт их знает, что они думают… Молчат… Волки тоже молчат, когда собираются в стаи.

— Стало быть, сопротивления мобилизации не было?

— Нет, сопротивления не было.

— Понимают, что немец — враг?

— Нет, тут не в немце дело.

— А в ком же?

Кий Киевич усмехнулся:

— Дело не в немце — дело в винтовке… Винтовочку в руки заполучить. А уж у человека с винтовкой другая психология… Поживем, увидим — в каком, собственно, направлении намерены стрелять винтовки… Так-то…

— Ну, а все-таки, разговаривают они о войне?

— Подите на деревню, послушайте…

В сумерки Антошка и Елизавета Киевна пошли на деревню. Августовские созвездия высыпали по всему холодеющему небу. Внизу, в Хлыбах, было сыровато, пахло еще не осевшей пылью от стада и парным молоком. У ворот стояли распряженные телеги. Под липами, где было совсем темно, скрипел журавель колодца, фыркнула лошадь, и было слышно, как она пила, отдуваясь. На открытом месте, у деревянной амбарушки, накрытой соломенной крышей, на бревнах сидели три девки и напевали негромко. Елизавета Киевна и Антошка подошли и тоже сели в стороне. Девки пели:

*Хлыбы-то деревня,*

*Всем она украшена, —*

*Стульями, букетами,*
*Девчоночки патретами…*

Одна из них, обернувшись к подошедшим, сказала тихо:

— Что же, девки, спать, что ли, пора?

И они сидели не двигаясь. В амбарушке кто-то возился, потом скрипнула дверца, и наружу вышел лысый мужик в расстегнутом полушубке; кряхтя, долго запирал висячий замок, потом подошел к девкам, положил руки на поясницу, вытянул козлиную бороду.

— Соловьи-птицы, все поете?

— Поем, да не про тебя, дядя Федор.

— А вот я вас сейчас кнутом отсюда… Каки-таки порядки — по ночам песни петь…

— А тебе завидно?

И другая сказала со вздохом:

— Только нам и осталось, дядя Федор, про Хлыбы-то наши петь.

— Да, плохо ваше дело. Осиротели.

Федор присел около девок. Ближняя к нему сказала:

— Народу, нонче козьмодемьянские бабы сказывали, народу на войну забрали — полсвета.

— Скоро, девки, и до вас доберутся.

— Это нас-то на войну?

Девки засмеялись, и крайняя опять спросила:

— Дядя Федор, с кем у нашего царя война?

— С иным царем.

Девки переглянулись, одна вздохнула, другая поправила полушалок, крайняя проговорила:

— Так нам и козьмодемьянские бабы сказывали, что, мол, с иным царем.

Тогда из-за бревен поднялась лохматая голова и прохрипела, натягивая на себя полушубок:

— А ты — будет тебе врать. Какой иной царь, — с немцем у нас война.

— Все может быть, — ответил Федор.

Голова опять скрылась. Антошка Арнольдов, вынув папиросницу, предложил Федору папироску и спросил осторожно:

— А что, скажите, из вашей деревни охотно пошли на войну?

— Охотой многие пошли, господин.

— Был, значит, подъем?

— Да, поднялись. Отчего не пойти? Все-таки посмотрят — как там и что. А убьют — все равно и здесь помирать. Землишка у нас скудная, перебиваемся с хлеба на квас. А там, все говорят, — два раза мясо едят, и сахар, и чай, и табак, — сколько хочешь кури.

— А разве не страшно воевать?
— Как не страшно, конечно, страшно.

# 15

Телеги, покрытые брезентами, возы с соломой и сеном, санитарные повозки, огромные корыта понтонов, покачиваясь и скрипя, двигались по широкому, залитому жидкой грязью шоссе. Не переставая лил дождь, косой и мелкий. Борозды пашен и канавы с боков дороги были полны водой. Вдали неясными очертаниями стояли деревья и перелески.

Под крики и ругань, щелканье кнутов и треск осей об оси, в грязи и дожде, двигались сплошной лавиной обозы наступающей русской армии. С боков пути валялись дохлые и издыхающие лошади, торчали кверху колесами опрокинутые телеги. Иногда в этот поток врывался военный автомобиль. Начинались крики, кряканье, лошади становились на дыбы, валилась под откос груженая телега, скатывались вслед за ней обозные.

Далее, где прерывался поток экипажей, шли, далеко растянувшись, скользили по грязи солдаты в накинутых на спины мешках и палатках. В нестройной их толпе двигались возы с поклажей, с ружьями, торчащими во все стороны, со скор-

ченными наверху денщиками. Время от времени с шоссе на поле сбегал человек и, положив винтовочку на траву, присаживался на корточки.

Далее опять колыхались возы, понтоны, повозки, городские экипажи с промокшими в них фигурами в офицерских плащах. Этот грохочущий поток то сваливался в лощину, теснился, орал и дрался на местах, то медленно вытягивался в гору и пропадал за перекатом. С боков в него вливались новые обозы с хлебом, сеном и снарядами. По полю, перегоняя, проходили небольшие кавалерийские части.

Иногда в обозы с треском и железным грохотом врезалась артиллерия. Огромные грудастые лошади и ездовые на них, татары, с бородатыми свирепыми лицами, хлеща по лошадям и по людям, как плугом, расчищали шоссе, волоча за собой подпрыгивающие тупорылые пушки. Отовсюду бежали люди, вставали на возах и махали руками. И опять смыкалась река, вливалась в лес, остро пахнущий грибами, прелыми листьями и весь мягко шумящий от дождя.

Далее с обеих сторон дороги торчали из мусора и головешек печные трубы, качался разбитый фонарь, на кирпичной стене развороченного снарядами дома хлопала афиша кинематографа.

И здесь же, в телеге без передних колес, лежал раненый австриец, в голубом капоте, — желтое личико, мутные тоскливые глаза.

Верстах в двадцати пяти от этих мест глухо перекатывался по дымному горизонту гром орудий. Туда вливались эти войска и обозы день и ночь. Туда со всей России тянулись поезда, груженные хлебом, людьми и снарядами. Вся страна всколыхнулась от грохота пушек. Наконец настала воля всему, что в запрете и духоте копилось в ней жадного, неутоленного, злого.

Население городов, пресыщенное обезображенной, нечистой жизнью, словно очнулось от душного сна. В грохоте пушек был возбуждающий голос мировой грозы. Стало казаться, что прежняя жизнь невыносима далее. Население со злорадной яростью приветствовало войну.

В деревнях много не спрашивали — с кем война и за что, — не все ли равно. Уж давно злоба и ненависть кровавым туманом застилали глаза. Время страшным делам приспело. Парни и молодые мужики, побросав баб и девок, расторопные и жадные, набивались в товарные вагоны, со свистом и похабными песнями проносились мимо городов. Кончилось старое житье, — Россию, как большой ложкой, начало мешать и мутить,

все тронулось, сдвинулось и опьянело хмелем войны.

Доходя до громыхающей на десятки верст полосы боя, обозы и воинские части разливались и таяли. Здесь кончалось все живое и человеческое. Каждому отводилось место в земле, в окопе. Здесь он спал, ел, давил вшей и до одури «хлестал» из винтовки в полосу дождевой мглы.

По ночам по всему горизонту багровыми высокими заревами медленно разливались пожарища, искряные шнуры ракет чертили небо, рассыпались звездами, с настигающим воем налетали снаряды и взрывались столбами огня, дыма и пыли.

Здесь сосало в животе от тошного страха, съеживалась кожа и поджимались пальцы. Близ полночи раздавались сигналы. Пробегали офицеры с перекошенными губами, — руганью, криком, побоями поднимали опухших от сна и сырости солдат. И, спотыкаясь, с матерной бранью и звериным воем бежали нестройные кучки людей по полю, ложились, вскакивали и, оглушенные, обезумевшие, потерявшие память от ужаса и злобы, врывались в окопы врагов.

И потом никогда никто не помнил, что делалось там, в этих окопах. Когда хотели похвастаться

геройскими подвигами, — как всажен был штык, как под ударом приклада хрястнула голова, — приходилось врать. От ночного дела оставались трупы.

Наступал новый день, подъезжали кухни. Вялые и прозябшие солдаты ели и курили. Потом разговаривали о дерьме, о бабах и тоже много врали. Искали вшей и спали. Спали целыми днями в этой оголенной, загаженной испражнениями и кровью полосе грохота и смерти.

Точно так же, в грязи и сырости, не раздеваясь и по неделям не снимая сапог, жил и Телегин. Армейский полк, куда он зачислился прапорщиком, наступал с боями. Больше половины офицерского и солдатского состава было выбито, пополнений они не получали, и все ждали только одного: когда их, полуживых от усталости и обносившихся, отведут в тыл.

Но высшее командование стремилось до наступления зимы во что бы то ни стало вторгнуться через Карпаты в Венгрию и опустошить ее. Людей не щадили, — человеческих запасов было много. Казалось, что этим длительным напряжением третий месяц не прекращающегося боя будет сломлено сопротивление отступающих в беспорядке австрийских армий, падут Краков и

Вена, и левым крылом русские смогут выйти в незащищенный тыл Германии.

Следуя этому плану, русские войска безостановочно шли на запад, захватывая десятки тысяч пленных, огромные запасы продовольствия, снарядов, оружия и одежды. В прежних войнах лишь часть подобной добычи, лишь одно из этих непрерывных кровавых сражений, где ложились целые корпуса, решило бы участь кампании. И несмотря даже на то, что в первых же битвах погибли регулярные армии, ожесточение только росло. На войну уходили все, от детей до стариков, весь народ. Было что-то в этой войне выше человеческого понимания. Казалось, враг разгромлен, изошел кровью, еще усилие, — и будет решительная победа. Усилие совершалось, но на месте растаявших армий врага вырастали новые, с унылым упрямством шли на смерть и гибли. Ни татарские орды, ни полчища персов не дрались так жестоко и не умирали так легко, как слабые телом, изнеженные европейцы или хитрые русские мужики, видевшие, что они только бессловесный скот, — мясо в этой бойне, затеянной господами.

Остатки полка, где служил Телегин, окопались по берегу узкой и глубокой речки. Позиция была

дурная, вся на виду, и окопы мелкие. В полку с часа на час ожидали приказа к наступлению, и пока все были рады выспаться, переобуться, отдохнуть, хотя с той стороны речки, где в траншеях сидели австрийские части, шел сильный обстрел.

Под вечер, когда часа на три, как обычно, огонь затих, Иван Ильич пошел в штаб полка, помещавшийся в покинутом замке, верстах в двух от позиции.

Лохматый туман лежал по всей извивающейся в зарослях речке и вился в прибрежных кустах. Было тихо, сыро и пахло мокрыми листьями. Изредка по воде глухим шаром катился одинокий выстрел.

Иван Ильич перепрыгнул через канаву на шоссе, остановился и закурил. С боков, в тумане, стояли облетевшие огромные деревья, казавшиеся чудовищно высокими. По сторонам их на топкой низине было словно разлито молоко. В тишине жалобно свистнула пулька. Иван Ильич глубоко вздохнул и зашагал по хрустящему гравию, посматривая вверх на призрачные деревья. От этого покоя и оттого, что он один идет и думает, — в нем все отдыхало, отходил трескучий шум дня, и в сердце пробиралась тонкая, прон-

зительная грусть. Он еще раз вздохнул, бросил папиросу, заложил руки за шею и так шел, словно в чудесном мире, где были только призраки деревьев, его живое, изнывающее любовью сердце и незримая прелесть Даши.

Даша была с ним в этот час отдыха и тишины. Он чувствовал ее прикосновение каждый раз, когда затихали железный вой снарядов, трескотня ружей, крики, ругань, — все эти лишние в божественном мироздании звуки, — когда можно было уткнуться где-нибудь в углу землянки, и тогда прелесть касалась его сердца.

Ивану Ильичу казалось, что если придется умирать, — до последней минуты он будет испытывать это счастье соединения. Он не думал о смерти и не боялся ее. Ничто теперь не могло оторвать его от изумительного состояния жизни, даже смерть.

Этим летом, подъезжая к Евпатории, чтобы в последний раз, как ему казалось, взглянуть на Дашу, Иван Ильич грустил, волновался и придумывал всевозможные извинения. Но встреча по дороге, неожиданные слезы Даши, ее светловолосая голова, прижавшаяся к нему, ее волосы, руки, плечи, пахнущие морем, ее детский рот, сказавший, когда она подняла к нему лицо с

зажмуренными мокрыми ресницами: «Иван Ильич, милый, как я ждала вас», — все эти свалившиеся как с неба, несказанные вещи там же, на дороге у моря, перевернули в несколько минут всю жизнь Ивана Ильича. Он сказал, глядя в любимое лицо:

— На всю жизнь люблю вас.

Впоследствии ему даже казалось, что он, быть может, и не выговорил этих слов, только подумал, и она поняла. Даша сняла с его плеч руки, проговорила:

— Мне нужно очень многое вам сообщить. Пойдемте.

Они пошли и сели у воды на песке. Даша взяла горсть камешков и не спеша кидала их в воду.

— Дело в том, что еще вопрос, — сможете ли вы-то ко мне хорошо относиться, когда узнаете про все. Хотя все равно, относитесь, как хотите. — Она вздохнула. — Без вас я очень нехорошо жила, Иван Ильич. Если можете, — простите меня.

И она начала рассказывать все честно и подробно, — о Самаре и о том, как приехала сюда и встретила Бессонова, и у нее пропала охота жить, — так стало омерзительно от всего этого петербургского чада, который снова поднялся, отравил кровь, разжег любопытством…

— До каких еще пор было топорщиться? Захотелось шлепнуться в грязь — туда и дорога. А вот ведь струсила в последнюю минуту… Иван Ильич, милый… — Даша всплеснула руками. — Помогите мне. Не хочу, не могу больше ненавидеть себя… Но ведь не все же во мне погибло… Я хочу совсем другого, совсем другого…

После этого разговора Даша молчала очень долго. Иван Ильич глядел, не отрываясь, на сияющую солнцем зеркальную голубоватую воду, — душа его, наперекор всему, заливалась счастьем.

О том, что началась война и Телегин должен ехать завтра догонять полк, Даша сообразила только потом, когда от поднявшегося ветра волною ей замочило ноги.

— Иван Ильич?

— Да.

— Вы хорошо ко мне относитесь?

— Да.

— Очень?

— Да.

Тогда она подползла ближе к нему по песку на коленях и положила руку ему в руку, так же как тогда на пароходе.

— Иван Ильич, я тоже — да.

Крепко сжав его задрожавшие пальцы, она

спросила после молчания:

— Что вы мне сказали тогда, на дороге?.. — Она сморщила лоб. — Какая война? С кем?

— С немцами.

— Ну, а вы?

— Уезжаю завтра.

Даша ахнула и опять замолчала. Издали, по берегу к ним бежал в полосатой пижаме, очевидно только что выскочивший из кровати, Николай Иванович, взмахивая газетным листом, и кричал что-то.

На Ивана Ильича он не обратил внимания. Когда же Даша сказала: «Николай, это мой самый большой друг», — Николай Иванович схватил Телегина за пиджак и заорал в лицо:

— Дожили, молодой человек. А? Вот вам — цивилизация! А? Это — чудовищно! Вы понимаете? Это — бред!

Весь день Даша не отходила от Ивана Ильича, была смирная и задумчивая. Ему же казалось, что этот день, наполненный голубоватым светом солнца и шумом моря, неимоверно велик. Каждая минута будто раздвигалась в целую жизнь.

Телегин и Даша бродили по берегу, лежали на песке, сидели на террасе и были как отуманенные. И, не отвязываясь, всюду за ними ходил

Николай Иванович, произнося огромные речи по поводу войны и немецкого засилья.

Под вечер удалось наконец отвязаться от Николая Ивановича. Даша и Телегин ушли одни далеко по берегу пологого залива. Шли молча, ступая в ногу. И здесь Иван Ильич начал думать, что нужно все-таки сказать Даше какие-то слова. Конечно, она ждет от него горячего и, кроме того, определенного объяснения. А что он может пробормотать? Разве словами выразить то, чем он полон весь? Нет, этого не выразишь.

«Нет, нет, — думал он, глядя под ноги, — если я и скажу ей эти слова, — будет бессовестно: она не может меня любить, но, как честная и добрая девушка, согласится, если я предложу ей руку. Но это будет насилие. И тем более не имею права говорить, что мы расстаемся на неопределенное время, и, по всей вероятности, я с войны не вернусь…»

Это был один из приступов самоедства. Даша вдруг остановилась и, опершись о его плечо, сняла с ноги туфельку.

— Ах, боже мой, боже мой, — проговорила она и стала высыпать песок из туфли, потом надела ее, выпрямилась и вздохнула глубоко. — Я буду очень вас любить, когда вы уедете, Иван Ильич.

Она положила руку ему на шею и, глядя в глаза ясными, почти суровыми, без улыбки, серыми глазами, вздохнула еще раз, легко:

— Мы и там будем вместе, да?

Иван Ильич осторожно привлек ее и поцеловал в нежные, дрогнувшие губы. Даша закрыла глаза. Потом, когда им обоим не хватило больше воздуху, Даша отстранилась, взяла Ивана Ильича под руку, и они пошли вдоль тяжелой и темной воды, лижущей багровыми бликами берег у их ног.

Все это Иван Ильич вспоминал с неуставаемым волнением всякий раз в минуты тишины. Бредя сейчас с закинутыми за шею руками, в тумане, по шоссе, между деревьями, он снова видел внимательный взгляд Даши, испытывал долгий ее поцелуй.

— Стой, кто идет? — крикнул грубый голос из тумана.

— Свой, свой, — ответил Иван Ильич, опуская руки в карманы шинели, и повернул под дубы к неясной громаде замка, где в нескольких окнах желтел свет. На крыльце кто-то, увидев Телегина, бросил папироску и вытянулся. «Что, почты не было?» — «Никак нет, ваше благородие, ожидаем». Иван Ильич вошел в прихожую. В глубине ее, над широкой дубовой лестницей, висел ста-

ринный гобелен, на нем, среди тонких деревцев, стояли Адам и Ева, она держала в руке яблоко, он — срезанную ветвь с цветами. Их выцветшие лица и голубоватые тела неясно освещала свеча, стоящая в бутылке на лестничной тумбе.

Иван Ильич отворил дверь направо и вошел в пустую комнату с лепным потолком, рухнувшим в углу, там, где вчера в стену ударил снаряд. У горящего камина, на койке, сидели поручик князь Бельский и подпоручик Мартынов. Иван Ильич поздоровался, спросил, когда ожидают из штаба автомобиль, и присел неподалеку на патронные жестянки, щурясь от света.

— Ну что, у вас все постреливают? — спросил Мартынов.

Иван Ильич не ответил, пожал плечами. Князь Бельский продолжал говорить вполголоса:

— Главное — это вонь. Я написал домой, — мне не страшна смерть. За отечество я готов пожертвовать жизнью, для этого я, строго говоря, перевелся в пехоту и сижу в окопах, но вонь меня убивает.

— Вонь — это ерунда, не нравится, не нюхай, — отвечал Мартынов, поправляя аксельбант, — а вот что здесь нет женщины — это существенно. Это — к добру не приведет. Суди сам, — команду-

ющий армией — старая песочница, и нам здесь устроили монастырь, — ни водки, ни женщин. Разве это забота об армии, разве это война?

Мартынов поднялся с койки и сапогом стал пихать пылающие поленья. Князь задумчиво курил, глядя на огонь.

— Пять миллионов солдат, которые гадят, — сказал он, — кроме того, гниют трупы и лошади. На всю жизнь у меня останется воспоминание об этой войне как о том, что дурно пахнет. Брр…

На дворе послышалось пыхтенье автомобиля.

— Господа, почту привезли! — крикнул в дверь взволнованный голос.

Офицеры вышли на крыльцо. Около автомобиля двигались темные фигуры, несколько человек бежало по двору. И хриплый голос повторял: «Господа, прошу не хватать из рук».

Мешки с почтой и посылками были внесены в прихожую, и на лестнице, под Адамом и Евой, их стали распаковывать. Здесь была почта за целый месяц. Казалось, в этих грязных парусиновых мешках было скрыто целое море любви и тоски — вся покинутая, милая, невозвратная жизнь.

— Господа, не хватайте из рук, — хрипел штабс-капитан Бабкин, тучный, багровый человек. — Прапорщик Телегин, шесть писем и посылка…

Прапорщик Нежный, — два письма…

— Нежный убит, господа…

— Когда?

— Сегодня утром…

Иван Ильич пошел к камину. Все шесть писем были от Даши. Адрес на конвертах написан крупным почерком. Ивана Ильича заливало нежностью к этой милой руке, написавшей такие большие буквы. Нагнувшись к огню, он осторожно разорвал первый конверт. Оттуда пахнуло на него таким воспоминанием, что пришлось на минуту закрыть глаза. Потом он прочел:

«Мы проводили вас и уехали с Николаем Ивановичем в тот же день в Симферополь и вечером сели в петербургский поезд. Сейчас мы на нашей старой квартире. Николай Иванович очень встревожен: от Катюши нет никаких вестей, где она — не знаем. То, что у нас с вами случилось, так велико и так внезапно, что я еще не могу опомниться. Не вините меня, что я вам пишу на „вы“. Я вас люблю. Я буду вас верно и очень сильно любить. А сейчас очень смутно, — по улицам проходят войска с музыкой, до того печально, точно счастье уходит вместе с трубами, с этими солдатами. Я знаю, что не должна этого писать, но вы все-таки будьте осторожны на войне».

— Ваше благородие. Ваше благородие. — Телегин с трудом обернулся, в дверях стоял вестовой. — Телефонограмма, ваше благородие... Требуют в роту.

— Кто?

— Подполковник Розанов. Как можно скорей просили быть.

Телегин сложил недочитанное письмо, вместе с остальными конвертами засунул под рубашку, надвинул картуз на глаза и вышел.

Туман теперь стал еще гуще, деревьев не было видно, идти пришлось как в молоке, только по хрусту гравия определяя дорогу, Иван Ильич повторял: «Я буду вас верно и очень сильно любить». Вдруг он остановился, прислушиваясь. В тумане не было ни звука, только падала иногда тяжелая капля с дерева. И вот неподалеку он стал различать какое-то бульканье и мягкий шорох. Он двинулся дальше, бульканье стало явственнее. Он сильно откинулся назад, — глыба земли, оторвавшись из-под ног его, рухнула с тяжелым плеском в воду.

Очевидно, это было то место, где шоссе обрывалось над рекой у сожженного моста. На той стороне, шагах в ста отсюда, он это знал, к самой реке подходили австрийские окопы. И действи-

тельно, вслед за плеском воды, как кнутом, с той стороны хлестнул выстрел и покатился по реке, хлестнул второй, третий, затем словно рвануло железо — раздался длинный залп, и в ответ ему захлопали отовсюду заглушенные туманом торопливые выстрелы. Все громче, громче загрохотало, заухало, заревело по всей реке, и в этом окаянном шуме хлопотливо затакал пулемет. Бух! — ухнуло где-то в лесу. Дырявый грохочущий туман плотно висел над землей, прикрывая это обычное и омерзительное дело.

Несколько раз около Ивана Ильича с чавканьем в дерево хлопала пуля, валилась ветка. Он свернул с шоссе на поле и пробирался наугад кустами. Стрельба так же внезапно начала затихать и окончилась. Иван Ильич снял фуражку и вытер мокрый лоб. Снова было тихо, как под водой, лишь падали капли с кустов. Слава богу, Дашины письма он сегодня прочтет. Иван Ильич засмеялся и перепрыгнул через канавку. Наконец совсем рядом он услышал, как кто-то, зевая, проговорил:

— Вот тебе и поспали, Василий, я говорю — вот тебе и поспали.

— Погоди, — ответили отрывисто. — Идет кто-то.

— Кто идет?

— Свой, свой, — поспешно сказал Телегин и сейчас же увидел земляной бруствер окопа и запрокинувшиеся из-под земли два бородатых лица. Он спросил: — Какой роты?

— Третьей, ваше благородие, свои. Что же вы, ваше благородие, по верху-то ходите? Задеть могут.

Телегин прыгнул в окоп и пошел по нему до хода сообщения, ведущего к офицерской землянке. Солдаты, разбуженные стрельбой, говорили:

— В такой туман, очень просто, он речку где-нибудь перейдет.

— Ничего трудного.

— Вдруг — стрельба, гул — здорово живешь… Напугать, что ли, хочет или он сам боится?

— А ты не боишься?

— Так ведь я-то что же? Я ужас пужливый.

— Ребята, Гавриле палец долой оторвало.

— Заверещал, палец вот так кверху держит.

— Вот ведь кому счастье… Домой отправят.

— Что ты! Кабы ему всю руку оторвало. А с пальцем — погниет поблизости, и опять пожалуйте в роту…

— Когда эта война кончится?

— Ладно тебе.

— Кончится, да не мы это увидим.

— Хоть бы Вену, что ли бы, взяли.

— А тебе она на что?

— Так все-таки.

— К весне воевать не кончим, — все равно все разбегутся. Землю кому пахать — бабам? Народу накрошили — полную меру. Будет. Напились, сами отвалимся.

— Ну, енералы скоро воевать не перестанут.

— Это что за разговор?.. Кто это тут говорит?..

— Будет тебе собачиться, унтер… Проходи…

— Енералы воевать не перестанут.

— Верно, ребята. Первое дело, — двойное жалованье идет им, кресты, ордена… Мне один человек сказывал: за каждого, говорит, рекрута англичане платят нашим генералам по тридцать восемь целковых с полтиной за душу.

— Ах, сволочи! Как скот продают.

— Ладно, потерпим, увидим.

Когда Телегин вошел в землянку, батальонный командир, подполковник Розанов, тучный, в очках, с редкими вихрами, проговорил, сидя в углу под еловыми ветками, на попонах:

— Явился, голубчик.

— Виноват, Федор Кузьмич, сбился с дороги — туман страшный.

— Вот что, голубчик, придется нынче ночью

потрудиться…

Он положил в рот корочку хлеба, которую все время держал в грязном кулаке. Телегин медленно стиснул челюсти.

— Штука в том, что нам приказано, милейший Иван Ильич, батенька мой, перебраться на ту сторону. Хорошо бы это дело соорудить как-нибудь полегче. Садитесь рядышком. Коньячку желаете? Вот я придумал, значит, такую штуку… Навести мостик как раз против большой ракиты. Перекинем на ту сторону два взвода…

# 16

— Сусов!

— Здесь, ваше благородие.

— Подкапывай… Тише, не кидай в воду. Ребята, подавайте, подавайте вперед… Зубцов!

— Здесь, ваше благородие.

— Погоди-ка… Наставляй вот сюда… Подкопни еще… Опускай… Легче…

— Легче, ребята, плечо оторвешь… Насовывай…

— Ну-ка, посунь…

— Не ори, тише ты, сволочь!

— Упирай другой конец… Ваше благородие, поднимать?

— Концы привязали?

— Готово.

— Поднимай…

В облаках тумана, насыщенного лунным светом, заскрипев, поднялись две высокие жерди, соединенные перекладинами, — перекидной мост. На берегу, едва различимые, двигались фигуры охотников. Говорили и ругались торопливым шепотом.

— Ну что — сел?

— Сидит хорошо.

— Опускай… осторожнее…

— Полегоньку, полегоньку, ребята…

Жерди, упертые концами в берег речки, в самом узком месте ее, медленно начали клониться и повисли в тумане над водой.

— Достанет до берега?

— Тише опускай…

— Чижол очень.

— Стой, стой, легче!..

Но все же дальний конец моста с громким всплеском лег на воду. Телегин махнул рукой.

— Ложись!

Неслышно в траве на берегу прилегли, притаились фигуры охотников. Туман редел, но стало темнее, и воздух жестче перед рассветом. На той стороне было тихо. Телегин позвал:

— Зубцов!

— Здесь!

— Лезь, настилай!

Пахнущая едким потом рослая фигура охотника Василия Зубцова соскользнула мимо Телегина с берега в воду. Иван Ильич увидел, как большая рука, дрожа, ухватилась за траву, отпустила ее и скрылась.

— Глыбко, — зябким шепотом проговорил Зубцов откуда-то снизу. — Ребята, подавай доски…

— Доски, доски давай!

Неслышно и быстро, с рук на руки, стали подавать доски. Прибивать их было нельзя, — боялись шума. Наложив первые ряды, Зубцов вылез из воды на мостик и вполголоса приговаривал, стуча зубами:

— Живей, живей подавай… Не спи…

Под мостом журчала студеная вода, жерди колебались. Телегин различал темные очертания кустов на той стороне, и, хотя это были точно такие же кусты, как и на нашем берегу, вид их казался жутким. Иван Ильич вернулся на берег, где лежали охотники, и крикнул резко:

— Вставай!

Сейчас же в беловатых облаках поднялись преувеличенно большие, расплывающиеся фигуры.

— По одному бегом!..

Телегин повернул к мосту. В ту же минуту, словно луч солнца уперся в туманное облако, осветились желтые доски, вскинутая в испуге чернобородая голова Зубцова. Луч прожектора метнулся вбок, в кусты, вызвал оттуда корявую ветвь с голыми сучьями и снова лег на доски. Телегин, стиснув зубы, побежал через мост. И

сейчас же словно обрушилась вся эта черная тишина, громом отдалась в голове. По мосту с австрийской стороны стали бить ружейным и пулеметным огнем. Телегин прыгнул на берег и, присев, обернулся. Через мост бежал высокий солдат, — он не разобрал кто, — винтовку прижал к груди, выронил ее, поднял руки и опрокинулся вбок, в воду. Пулемет хлестал по мосту, по воде, по берегу… Пробежал второй, Сусов, и лег около Телегина…

— Зубами заем, туды их в душу!

Побежал второй, и третий, и четвертый, и еще один сорвался и завопил, барахтаясь в воде…

Перебежали все и залегли, навалив лопатами земли немного перед собой. Выстрелы исступленно теперь грохотали по всей реке. Нельзя было поднять головы, — по месту, где залегли охотники, так и поливало, так и поливало пулеметом. Вдруг ширкнуло невысоко — раз, два, — шесть раз, и глухо впереди громыхнули шесть разрывов. Это с нашей стороны ударили по пулеметному гнезду.

Телегин и впереди него Василий Зубцов вскочили, пробежали шагов сорок и легли. Пулемет опять заработал, слева, из темноты. Но было ясно, что с нашей стороны огонь сильнее, — австрий-

ца загоняли под землю. Пользуясь перерывами стрельбы, охотники подбегали к тому месту, где еще вчера перед австрийскими траншеями нашей артиллерией было раскидано проволочное заграждение.

Его опять начали было заплетать за ночь. На проволоках висел труп. Зубцов перерезал проволоку, и труп упал мешком перед Телегиным. Тогда на четвереньках, без ружья, перегоняя остальных, заскочил вперед охотник Лаптев и лег под самый бруствер. Зубцов крикнул ему:

— Вставай, бросай бомбу!

Но Лаптев молчал, не двигаясь, не оборачиваясь, — должно быть, закатилось сердце от страха. Огонь усилился, и охотники не могли двинуться, — прильнули к земле, зарылись.

— Вставай, бросай, сукин сын, бомбу! — кричал Зубцов. — Бросай бомбу! — И, вытянувшись, держа винтовку за приклад, штыком совал Лаптеву в торчащую коробом шинель. Лаптев обернул ощеренное лицо, отстегнул от пояса гранату и вдруг, кинувшись грудью на бруствер, бросил бомбу и, вслед за разрывом, прыгнул в окоп. — Бей, бей! — закричал Зубцов не своим голосом…

Поднялись человек десять охотников, побежали и исчезли под землей, — были слышны только

рваные, резкие звуки разрывов.

Телегин метался по бруствeру, как слепой, и все не мог отстегнуть гранату, прыгнул наконец в траншею и побежал, задевая плечами за липкую глину, спотыкаясь и крича во весь разинутый рот… Увидел белое, как маска, лицо человека, прижавшегося во впадине окопа, и схватил его за плечи, и человек, будто во сне, забормотал, забормотал…

— Замолчи ты, черт, не трону, — чуть не плача закричал ему в белую маску Телегин и побежал, перепрыгивая через трупы. Но бой уже кончался. Толпа серых людей, побросавших оружие, лезла из траншеи на поле. Их пихали прикладами. А шагах в сорока, в крытом гнезде, все еще грохотал пулемет, обстреливая переправу. Иван Ильич, протискиваясь среди охотников и пленных, кричал:

— Что же вы смотрите, что вы смотрите!.. Зубцов, где Зубцов?

— Здесь я…

— Что же ты, черт окаянный, смотришь!

— Да разве к нему подступишься?

Они побежали.

— Стой!.. Вот он!

Из траншеи узкий ход вел в пулеметное гнездо.

Нагнувшись, Телегин побежал по нему, вскочил в блиндаж, где в темноте все тряслось от нестерпимого грохота, схватил кого-то за локти и потащил. Сразу стало тихо, только, борясь, хрипел тот, кого он отдирал от пулемета.

— Сволочь живучая, не хочет, пусти-ка, — пробормотал сзади Зубцов и раза три ударил прикладом тому в череп, и тот, вздрагивая, заговорил: «Бу, бу, бу», — и затих… Телегин выпустил его и пошел из блиндажа.

Зубцов крикнул вдогонку:

— Ваше благородие, он прикованный.

Скоро стало совсем светло. На желтой глине были видны пятна и подтеки крови. Валялось несколько ободранных телячьих кож, жестянки, сковородки, да трупы, уткнувшись, лежали мешками. Охотники, разморенные и вялые, — кто прилег, кто ел консервы, кто обшаривал брошенные австрийские сумки.

Пленных давно уже угнали за реку. Полк переправлялся, занимал позиции, и артиллерия била по вторым австрийским линиям, откуда отвечали вяло. Моросил дождик, туман развеяло. Иван Ильич, облокотившись о край окопа, глядел на поле, по которому они бежали ночью. Поле как поле, — бурое, мокрое, кое-где — обрывки прово-

лок, кое-где — черные следы подкопанной земли да несколько трупов охотников. И речка — совсем близко. И ни вчерашних огромных деревьев, ни жутких кустов. А сколько было затрачено силы, чтобы пройти эти триста шагов!

* * *

Австрийцы продолжали отходить, и русские части, не отдыхая, преследовали их до ночи. Телегину было приказано занять со своими охотниками лесок, синевший на горке, и он после короткой перестрелки занял его к вечеру. Наспех окопались, выставили сторожевое охранение, связались со своей частью телефоном, поели что было в мешках, и под мелким дождем, в темноте и лесной прели, многие заснули, хотя был приказ поддерживать огонь всю ночь.

Телегин сидел на пне, прислонившись к мягкому от мха стволу дерева. За ворот иногда падала капля, и это было хорошо, — не давало заснуть. Утреннее возбуждение давно прошло, и прошла даже страшная усталость, когда пришлось идти верст десять по разбухшим жнивьям, перелезать через плетни и канавы, когда одеревеневшие ноги ступали куда попало и распухла голова от боли.

Кто-то подошел по листьям и голосом Зубцова сказал тихо:

— Сухарик желаете?

— Спасибо.

Иван Ильич взял у него сухарь и стал его жевать, и он был сладок, так и таял во рту. Зубцов присел около на корточки:

— Покурить дозволите?

— Осторожнее только, смотри.

— У меня трубочка.

— Зубцов, ты зря все-таки убил его, а?

— Пулеметчика-то?

— Да.

— Конечно, зря.

— Спать хочешь?

— Ничего, не посплю.

— Если я задремлю, ты меня толкни.

Медленно, мягко падали капли на прелые листья, на руку, на козырек картуза… После шума, криков, омерзительной возни, после убийства пулеметчика, — падают капли, как стеклянные шарики. Падают в темноту, в глубину, где пахнет прелыми листьями. Шуршат, не дают спать… Нельзя, нельзя… Иван Ильич разлеплял глаза и видел неясные, будто намеченные углем, очертания ветвей… Но стрелять всю ночь — тоже

глупость, пускай охотники отдохнут… Восемь убитых, одиннадцать раненых… Конечно, надо бы поосторожней на войне… Ах, Даша, Даша! Стеклянные капельки все примирят, все успокоят…

— Иван Ильич!..

— Да, да, Зубцов, не сплю…

— Разве не зря — убить человека-то… У него, чай, домишко свой, семейство какое ни на есть, а ты ткнул в него штыком, как в чучело, — сделал дело. Я в первый-то раз запорол одного, — потом есть не мог, тошнило… А теперь — десятого или девятого кончаю… Ведь страх-то какой, а? Значит, грех-то этот кто-то уж взял за это за самое?..

— Какой грех?

— Да хотя бы мой… Я говорю — грех-то мой на себя кто-нибудь взял, — генерал какой, или в Петербурге какой-нибудь человек, который всеми этими делами распоряжается…

— Какой же твой грех, когда ты отечество обороняешь?

— Так-то так… я говорю, слушай, Иван Ильич, — кто-нибудь да окажется виновный, — мы разыщем. Кто эту войну допустил — тот и отвечать будет… Жестоко ответят за эти дела…

В лесу гулко хлопнул выстрел. Телегин вздрог-

нул. Раздалось еще несколько выстрелов с другой стороны.

Это было тем более удивительно, что с вечера враг не находился в соприкосновении. Телегин побежал к телефону. Телефонист высунулся из ямы:

— Аппарат не работает, ваше благородие.

По всему лесу теперь кругом слышались частые выстрелы, и пули чиркали по сучьям. Передовые посты подтягивались, отстреливались. Около Телегина появился охотник Климов, степным каким-то, дурным голосом проговорил: «Обходят, ваше благородие!» — схватился за лицо и сел на землю, — лег ничком… И еще кто-то закричал в темноте:

— Братцы, помираю!

Телегин различал между стволами рослые, неподвижные фигуры охотников. Они все глядели в его сторону, — он это чувствовал. Он приказал, чтобы все, рассыпавшись поодиночке, пробивались к северной стороне леса, должно быть, еще не окруженной. Сам же он с теми, кто захочет остаться, задержится, насколько можно, здесь в окопах.

— Нужно пять человек. Кто желающий?

От деревьев отделились и подошли к нему

Зубцов, Сусов и Колов — молодой парень. Зубцов крикнул, обернувшись:

— Еще двоих! Рябкин, иди!

— Что ж, я могу…

— Пятого, пятого.

С земли поднялся низкорослый солдат в полушубке, в мохнатой шапке:

— Ну вот я, что ли.

Шесть человек залегли шагах в двадцати друг от друга и открыли огонь. Фигуры за деревьями исчезли. Иван Ильич выпустил несколько пачек и вдруг с отчетливой ясностью увидел, как завтра поутру люди в голубых капотах перевернут на спину его оскаленный труп, начнут обшаривать, и грязная рука залезет за рубаху.

Он положил винтовку, разгреб рыхлую сырую землю и, вынув Дашины письма, поцеловал их, положил в ямку и засыпал, запорошил сверху прелыми листьями.

«Ой, ой, братцы!» — услышал он голос Сусова слева. Осталось две пачки патронов, Иван Ильич подполз к Сусову, уткнувшемуся головой, лег рядом и брал пачки из его сумки. Теперь стреляли только Телегин да еще кто-то направо. Наконец патроны кончились. Иван Ильич подождал, оглядываясь, поднялся и начал звать по именам

охотников. Ответил один голос: «Здесь», — и подошел Колов, опираясь о винтовку. Иван Ильич спросил:

— Патронов нет?

— Нету.

— Остальные не отвечают?

— Нет, нет.

— Ладно. Идем. Беги!

Колов перекинул винтовку через спину и побежал, хоронясь за стволами. Телегин же не прошел и десяти шагов, как сзади в плечо ему ткнул тупой железный палец.

# 17

Все представления о войне как о лихих кавалерийских набегах, необыкновенных маршах и геройских подвигах солдат и офицеров — оказались устарелыми. Знаменитая атака кавалергардов, когда три эскадрона, в пешем строю, прошли без одного выстрела проволочные заграждения, имея во главе командира полка князя Долгорукова, шагающего под пулеметным огнем с сигарой во рту и, по обычаю, ругающегося по-французски, была сведена к тому, что кавалергарды, потеряв половину состава убитыми и ранеными, взяли две тяжелых пушки, которые оказались заклепанными и охранялись одним пулеметом.

Есаул казачьей сотни говорил по этому поводу: «Поручили бы мне, я бы с десятью казаками взял это дерьмо».

С первых же месяцев выяснилось, что доблесть прежнего солдата, — огромного, усатого и геройского вида человека, умеющего скакать, рубить и не кланяться пулям, — бесполезна. На главное место на войне были выдвинуты техника и организация тыла. От солдат требовалось упрямо и

послушно умирать в тех местах, где указано на карте. Понадобился солдат, умеющий прятаться, зарываться в землю, сливаться с цветом пыли. Сентиментальные постановления Гаагской конференции, — как нравственно и как безнравственно убивать, — были просто разорваны. И вместе с этим клочком бумаги разлетелись последние пережитки никому уже более не нужных моральных законов.

Так в несколько месяцев война завершила работу целого века. До этого времени еще очень многим казалось, что человеческая жизнь руководится высшими законами добра. И что в конце концов добро должно победить зло, и человечество станет совершенным. Увы, это были пережитки средневековья, они расслабляли волю и тормозили ход цивилизации. Теперь даже закоренелым идеалистам стало ясно, что добро и зло суть понятия чисто философские и человеческий гений — на службе у дурного хозяина…

Это было время, когда даже малым детям внушали, что убийство, разрушение, уничтожение целых наций — доблестные и святые поступки. Об этом твердили, вопили, взывали ежедневно миллионы газетных листков. Особые знатоки каждое утро предсказывали исходы сражений.

В газетах печатались предсказания знаменитой провидицы, мадам Тэб. Появились во множестве гадальщики, составители гороскопов и предсказатели будущего. Товаров не хватало. Цены росли. Вывоз сырья из России остановился. В три гавани на севере и востоке — единственные оставшиеся продухи в замурованной насмерть стране — ввозились только снаряды и орудия войны. Поля обрабатывались дурно. Миллиарды бумажных денег уходили в деревню, и мужики уже с неохотой продавали хлеб.

В Стокгольме на тайном съезде членов Оккультной ложи антропософов основатель ордена говорил, что страшная борьба, происходящая в высших сферах, перенесена сейчас на землю, наступает мировая катастрофа и Россия будет принесена в жертву во искупление грехов. Действительно, все разумные рассуждения тонули в океане крови, льющейся на огромной полосе в три тысячи верст, опоясавшей Европу. Никакой разум не мог объяснить, почему железом, динамитом и голодом человечество упрямо уничтожает само себя. Изливались какие-то вековые гнойники. Переживалось наследие прошлого. Но и это ничего не объясняло.

В странах начинался голод. Жизнь повсюду

останавливалась. Война начинала казаться лишь первым действием трагедии.

Перед этим зрелищем каждый человек, еще недавно «микрокосм», гипертрофированная личность, — умалялся, превращался в беспомощную пылинку. На место его к огням трагической рампы выходили первобытные массы.

Тяжелее всего было женщинам. Каждая, соразмерно своей красоте, очарованию и уменью, раскидывала паутинку, — нити тонкие и для обычной жизни довольно прочные. Во всяком случае, тот, кому назначено, попадался в них и жужжал любовно.

Но война разорвала и эти сети. Плести заново — нечего было и думать в такое жестокое время. Приходилось ждать лучших времен. И женщины ждали терпеливо, а время уходило, и считанные женские годы шли бесплодно и печально.

Мужья, любовники, братья и сыновья — теперь нумерованные и совершенно отвлеченные единицы — ложились под земляные холмики на полях, на опушках лесов, у дорог. И никакими усилиями нельзя было согнать новых и новых морщинок с женских стареющих лиц.

# 18

— Я говорю брату, — ты начетчик, ненавижу социал-демократов, у вас людей пытать будут, если кто в слове одном ошибется. Я ему говорю, — ты астральный человек. Тогда он все-таки выгнал меня из дому. Теперь — в Москве, без денег. Страшно забавно. Пожалуйста, Дарья Дмитриевна, попросите Николая Ивановича. Мне бы все равно какое место, — лучше всего, конечно, в санитарном поезде.

— Хорошо, я ему скажу.

— Здесь у меня — никого знакомых. А помните нашу «Центральную станцию»? Василий Веньяминович Валет — чуть ли не в Китай уехал… Сапожков где-то на войне. Жиров на Кавказе, читает лекции о футуризме. А где Иван Ильич Телегин, — не знаю. Вы, кажется, были с ним хорошо знакомы?

Елизавета Киевна и Даша медленно шли между высокими сугробами по переулку. Падал снежок, похрустывал под ногами. Извозчик на низеньких санках, высунув из козел заскорузлый валенок, протрусил мимо и прикрикнул:

— Барышни, зашибу!

Снега было очень много в эту зиму. Над переулком висели ветви лип, покрытые снегом. И все белесое снежное небо было полно птиц. С криком, растрепанными стаями церковные галки взлетали над городом, садились на башню, на купола, уносились в студеную высоту.

Даша остановилась на углу и поправила белую косынку. Котиковая шубка ее и муфта были покрыты снежинками. Лицо ее похудело, глаза были больше и строже.

— Иван Ильич пропал без вести, — сказала она, — я о нем ничего не знаю.

Даша подняла глаза и глядела на птиц. Должно быть, голодно было галкам в городе, занесенном снегом. Елизавета Киевна с застывшей улыбкой очень красных губ стояла, опустив голову в ушастой шапке. Мужское пальто на ней было тесно в груди, меховой воротник слишком широк, и короткие рукава не прикрывали покрасневших рук. На ее желтоватой шее таяли снежинки.

— Я сегодня же поговорю с Николаем Ивановичем, — сказала Даша.

— Я на всякую работу пойду. — Елизавета Киевна посмотрела под ноги и покачала головой. — Страшно любила Ивана Ильича, страшно,

страшно любила. — Она засмеялась, и ее близорукие глаза налились слезами. — Значит, завтра приду. До свидания.

Она простилась и пошла, широко шагая в валеных калошах и по-мужски засунув озябшие руки в карманы.

Даша глядела ей вслед, потом сдвинула брови и, свернув за угол, вошла в подъезд особняка, где помещался городской лазарет. Здесь, в высоких комнатах, отделанных дубом, пахло йодоформом, на койках лежали и сидели раненые, стриженые и в халатах. У окна двое играли в шашки. Один ходил из угла в угол мягко, в туфлях. Когда появилась Даша, он живо оглянулся на нее, сморщил низкий лоб и лег на койку, закинув за голову руки.

— Сестрица, — позвал слабый голос. Даша подошла к одутловатому большому парню с толстыми губами. — Поверни, Христа ради, на левый бочок, — проговорил он, охая через каждое слово. Даша обхватила его, изо всей силы приподняла и повернула, как мешок. — Температуру мне ставить время, сестрица. — Даша встряхнула градусник и засунула ему под мышку. — Рвет меня, сестрица, крошку съем, — все долой. Мочи нет.

Даша покрыла его одеялом и отошла. На сосед-

них койках улыбались, один сказал:

— Он, сестрица, только ради вас рассолодел, а сам здоровый, как боров.

— Пускай его, пускай помается, — сказал другой голос, — он никому не вредит, — сестрице забота, и ему томно.

— Сестрица, а вот Семен вас что-то спросить хочет, робеет.

Даша подошла к сидящему на койке мужику с круглыми, как у галки, веселыми глазами и медвежьим маленьким ртом; огромная — веником — борода его была расчесана. Он выставил бороду, вытянул губы навстречу Даше.

— Смеются они, сестрица, я всем доволен, благодарю покорно.

Даша улыбнулась. От сердца отлегла давешняя тяжесть. Она присела на койку к Семену и, отогнув рукав, стала осматривать перевязку. И он стал подробно описывать, как и где у него мозжит.

В Москву Даша приехала в октябре, когда Николай Иванович, увлекаемый патриотическими побуждениями, поступил в московский отдел Городского союза, работающего на оборону. Петербургскую квартиру он передал англичанам из военной миссии и в Москве жил с Дашей налегке

— ходил в замшевом френче, ругал мягкотелую интеллигенцию и работал, по его выражению, как лошадь.

Даша читала уголовное право, вела маленькое хозяйство и каждый день писала Ивану Ильичу. Душа ее была тиха и прикрыта. Прошлое казалось далеким, точно из чужой жизни. И она жила словно в половину дыхания, наполненная тревогой, ожиданием вестей и заботой о том, чтобы сохранить себя Ивану Ильичу в чистоплотности и строгости.

В начале ноября, утром за кофе, Даша развернула «Русское слово» и в списках пропавших без вести прочла имя Телегина. Список занимал два столбца петитом. Раненые — такие-то, убитые — такие-то, пропавшие без вести — такие-то, и в конце — Телегин, Иван Ильич, прапорщик.

Так было отмечено это, затмившее всю ее жизнь, событие, — строчка петита.

Даша почувствовала, как эти мелкие буквы, сухие строчечки, столбцы, заголовки наливаются кровью. Это была минута неописуемого ужаса, — газетный лист превращался в то, о чем там было написано, — в зловонное и кровавое месиво. Оттуда дышало смрадом, ревело беззвучными голосами.

Дашу трясло ознобом. Даже ее отчаяние тонуло в этом животном ужасе и омерзении. Она легла на диван и прикрылась шубкой.

К обеду пришел Николай Иванович, сел в ногах у Даши и молча гладил ее ноги.

— Ты подожди, главное — подожди, Данюша, — говорил Николай Иванович. — Он пропал без вести, — очевидно, в плену… Я знаю тысячу подобных примеров.

Ночью ей приснилось: в пустой узкой комнате, с окном, затянутым паутиной и пылью, на железной койке сидит человек в солдатской рубашке. Серое лицо его обезображено болью. Обеими руками он ковыряет свой лысый череп, лупит его, как яйцо, и то, что под кожурой, берет и ест, запихивает в рот пальцами.

Даша так закричала среди ночи, что Николай Иванович, в накинутом на плечо одеяле, очутился около ее постели и долго не мог добиться, что случилось. Потом накапал в рюмочку валерьянки, дал выпить Даше и выпил сам.

Даша, сидя в постели, ударяла себя в грудь сложенными щепоткой пальцами и говорила тихо и отчаянно:

— Понимаешь, не могу жить больше. Ты понимаешь, Николай, не могу, не хочу.

Жить после того, что случилось, было очень трудно, а жить так, как Даша жила до этого, — нельзя.

Война только коснулась железным пальцем Даши, и теперь все смерти и все слезы были также и ее делом. И когда прошли первые дни острого отчаяния, Даша стала делать то единственное, что могла и умела: прошла ускоренный курс сестер милосердия и работала в лазарете.

Вначале было очень трудно. С фронта прибывали раненые, по многу дней не менявшие перевязок; от марлевых бинтов шел такой запах, что сестрам становилось дурно. Во время операций Даше приходилось держать почерневшие ноги и руки, с которых кусками отваливалось налипшее на ранах, и она узнала, как сильные люди скрипят зубами и тело у них трепещет беспомощно.

Этих страданий было столько, что не хватило бы во всем свете милосердия пожалеть о них. Даше стало казаться, что она теперь навсегда связана с этой обезображенной и окровавленной жизнью и другой жизни нет. Ночью в дежурной комнате горит зеленый абажур лампочки, за стеной кто-то бормочет в бреду, от проехавшего автомобиля зазвенели склянки на полочке. Это

уныние и есть частица истинной жизни.

Сидя в ночные часы у стола в дежурной комнате, Даша припоминала прошлое, и оно все яснее казалось ей как сон. Жила на высотах, откуда не было видно земли; жила, как и все там жили, влюбленная в себя, высокомерная. И вот пришлось упасть с этих облаков в кровь, в грязь, в этот лазарет, — где пахнет больным телом, где тяжело стонут во сне, бредят, бормочут. Сейчас вот умирает татарин-солдат, и через десять минут нужно идти впрыскивать ему морфий.

Сегодняшняя встреча с Елизаветой Киевной разволновала Дашу. День был трудный, из Галиции привезли раненых в таком виде, что одному пришлось отнимать кисть руки, другому — руку по плечо, двое предсмертно бредили. Даша устала за день, и все же из памяти не выходила Елизавета Киевна, с красными руками, в мужском пальто, с жалкой улыбкой и кроткими глазами.

Вечером, присев отдохнуть, Даша глядела на зеленый абажур и думала, что вот бы уметь так плакать на перекрестке, говорить постороннему человеку — «страшно, страшно любила Ивана Ильича...».

Даша усаживалась в большом кресле то боком, то поджав ноги, раскрыла было книгу — отчет

за три месяца «деятельности Городского союза», — столбцы цифр и совершенно непонятных слов, — но в книжке не нашла утешения. Взглянула на часы, вздохнула, пошла в палату.

Раненые спали, воздух был тяжелый. Высоко под дубовым потолком, в железном кругу люстры, горела несветлая лампочка. Молодой татарин-солдат, с отрезанной рукой, бредил, мотаясь бритой головой на подушке. Даша подняла с пола пузырь со льдом, положила ему на пылающий лоб и подоткнула одеяло. Потом обошла все койки и присела на табуретке, сложив руки на коленях.

«Сердце не наученное, вот что, — подумала она, — любило бы только изящное и красивое. А жалеть, любить нелюбимое — не учено».

— Что, ко сну морит, сестрица? — услышала она ласковый голос и обернулась. С койки глядел на нее Семен — бородатый. Даша спросила:

— Ты что не спишь?

— Днем наспался.

— Рука болит?

— Затихла… Сестрица!

— Что?

— Личико у тебя махонькое, — ко сну морит? Пошла бы вздремнула! Я посмотрю, — если нуж-

но, позову.

— Нет, спать я не хочу.

— Свои-то у тебя есть на войне?

— Жених.

— Ну, бог сохранит.

— Пропал без вести.

— Ай, ай, — Семен замотал бородой, вздыхая. — У меня брательник без вести пропал, а потом письмо от него пришло, — в плену. И человек хороший твой-то?

— Очень, очень хороший человек.

— Может, я слыхал про него. Как зовут-то?

— Иван Ильич Телегин.

— Слыхал. Постой, постой. Слыхал. Он в плену, сказывали… Какого полка?

— Казанского.

— Ну, самый он. В плену. Жив. Ах, хороший человек! Ничего, сестрица, потерпи. Снега тронутся — войне конец, — замиримся. Сынов еще ему народишь, ты мне поверь.

Даша слушала, и слезы подступали к горлу, — знала, что Семен все выдумывает, Ивана Ильича не знает, и была благодарна ему. Семен сказал тихо:

— Ах ты, милая…

Снова сидя в дежурной комнате, лицом к спин-

ке кресла, Даша почувствовала, словно ее, чужую, приняли с любовью, — живи с нами. И ей казалось, что она жалеет сейчас всех больных и спящих. И, жалея и думая, она вдруг представила с потрясающей ясностью, как Иван Ильич тоже где-то на узкой койке, так же как и эти, — спит, дышит…

Даша начала ходить по комнате. Вдруг затрещал телефон. Даша сильно вздрогнула — так резок в этой сонной тишине и груб был звонок. Должно быть, опять привезли раненых с ночным поездом.

— Я слушаю, — сказала она, и в трубку поспешно проговорил нежный женский взволнованный голос:

— Пожалуйста, попросите к телефону Дарью Дмитриевну Булавину.

— Это я, — ответила Даша, и сердце ее страшно забилось. — Кто это?.. Катя?.. Катюша!.. Ты?.. Милая!..

# 19

— Ну, вот, девочки, мы и опять все вместе, — говорил Николай Иванович, одергивая на животе замшевый френч, взял Екатерину Дмитриевну за подбородок и сочно поцеловал в щеку. — С добрым утром, душенька, как спала? — Проходя за стулом Даши, поцеловал ее в волосы. — Нас с ней, Катюша, теперь водой не разольешь, молодец девушка — работница.

Он сел за стол, покрытый свежей скатертью, пододвинул фарфоровую рюмочку с яйцом и ножом стал срезать ему верхушку.

— Представь, Катюша, я полюбил яйца по-английски — с горчицей и маслом, необыкновенно вкусно, советую тебе попробовать. А вот у немцев-то выдают по одному яйцу на человека два раза в месяц. Как это тебе понравится?

Он открыл большой рот и засмеялся.

— Вот этим самым яйцом ухлопаем Германию всмятку. У них, говорят, уже дети без кожи начинают родиться. Бисмарк им, дуракам, говорил, что с Россией нужно жить в мире. Не послушали, пренебрегли нами, — теперь пожалуйте-с — два

яйца в месяц.

— Это ужасно, — сказала Екатерина Дмитриевна, опуская глаза, — когда дети рождаются без кожи, — это все равно ужасно, у кого рождаются — у нас или у немцев.

— Прости, Катюша, ты несешь чепуху.

— Я только знаю, — когда ежедневно убивают, убивают, это так ужасно, что не хочется жить.

— Что же поделаешь, моя милая, приходится на собственной шкуре начать понимать, что такое государство. Мы только читали у разных Иловайских, как какие-то там мужики воевали землю на разных Куликовых и Бородинских полях… Мы думали — ах, какая Россия большая! — взглянешь на карту. А вот теперь потрудитесь дать определенный процент жизней для сохранения целости того самого, что на карте выкрашено зеленым через всю Европу и Азию. Невесело. Вот если ты говоришь, что государственный механизм у нас плох, — тут я могу согласиться. Теперь, когда я иду умирать за государство, я прежде всего спрашиваю, — а вы, те, кто посылаете меня на смерть, вы — во всеоружии государственной мудрости? Могу я спокойно пролить свою кровь за отечество? Да, Катюша, правительство еще продолжает по старой привычке коситься на

общественные организации, но уже ясно, что без нас ему теперь не обойтись. Дудки-с! А мы сначала за пальчик, потом и за руку схватимся. Я очень оптимистически настроен. — Николай Иванович поднялся, взял с камина спички, стоя закурил и бросил догоревшую спичку в скорлупу от яйца. — Кровь не будет пролита даром. Война кончится тем, что у государственного руля встанет наш брат, общественный деятель. То, чего не могли сделать «Земля и воля», революционеры и марксисты, — сделает война. Прощайте, девочки. — Он одернул френч и вышел, со спины похожий на переодетую полную женщину.

Екатерина Дмитриевна вздохнула и села у окна с вязаньем. Даша присела к ней на подлокотник кресла и обняла сестру за плечи. Обе они были в черных закрытых платьях и теперь, сидя молча и тихо, очень походили друг на друга. За окном медленно падал снежок, и снежный, ясный свет лежал на стенах комнаты. Даша прижалась щекой к Катиным волосам, чуть-чуть пахнущим незнакомыми духами.

— Катюша, как ты жила это время? Ты ничего не рассказываешь.

— О чем же, котик, рассказывать? Я тебе писала.

— Я все-таки, Катюша, не понимаю, — ты красивая, прелестная, добрая. Таких, как ты, я больше не знаю. Но почему ты несчастлива? Всегда у тебя грустные глаза.

— Сердце, должно быть, несчастливое.

— Нет, я серьезно спрашиваю.

— Я об этом, девочка, сама думаю все время. Должно быть, когда у человека есть все, — тогда он по-настоящему и несчастлив. У меня — хороший муж, любимая сестра, свобода… А живу, как в мираже, и сама — как призрак… Помню, в Париже думала, — вот бы жить мне где-нибудь сейчас в захолустном городишке, ходить за птицей, за огородом, по вечерам бегать к милому другу за речку… Нет, Даша, моя жизнь кончена.

— Катюша, не говори глупостей…

— Знаешь, — Катя потемневшими, пустыми глазами взглянула на сестру, — *этот* день я чувствую… Иногда ясно вижу полосатый тюфяк, сползшую простыню, таз с желчью… Я лежу мертвая, желтая, седая…

Опустив шерстяное вязанье, Екатерина Дмитриевна глядела на падающие в безветренной тишине снежинки. Вдалеке под островерхой кремлевской башней, под раскоряченным золотым орлом, кружились галки, как облако черных

листьев.

— Я помню, Дашенька, я встала рано, рано утром. С балкона был виден Париж, весь в голубоватой дымке, и повсюду поднимались белые, серые, синие дымки. Ночью был дождик, — пахло свежестью, зеленью, ванилью. По улице шли дети с книжками, женщины с корзинками, открывались съестные лавки. Казалось — это прочно и вечно. Мне захотелось сойти туда, вниз, смешаться с толпой, встретить какого-то человека с добрыми глазами, положить ему руки на грудь. А когда я спустилась на Большие бульвары, — весь город был уже сумасшедший. Бегали газетчики, повсюду — взволнованные кучи людей. Во всех газетах — страх смерти и ненависть. Началась война. С этого дня только и слышу — смерть, смерть… На что же еще надеяться?..

Помолчав, Даша спросила:

— Катюша…

— Что, родненькая?

— Как ты с Николаем?

— Не знаю, кажется — мы простили друг друга. Смотри, уж вот три дня прошло, — он со мной очень нежен. Какие там женские счеты. Страдай, сойди с ума, — кому сейчас это нужно? Так, пищишь, как комар, и себя-то едва слышно. Зави-

дую старухам — у них все просто: скоро смерть, к ней и готовься.

Даша поворочалась на подлокотнике кресла, вздохнула несколько раз глубоко и сняла руку с Катиных плеч. Екатерина Дмитриевна сказала нежно:

— Дашенька, Николай Иванович мне сказал, что ты невеста. Правда это? Бедненькая. — Она взяла Дашину руку, поцеловала и, положив на грудь, стала гладить. — Я верю, что Иван Ильич жив. Если ты его очень любишь, — тебе больше ничего, ничего на свете не нужно.

Сестры опять замолчали, глядя на падающий за окном снег. По улице, среди сугробов, скользя сапогами, прошел взвод юнкеров с вениками и чистым бельем под мышками. Юнкеров гнали в баню. Проходя, они запели одной глоткой, с присвистом:

*Взвейтесь, соколы, орлами,*

*Полно горе горевать…*

Пропустив несколько дней, Даша снова начала ходить в лазарет. Екатерина Дмитриевна оставалась одна в квартире, где все было чужое: два скучных пейзажа на стене — стог сена и талая вода между голыми березами; над диваном в го-

стиной — незнакомые фотографии; в углу — сноп пыльного ковыля.

Екатерина Дмитриевна пробовала ездить в театр, где старые актрисы играли Островского, на выставки картин, в музеи, — все это казалось ей бледным, выцветшим, полуживым и сама она себе — тенью, бродящей по давно всеми оставленной жизни.

Целыми часами Екатерина Дмитриевна просиживала у окна, у теплой батареи отопления, глядела на снежную тихую Москву, где в мягком воздухе, сквозь опускающийся снег, раздавался печальный колокольный звон, — служили панихиду либо хоронили привезенного с фронта. Книга валилась из рук, — о чем читать? о чем мечтать? Мечты и прежние думы, — как это все теперь ничтожно!

Время шло от утренней газеты до вечерней. Екатерина Дмитриевна видела, как все окружающие ее люди жили только будущим, какими-то воображаемыми днями победы и мира, — все, что укрепляло эти ожидания, переживалось с повышенной радостью, от неудач все мрачнели, вешали головы. Люди, как маньяки, жадно ловили слухи, отрывки фраз, невероятные сообщения и воспламенялись от газетной строчки.

Екатерина Дмитриевна решилась наконец и поговорила с мужем, прося пристроить ее на какое-нибудь дело. В начале марта она начала работать в том же лазарете, где служила и Даша.

В первое время у нее, так же как у Даши, было отвращение к грязи и страданию. Но она преодолела себя и понемногу втянулась в работу. Это преодоление было радостно. Впервые она почувствовала близость жизни вокруг себя. Она полюбила грязную и трудную работу и жалела тех, для кого работала. Однажды она сказала Даше:

— Почему это выдумано было, что мы должны жить какой-то необыкновенной, утонченной жизнью? В сущности, мы с тобой такие же бабы, — нам бы мужа попроще, да детей побольше, да к травке поближе…

* * *

На страстной сестры говели у Николы на Курьих Ножках, что на Ржевском. Екатерина Дмитриевна возила святить лазаретские пасхи и разговлялась вместе с Дашей в лазарете. У Николая Ивановича в эту ночь было экстренное заседание, и он заехал за сестрами в третьем часу ночи на автомобиле. Екатерина Дмитриевна сказала, что они с Дашей

спать не хотят, а просят повезти их кататься. Это было нелепо, но шоферу дали стакан коньяку и поехали на Ходынское поле…

Было чуть-чуть морозно, — холодило щеки. Небо — безоблачно, в редких, ясных звездах. Под колесами хрустел ледок. Катя и Даша, обе в белых платочках, в серых шубках, тесно прижались друг к другу в глубоком сиденье автомобиля. Николай Иванович, сидевший с шофером, оглядывался на них, — обе были темнобровые, большеглазые.

— Ей-богу, не знаю, — какая из вас моя жена, — сказал он тихо. И кто-то из них ответил:

— Не угадаешь, — и обе засмеялись.

Над огромным смутным полем начинало чуть у краев зеленеть небо, и вдалеке проступали черные очертания Серебряного бора.

Даша сказала тихо:

— Катюша, любить очень хочется. — Екатерина Дмитриевна слабо сжала ей руку. Над лесом, в зеленоватой влаге рассвета, сияла большая звезда, переливаясь, точно дыша.

— Я и забыл сказать, Катюша, — проговорил Николай Иванович, поворачиваясь на сиденье всем телом, — только что приехал наш уполномоченный Чумаков, рассказывает, что в Галиции, оказывается, положение очень серьезное. Нем-

цы лупят нас таким ураганным огнем, что под гребенку уничтожают целые полки. А у нас снарядов, изволите ли видеть, не хватает... Черт знает что такое!..

Катя не ответила, только подняла глаза к звездам. Даша прижалась щекой к ее плечу. Николай Иванович чертыхнулся еще раз и велел шоферу поворачивать домой.

На третий день праздника Екатерина Дмитриевна почувствовала себя плохо, не пошла на дежурство и слегла. У нее оказалось воспаление легких, — должно быть, простудилась на сквозняках.

# 20

— Такие у нас дела — сказать страшно.

— Будет тебе на огонь пучиться, ложись спать.

— Такие дела… Эх, братцы мои, пропадет Россия!

У глиняной стены сарая, крытого высокой, как омет, соломенной крышей, у тлеющего костра сидело трое солдат. Один развесил на колышках сушить портянки, поглядывал, чтобы не задымились; другой подшивал заплату на штаны, осторожно тянул нить; третий, сидя на земле, подобрав ноги и засунув руки глубоко в карманы шинели, рябой и носатый, с черной редкой бородкой, глядел на огонь запавшими, сумасшедшими глазами.

— Все продано, вот какие дела, — говорил он негромко. — Чуть наши перевес начинают брать, — сейчас приказ — отойти. Только и знаем, что жидов на сучках вешать, а измена, гляди, на самом верху гнездится.

— Так надоела мне эта война, ни в одной газете не опишут, — сказал солдат, сушивший портянки, и осторожно положил хворостинку

на угли. — Пошли наступать, отступили, опять наступление, ах, пропасти на них нет! — и тем же порядком опять возвращаемся на свое место. Безрезультатно! — выговорил он и сплюнул в огонь.

— Давеча ко мне подходит поручик Жадов, — с усмешкой, не поднимая головы, проговорил солдат, штопавший штаны, — ну, хорошо. Со скуки, что ли, черти ему покоя не дают. Начинает придираться. Отчего дыра на портках? Да — как стоишь? Я молчу. И кончился наш разговор очень просто, — хлысть меня в зубы.

Солдат, сушивший портянки, ответил:

— Ружьев нет, стрелять нечем. На нашей батарее снарядов — семь штук на орудие. Одно остается — по зубам чесать.

Штопавший штаны с удивлением взглянул на него, покачал головой, — ну, ну! Черный, страшноглазый солдат сказал:

— Весь народ подняли, берут теперь до сорока трех лет. С такой бы силой свет можно пройти. Разве мы отказываемся? Только уж и ты свое исполняй, — мы свое исполним.

Штопавший штаны кивнул:

— Правильно…

— Видел я поле под Варшавой, — говорил

черный, — лежат на нем тысяч пять али шесть сибирских стрелков. Все побитые лежат, как снопы. Зачем? Отчего? А вот отчего… На военном совете стали решать, что, мол, так и так, и сейчас же один генерал выходит оттудова и тайком — телеграмму в Берлин. Понял? Два сибирских корпуса прямым маршем с вокзала — прямо на это поле — и попадают под пулеметы. Что ты мне говоришь — в зубы дали. Отец мой, бывало, не так хомут засупонишь, — подойдет и бьет меня по лицу, и правильно, — учись, страх знай. А за что сибирских стрелков, как баранов, положили? Я вам говорю, ребята, пропала Россия, продали нас. И продал нас наш же мужик, односельчанин мой, села Покровского, бродяга. Имени-то его и говорить не хочу… Неграмотный он, озорник, сладкомордый, отбился от работы, стал лошадей красть, по скитам шататься, привык к бабам, к водке сладкой… А теперь в Петербурге за царя сидит, министры, генералы кругом его так и крутятся. Нас бьют, тысячами в сырую землю ложимся, а у них в Петербурге электричество так и пышет. Пьют, едят, от жира лопаются.

Он вдруг замолчал. Было тихо и сыро, в сарае похрустывали лошади, одна глухо ударила в стену. Из-за крыши на огонь скользнула ночная

птица и пропала, жалобно крикнув. И в это время вдалеке, в небе, возник рев, надрывающий, приближающийся, точно с неимоверной быстротой летел зверь, разрывая рылом темноту, и ткнулся где-то, и вдалеке за сараем рванул разрыв, затрепетала земля. Забились лошади, звеня недоуздками. Солдат, зашивавший штаны, проговорил опасливо:

— Вот это так двинуло!

— Ну и пушка!

— Подожди!

Все трое подняли головы. В беззвездном небе вырастал второй звук, длился, казалось, минуты две, и где-то совсем близко, за сараем, по эту сторону сарая, громыхнул второй разрыв, выступили конусы елей, и опять затрепетала земля. И сейчас же стал слышен полет третьего снаряда. Звук его был захлебывающийся, притягивающий… Слушать было так нестерпимо, что останавливалось сердце. Черный солдат поднялся с земли и начал пятиться. И сверху дунуло, — скользнула точно черная молния, и с рваным грохотом взвился черно-огненный столб.

Когда столб опустился, — от места, где был костер и люди, осталась глубокая воронка. Над развороченной стеной сарая загорелась и по-

валила желтым дымом соломенная крыша. Из пламени, храпя, вылетела гривастая лошадь и шарахнулась к выступавшим из темноты соснам.

А уж за зубчатым краем равнины мигали зарницы, рычали орудия, поднимались длинными червями ракеты, и огни их, медленно падая, озаряли темную сырую землю. Небо буравили, рыча и ревя, снаряды.

# 21

Этим же вечером, неподалеку от сарая, в офицерском убежище, по случаю получения капитаном Тетькиным сообщения о рождении сына, офицерами одной из рот Усольского полка был устроен «бомбаус». Глубоко под землей, под тройным накатом, в низком погребе, освещенном пучками вставленных в стаканы стеариновых свечей, сидели у стола восемь офицеров, доктор и три сестры милосердия из летучего лазарета.

Выпито было сильно. Счастливый отец, капитан Тетькин, спал, уткнувшись в тарелку с объедками, грязная кисть руки его висела над лысым черепом. От духоты, от спирта, от мягкого света свечей сестры казались очень хорошенькими; они были в серых платьях и в серых косынках. Одну звали Мушка, на висках ее были закручены два черных локона; не переставая, она смеялась, показывая беленькое горло, в которое впивались тяжелыми взглядами два ее соседа и двое сидящих напротив. Другая, Марья Ивановна, полная, с румянцем до бровей, необыкновенно пела цыганские романсы. Слушатели, вне себя,

стучали по столу, повторяя: «Эх, черт! Вот была жизнь!» Третьей у стола сидела Елизавета Киевна. В глазах у нее дробились, лучились огоньки свечей, лица белели сквозь дым, а одно лицо соседа, поручика Жадова, казалось страшным и прекрасным. Он был широкоплечий, русый, бритый, с прозрачными глазами. Сидел он прямо, туго перетянутый ремнем, пил много и только бледнел. Когда рассыпалась смешком черноволосая Мушка, когда Марья Ивановна брала гитару, скомканным платочком вытирала лицо и запевала грудным басом: «Я в степях Молдавии родилась», — Жадов медленно улыбался углом прямого рта и подливал себе спирту.

Елизавета Киевна глядела близко ему в чистое, без морщин, лицо. Он занимал ее приличным и незначительным разговором, рассказал, между прочим, что у них в полку есть штабс-капитан Мартынов, про которого ходит слава, будто он фаталист; действительно, когда он выпьет коньяку, то выходит ночью за проволоку, приближается к неприятельским окопам и ругает немцев на четырех языках; на днях он поплатился за свое честолюбие раной в живот. Елизавета Киевна, вздохнув, сказала, что, значит, штабс-капитан Мартынов — герой. Жадов усмехнулся:

— Извиняюсь, есть честолюбцы и есть дураки, но героев нет.

— Но когда вы идете в атаку, — разве это не геройство?

— Во-первых, в атаку не ходят, а заставляют идти, и те, кто идут, — трусы. Конечно, есть люди, рискующие своей жизнью без принуждения, но это те, у кого — органическая жажда убивать. — Жадов постучал жесткими ногтями по столу. — Если хотите, — то это люди, стоящие на высшей ступени современного сознания.

Он, легко приподнявшись, взял с дальнего края стола большую коробку с мармеладом и предложил Елизавете Киевне.

— Нет, нет, не хочу, — сказала она и чувствовала, как стучит сердце, слабеет тело. — Ну, скажите, а вы?

Жадов наморщил кожу на лбу, лицо его покрылось мелкими неожиданными морщинами, стало старое.

— Что — а вы? — повторил он резко. — Вчера я застрелил жида за сараем. Хотите знать — приятно это или нет? Какая чепуха!

Он стиснул острыми зубами папиросу и чиркнул спичку, и плоские пальцы, державшие ее, были тверды, но папироса так и не попала в ого-

нек, не закурилась.

— Да, я пьян, извиняюсь, — сказал он и бросил спичку, догоревшую до ногтей.. — Пойдемте на воздух.

Елизавета Киевна поднялась, как во сне, и пошла за ним к узкому лазу из убежища. Вдогонку закричали пьяные, веселые голоса, и Марья Ивановна, рванув гитару, затянула басом: «Дышала ночь восторгом сладострастья…»

На воле остро пахло весенней прелью, было темно и тихо. Жадов быстро шел по мокрой траве, засунув руки в карманы. Елизавета Киевна шла немного позади него, не переставая улыбаться. Вдруг он остановился и отрывисто спросил:

— Ну, так что же?

У нее запылали уши. Сдержав спазму в горле, она ответила едва слышно:

— Не знаю.

— Пойдемте. — Он кивнул в сторону темнеющей крыши сарая. Через несколько шагов он опять остановился и крепко взял Елизавету Киевну за руку ледяной рукой. — Я сложён, как бог, — проговорил он с неожиданной горячностью. — Я рву двугривенные. Каждого человека я вижу насквозь, как стеклянного… Ненавижу! — Он запнулся, точно вспомнив о чем-то, и топнул

ногой. — Эти все хи-хи, ха-ха, пенье, трусливые разговоры — мерзость! Они все, как червяки в теплом навозе… Я их давлю… Слушайте… Я вас не люблю, не могу! Не буду любить… Не обольщайтесь… Но вы мне нужны… Мне отвратительно это чувство зависимости… Вы должны понять… — Он сунул руки свои под локти Елизаветы Киевны, сильно привлек ее и прижался к виску губами, сухими и горячими, как уголь.

Она рванулась, чтобы освободиться, но он так стиснул ее, что хрустнули кости, и она уронила голову, тяжело повисла на его руках.

— Вы не такая, как те, как все, — проговорил он, — я вас научу… — Он вдруг замолчал, поднял голову. В темноте вырастал резкий, сверлящий звук. — А, черт! — сказал Жадов сквозь зубы.

Сейчас же вдалеке грохнул разрыв. Елизавета Киевна опять рванулась, но Жадов еще сильнее сжал ее. Она проговорила отчаянно:

— Пустите же меня!

Разорвался второй снаряд. Жадов продолжал что-то бормотать, и вдруг совсем рядом за сараем взлетел черно-огненный столб, грохотом взрыва швырнуло высоко горящие пучки соломы.

Елизавета Киевна рванулась из его рук и побежала к убежищу.

Оттуда, из лаза, поспешно выходили офицеры, оглядываясь на пылающий сарай, рысцой побежали по черно-изрытой от косого света земле: одни — налево к леску, где были окопы, другие — направо — в ход сообщения, ведущий к предмостному укреплению. За рекой, далеко за холмами, грохотали немецкие батареи. Обстрел начался с двух мест: били направо — по мосту, и налево — по переправе, которая вела к фольварку, недавно занятому на той стороне реки ротой Усольского полка. Часть огня была сосредоточена на русских батареях.

Елизавета Киевна видела, как Жадов, без шапки, засунув руки в карманы, шагал прямо через поле к пулеметному гнезду. И вдруг на месте его высокой фигуры вырос косматый, огненно-черный круг. Елизавета Киевна закрыла глаза. Когда она опять взглянула, — Жадов шел левее, все так же раздвинув локти. Капитан Тетькин, стоявший с биноклем около Елизаветы Киевны, крикнул сердито:

— Говорил я — на какой нам черт этот фольварк! Теперь, пожалуйте, глядите, — всю переправу разворочали. Ах, сволочи! — И опять уставился в бинокль. — Ах, сволочи, лупят прямо по фольварку! Пропала шестая рота. Эх! — Он отвернулся и

шибко поскреб голый затылок. — Шляпкин!

— Здесь, — быстро ответил маленький носатый человек в папахе.

— Говорили с фольварком?

— Сообщение прервано.

— Передайте в восьмую роту, чтобы послали подкрепление на фольварк.

— Слушаюсь, — ответил Шляпкин, отчетливо отнимая руку от виска, отошел два шага и остановился.

— Поручик Шляпкин! — свирепо опять позвал капитан.

— Здесь.

— Потрудитесь исполнить приказание.

— Слушаюсь. — Шляпкин отошел подальше и, нагнув голову, стал тросточкой ковырять землю.

— Поручик Шляпкин! — заорал капитан.

— Здесь.

— Вы человеческий язык понимаете или не понимаете?

— Так точно, понимаю.

— Передайте в восьмую роту приказание. От себя скажите, чтобы его не исполняли. Они и сами не идиоты, чтобы посылать туда людей. Пускай пошлют человек пятнадцать к переправе отстреливаться. Сейчас же сообщите в дивизию,

что восьмая рота молодецким ударом форсирует переправу. А потери мы покажем из шестой роты. Идите. Да убирайтесь вы, барышня, — обернулся он к Елизавете Киевне, — убирайтесь к чертовой матери отсюда, сейчас начнется обстрел.

В это время с шипом пронесся снаряд и ударил поблизости.

# 22

Жадов лежал у самой щели пулеметного блиндажа и с жадностью, не отрываясь от бинокля, следил за боем. Блиндаж был вырыт на скате лесистого холма. У подножья его пологой дугой загибалась река; направо валил клубами только что загоревшийся мост; за ним на той стороне в травяном болоте виднелась изломанная линия окопов, где сидела первая рота усольцев, левее их вился в камышах ручей, впадающий в речку; еще левее, за ручьем, пылали три здания фольварка; за ними в вынесенных углом окопах сидела шестая рота. Шагах в трехстах от нее начинались немецкие линии, идущие затем направо вдаль, к лесистым холмам.

От пламени двух пожаров река казалась грязно-багровой, и вода в ней кипела от множества падающих снарядов, взлетала фонтанами, окутывалась бурыми облаками.

Наиболее сильный артиллерийский огонь был сосредоточен на фольварке. Над пылающими зданиями поминутно блистали разрывы шрапнелей, и по сторонам углом сломанной черты

окопов взлетали косматочерные столбы. Из-за ручья, в тростниках и траве, вспыхивали иголочки ружейной стрельбы.

Рррррах, рррррррах, — сотрясали воздух разрывы тяжелых снарядов. Ппах, ппах, ппах, — слабо лопалась шрапнель над рекой, над лугами и на этой стороне, над окопами второй, третьей и четвертой роты. Рррррруу, рррруу, — катился громовой грохот из-за холмов, где зарницами вспыхивали двенадцать немецких батарей. Сссык, сссык, — свистали в воздухе, уносясь за эти холмы, ответные наши снаряды. От шума ломило в уши, давило грудь, злоба подкатывала под сердце.

Так продолжалось долго, очень долго. Жадов взглянул на светящиеся часы: показывало половину третьего, значит — уже светает и надо ждать атаки.

Действительно, грохот артиллерийской стрельбы усилился, еще сильнее закипела вода в реке, снаряды били по переправам и холмам по этой стороне. Иногда глухо начинала дрожать земля, и сыпались глина и камешки со стен и потолка блиндажа. Но на площади догоравшего фольварка стало тихо. И вдруг издалека, наискось к реке, взвились огненными лентами десятки ракет, и

земля озарилась, как будто солнцем.

Когда огни погасли, на несколько минут стало совсем темно. Немцы поднялись из убежищ и пошли в атаку.

В неясном сумраке рассвета Жадов разглядел наконец далеко на лугу двигающиеся фигурки, они то припадали, то перегоняли друг друга. Навстречу им с фольварка не вспыхнул ни один огонек. Жадов, обернувшись, крикнул:

— Ленту!

Пулемет задрожал, как от дьявольской ярости, торопливо стал выплевывать свинец, удушать едкой гарью. Сейчас же быстрее задвигались фигурки по лугу, иные припали. Но уже все поле было полно точками наступающих. Передние из них подбегали к разрушенным окопам шестой роты. Оттуда поднялось десятка два человек. И около этого места быстро, быстро сбилась толпа.

Этот бой за фольварк был лишь ничтожной частью огромного сражения, разыгравшегося на фронте протяжением в несколько сот верст и стоившего обеим сторонам несколько сот тысяч жизней.

Русскими фольварк был занят две недели тому назад для того, чтобы обеспечить себе плацдарм в случае наступления через реку. Немцы решили

занять фольварк для того, чтобы вынести ближе к реке наблюдательный пункт. Та и другая цель была важна только для начальников дивизий — немецкой и русской, входила в глубоко обдуманный ими во всех мелочах стратегический план весенней кампании.

Командующий русской дивизией генерал Добров, полгода тому назад с высочайшего соизволения переменивший на таковую свою прежнюю нерусскую фамилию, сидел за преферансом в то время, когда было получено сообщение о наступлении немцев в секторе Усольского полка.

Генерал оставил преферанс и вместе с офицерами и двумя адъютантами перешел в залу, где на столе лежали топографические карты. С фронта доносили об обстреле переправы и моста. Генерал понял, что немцы намереваются отобрать фольварк, то есть то именно место, на котором он построил свой знаменитый план наступления, одобренный уже штабом корпуса и представленный командующему армией на одобрение. Немцы атакой фольварка разбивали весь план.

Поминутно телефонограммы подтверждали это опасение. Генерал снял с большого носа пенсне и, играя им, сказал спокойно, но твердо:

— Хорошо. Я не отступлю ни на пядь от занятых мной позиций.

Тотчас была дана телефонограмма о принятии соответствующих мер к обороне фольварка. Кундравинскому третьеочередному полку, стоявшему в резерве, приказано было двинуться в составе двух батальонов к переправе на подкрепление Тетькина. В это время от командира тяжелой батареи пришло донесение, что снарядов мало, одно орудие уже подбито и отвечать в должной мере на ураганный огонь противника нет возможности.

На это генерал Добров сказал, строго взглянув на присутствующих:

— Хорошо. Когда выйдут снаряды — мы будем драться холодным оружием. — Вынув из кармана серой, с красными отворотами, тужурки белоснежный платок, встряхнув его, протер пенсне и наклонился над картой.

Затем в дверях появился младший адъютант, граф Бобруйский, корнет, облитый, как перчаткою, темно-коричневым хаки.

— Ваше превосходительство, — сказал он, чуть заметно улыбаясь уголком красивого юношеского рта, — капитан Тетькин доносит, что восьмая рота молодецким ударом форсирует переправу,

невзирая на губительный огонь противника.

Генерал поверх пенсне взглянул на корнета, пожевал бритым ртом и сказал:

— Очень хорошо.

Но, несмотря на бодрый тон, донесения с фронта приходили все более неутешительные. Кундравинский полк дошел до переправы, лег и окопался. Восьмая рота продолжала молодецкие удары, но не переправлялась. Командир мортирного дивизиона, капитан Исламбеков, донес, что у него подбито два орудия и мало снарядов. Командир первого батальона Усольского полка, полковник Бороздин, доносил, что вследствие открытых позиций вторая, третья и четвертая роты терпят большие потери в людях, и потому он просит либо разрешить ему броситься и опрокинуть дерзкого врага, либо отойти к опушке. Донесений от шестой роты, занимающей фольварк, не поступало.

В половине третьего пополуночи был созван военный совет. Генерал Добров сказал, что он сам пойдет впереди вверенных ему войск, но не уступит ни вершка занятого плацдарма. В это время пришло донесение, что фольварк занят и шестая рота до последнего человека уничтожена. Генерал стиснул в кулаке батистовый платок

и закрыл глаза. Начальник штаба, полковник Свечин, поднял полные плечи и, наливаясь кровью в мясистом чернобородом лице, проговорил отчетливым хрипом:

— Ваше превосходительство, я неоднократно вам докладывал, что вынесение позиций на правый берег — рискованно. Мы уложим на этой переправе два, и три, и четыре батальона, и если даже отобьем фольварк, удержание его будет крайне затруднительно.

— Нам нужен плацдарм, мы его должны иметь, мы его будем иметь, — проговорил генерал Добров, и на носу его выступил пот. — Дело идет о том, что с потерей плацдарма мой план наступления сводится к нулю.

Полковник Свечин возражал, еще более багровея:

— Ваше превосходительство, войска физически не могут переходить речку под ураганным огнем, не будучи в должной мере поддержаны артиллерией, а, как вам известно, артиллерии поддерживать их нечем.

На это генерал отвечал:

— Хорошо. В таком случае передайте войскам, что на той стороне реки на проволоках висят георгиевские кресты. Я знаю моих солдат.

После этих долженствующих войти в историю слов генерал поднялся и, вертя за спиной в коротких пальцах золотое пенсне, стал глядеть в окно, за которым на лугу в нежно-голубом утреннем тумане стояла мокрая береза. Стайка воробьев обсела ее тонкие светло-зеленые сучья, зачирикала торопливо и озабоченно и вдруг снялась и улетела. И весь туманный луг с неясными очертаниями деревьев уже пронизывали косые золотистые лучи солнца.

На восходе солнца бой кончился. Немцы занимали фольварк и левый берег ручья. Из всего плацдарма в руках русских осталась только низина по правую сторону ручья, где сидела первая рота. Весь день через ручей шла ленивая перестрелка, но было ясно, что первая рота находилась под опасностью окружения, — непосредственной связи у нее с этим берегом не было из-за сгоревшего моста, и самым разумным казалось — очистить болото в ту же ночь.

Но после полудня командующий первым батальоном полковник Бороздин получил приказание готовиться этой ночью к переходу бродом на болото для усиления позиции первой роты. Капитану Тетькину приказано накапливаться, в составе пятой и седьмой рот, ниже фольварка,

и переправляться на понтонах. Третьему батальону усольцев, стоявшему в резерве, — занять позиции атакующих. Кундравинскому полку — переправляться по мелкому месту у сожженной переправы и ударить в лоб.

Приказ был серьезный, диспозиция ясная: фольварк обхватывался клещами, справа — первым и слева — вторым батальоном, запасной Кундравинский полк должен привлечь на себя все внимание и огонь врага. Атака была назначена в полночь.

В сумерки Жадов пошел ставить пулеметы на переправе и один пулемет с величайшими предосторожностями перевез на лодке на небольшой, в несколько десятков квадратных саженей, островок, поросший лозняком. Здесь Жадов и остался.

Весь день русские батареи поддерживали ленивый огонь по фольварку и глубже — по вынесенным к реке немецким позициям. Кое-где по реке хлопали одиночные ружейные выстрелы. В полночь в молчании началась переправа войск сразу в трех местах. Чтобы отвлечь внимание врага, части Белоцерковского полка, стоящие верстах в пяти выше по течению, начали оживленную перестрелку. Немцы, насторожась, молчали.

Раздвинув опутанные паутиной ветви лозняка,

Жадов следил за переправой. Направо желтая немигающая звезда стояла невысоко над лесистыми холмами, и тусклый отсвет ее дрожал в черной реке. Эту полосу отсвета стали пересекать темные предметы. На песчаных островках и мелях появились перебегающие фигуры. Недалеко от Жадова человек десять их двигалось с негромким плеском, по грудь в воде, держа в поднятых руках винтовки и патронные сумки. Это переправлялись кундравинцы.

Вдруг, далеко на той стороне, вспыхнули быстрые огни, запели, налетая, снаряды, и — пах, пах, пах — с металлическим треском залопались шрапнели высоко над рекой. Каждая вспышка освещала поднятые из воды бородатые лица. Вся отмель кишела бегущими людьми. Пах, пах, пах — разорвалась новая очередь. Раздались крики. Взвились и рассыпались ослепительными огнями ракеты по всему небу. Загрохотали русские батареи. К ногам Жадова течением нанесло барахтающегося человека. «Голову, голову пробили!» — сдавленным голосом повторял он и цеплялся за лозы. Жадов перебежал на другую сторону острова. Вдалеке через реку двигались понтоны, полные людей, и было видно, как переправившиеся части перебегали по полю.

Сейчас, как и вчера, над рекой, на переправах и по холмам оглушающе, ослепляюще грохотала буря ураганного огня. Кипящая вода была точно червивая: сквозь черные и желтые клубы дыма, меж водяных столбов, лезли, орали, барахтались солдаты. Достигшие той стороны ползли на берег. С тыла хлестали жадовские пулеметы. Рвались впереди русские снаряды. Обе роты капитана Тетькина били перекрестным огнем по фольварку. Передние части кундравинцев, — как оказалось впоследствии, потерявших при переправе половину состава, — пошли было в штыки, но захлебнулись и легли под проволоку. Из-за ручья, из камышей высыпали густые цепи первого батальона. Немцы отхлынули из окопов.

Жадов лежал у пулемета и, вцепившись в бешено дрожащий замок, поливал настильным огнем позади немецкой траншеи травянистый изволок, по которому пробегали то два, то три, то кучка людей, и неизменно все они спотыкались и тыкались ничком, набок.

«Пятьдесят восемь. Шестьдесят», — считал Жадов. Вот поднялась щуплая фигурка и, держась за голову, поплелась на изволок. Жадов повел стволом пулемета, фигурка села на колени и легла. «Шестьдесят один». Вдруг нестерпимый,

обжигающий свет возник перед глазами, Жадов почувствовал, как его подняло на воздух и острой болью рвануло руку.

Фольварк и все прилегающие к нему линии окопов были заняты: захвачено около двухсот пленных; на рассвете затих с обеих сторон артиллерийский огонь. Началась уборка раненых и убитых. Обыскивая островки, санитары нашли в поломанном лозняке опрокинутый пулемет, около — уткнувшегося в песок нижнего чина с оторванным затылком, и саженях в пяти, на другой стороне островка, лежал ногами в воде Жадов. Его подняли, он застонал, из запекшегося кровью рукава торчал кусок розовой кости.

Когда Жадова привезли в летучку, доктор крикнул Елизавете Киевне: «Молодчика вашего привезли. На стол, немедленно резать». Жадов был без сознания, с обострившимся носом, с черным ртом. Когда с него сняли рубашку, Елизавета Киевна увидела на белой широкой груди его татуировку — обезьяны, сцепившиеся хвостами. Во время операции он стиснул зубы, и лицо его стало сводить судорогой.

После мучения, перевязанный, он открыл глаза. Елизавета Киевна нагнулась к нему.

— Шестьдесят один, — сказал он.

Жадов бредил до утра и потом заснул. Елизавета Киевна просила, чтобы ей самой разрешили отвезти его в большой лазарет при штабе дивизии.

# 23

Даша вошла в столовую. Николай Иванович и приехавший третьего дня по срочной телеграмме из Самары Дмитрий Степанович замолчали. Придерживая у подбородка белую шаль, Даша взглянула на красное, с растрепанными волосами, лицо отца, сидевшего, поджав ногу, взглянула на перекосившегося, с воспаленными веками, Николая Ивановича. Даша тоже села у стола. За окном в синеватых сумерках стоял ясный узкий серп месяца.

Дмитрий Степанович курил, сыпля пеплом на мохнатый жилет. Николай Иванович старательно сгребал кучечку крошек на скатерти. Сидели долго молча.

Наконец Николай Иванович проговорил сдавленным голосом:

— Почему все оставили ее? Нельзя же так.

— Сиди, я пойду, — ответила Даша, поднимаясь.

Она уже не чувствовала ни боли во всем теле, ни усталости.

— Папочка, поди впрысни еще, — сказала

она, закрывая рот шалью. Дмитрий Степанович сильно сопнул носом и через плечо бросил догоревшую папиросу. Весь пол вокруг него был забросан окурками.

— Папочка, впрысни еще, я тебя умоляю.

Тогда Николай Иванович раздраженно и тем же, точно театральным, голосом воскликнул:

— Не может она жить одной камфарой. Она умирает, Даша.

Даша стремительно обернулась к нему:

— Ты не смеешь так говорить! Не смеешь! Она не умрет.

Желтое лицо Николая Ивановича передернулось. Он обернулся к окну и тоже увидел пронзительный, тонкий серп месяца в синеватой пустыне.

— Какая тоска, — сказал он, — если она уйдет, — я не могу…

Даша на цыпочках прошла по гостиной, еще раз взглянула на окна, — за ними был ледяной, вечный холод, — и проскользнула в Катину спальню, едва освещенную ночником.

В глубине комнаты, на широкой и низкой постели, все так же неподвижно, на подушках лежало маленькое личико с закинутыми наверх сухими, потемневшими волосами, и пониже

— узенькая ладонь. Даша опустилась на колени перед кроватью. Катя едва слышно дышала. Спустя долгое время она проговорила тихим, жалобным голосом:

— Который час?

— Восемь, Катюша.

Подышав, Катя опять спросила так же, точно жалуясь:

— Который час?

Она повторяла это весь день сегодня. Ее полупрозрачное лицо было спокойно, глаза закрыты… Вот уже долгое время она идет по мягкому ковру длинного желтого коридора. Он весь желтый — стены и потолок. Справа, высоко из пыльных окон, — желтоватый мучительный свет. Налево — множество плоских дверей. За ними, — если распахнуть их, — край земли, бездна. Катя медленно, так медленно, как во сне, идет мимо этих дверей и пыльных окон. Впереди — длинный, плоский коридор, весь в желтоватом свету. Душно, и веет смертной тоской от каждой дверцы. Когда же, господи, конец? Остановиться бы, прислушаться… Нет, не слышно… А за дверями в тьме начинает гудеть, как пружина в стенных часах, медленный, низкий звук… О, какая тоска!.. Очнуться бы… Сказать что-нибудь простое, че-

ловеческое…

И Катя с усилием, точно жалуясь, повторяла:

— Который час?

— Катюша, о чем ты все спрашиваешь?

«Хорошо, Даша здесь…» И снова мягкой тошнотою простирался под ногами коридорный ковер, лился жесткий, душный свет из пыльных окон, издалека гудела часовая пружина…

«Не слышать бы… Не видеть, не чувствовать… Лечь, уткнуться… Скорее бы конец… Но мешает Даша, не дает забыться… Держит за руку, целует, бормочет, бормочет… И словно от нее в пустое легкое тело льется что-то живое… Как это неприятно… Как бы ей объяснить, что умирать легко, легче, чем чувствовать в себе это живое… Отпустила бы».

— Катюша, люблю, люблю тебя, ты слышишь?

«Не отпускает, жалеет… Значит — нельзя… Девочка останется одна, осиротеет…»

— Даша!

— Что, что?

— Я не умру.

Вот, должно быть, подходит отец, пахнет табаком. Наклоняется, отгибает одеяло, и в грудь острой, сладкой болью входит игла. По крови разливается блаженная влага успокоения. Колеб-

лются, раздвигаются стены желтого коридора, веет прохладой. Даша гладит руку, лежащую поверх одеяла, прижимается к ней губами, дышит теплом. Еще минуточка, и тело растворится в сладкой темноте сна. Но снова жесткие желтенькие черточки выплывают сбоку, из-за глаз и — чирк, чирк — самодовольно, сами по себе, существуют, множатся, строят мучительный, душный коридор…

— Даша, Даша, я не хочу туда.

Даша обхватывает голову, ложится рядом на подушку, прижимается, живая и сильная, и точно льется из нее грубая, горячая сила, — живи!

А коридор уж опять протянулся, нужно подняться и брести со стопудовой тяжестью на каждой ноге. Лечь нельзя. Даша обхватит, поднимет, скажет — иди.

Так трое суток боролась Катя со смертью. Непрестанно чувствовала она в себе Дашину страстную волю и, если бы не Даша, давно бы обессилела, успокоилась.

Весь вечер и ночь третьих суток Даша не отходила от постели. Сестры стали точно одним существом, с одной болью и с одной волей. И вот под утро Катя покрылась наконец испариной и легла на бок. Дыхания ее почти не было слышно.

Встревоженная Даша позвала отца. Они решили ждать. В седьмом часу утра Катя вздохнула и повернулась на другой бок. Кризис миновал, началось возвращение к жизни.

Здесь же, у кровати, в большом кресле заснула и Даша, в первый раз за эти дни. Николай Иванович, узнав, что Катя спасена, обхватил мохнатый жилет Дмитрия Степановича и зарыдал.

Новый день настал радостный, — было тепло и солнечно, все казались друг другу добрыми. Из цветочного магазина принесли дерево белой сирени и поставили в гостиной. Даша чувствовала, как своими руками оттащила Катю от черной, холодной дыры в вечную темноту. Нет, нет, на земле ничего не было дороже жизни, — она это знала теперь твердо.

В конце мая Николай Иванович перевез Екатерину Дмитриевну под Москву, на дачу, в бревенчатый домик с двумя террасами, — одна выходила в березовый, с вечно двигающейся зеленой тенью лесок, где бродили пегие телята, другая — на покатое волнистое поле.

Каждый вечер Даша и Николай Иванович вылезали из дачного поезда на полустанке и шли по болотистому лугу. Над головой толклись комарики. Потом приходилось идти в гору. Здесь обычно

Николай Иванович останавливался, будто бы для того, чтобы взглянуть на закат, и говорил, отдуваясь:

— Ах, как хорошо, черт его возьми!

За потемневшей волнистой равниной, покрытой то полосами хлебов, то кудрями ореховых и березовых перелесков, лежали тучи, те, что бывают на закате, — лиловые, неподвижные и бесплодные. В их длинных щелях тусклым светом догорало небесное зарево, и неподалеку, внизу, в заводи ручья, отсвечивала оранжевая щель неба. Ухали, охали лягушки. На плоском поле темнели ометы и крыши деревни. В поле горел костер. Там когда-то за валом и высоким частоколом сидел Тушинский вор. Протяжно свистя, из-за леса появлялся поезд, увозил солдат на запад, в тусклый закат.

Подходя по опушке леса к даче, Даша и Николай Иванович видели сквозь стекла террасы накрытый стол, лампу с матовым шаром. Навстречу с вежливым лаем прибегала дачная собачка Шарик и, добежав и вертя хвостом, на всякий случай отходила в полынь и лаяла в сторону.

Екатерина Дмитриевна барабанила пальцами в стекло террасы, — в сумерки ей было еще запрещено выходить. Николай Иванович, затворяя

за собой калитку, говорил: «Премилая дачка, я тебе скажу». Садились ужинать. Екатерина Дмитриевна рассказывала дачные новости: из Тушина прибегала бешеная собака и покусала у Кишкиных двух цыплят; сегодня переехали на симовскую дачу Жилкины, и сейчас же у них украли самовар; Матрена, кухарка, опять выпорола сына.

Даша молча ела, — после города она уставала страшно. Николай Иванович вытаскивал из портфеля пачку газет и принимался за чтение, поковыривая зубочисткой зуб; когда он доходил до неприятных сообщений, то начинал цыкать зубом, покуда Катя не говорила: «Николай, пожалуйста, не цыкай». Даша выходила на крыльцо, садилась, подперев подбородок, и глядела на потемневшую равнину, с огоньками костров кое-где, на высыпающие мелкие летние звезды. Из садика пахло политыми клумбами.

На террасе Николай Иванович, шурша газетами, говорил:

— Война уже по одному тому не может долго длиться, что страны согласия и мы — союзники–разоримся.

Катя спрашивала:

— Хочешь простокваши?

— Если только холодная… Ужасно, ужасно! Мы потеряли Львов и Люблин. Черт знает что! Как можно воевать, когда предатели вонзают нож в спину! Невероятно!

— Николай, не цыкай.

— Оставь меня в покое! Если мы потеряем Варшаву, будет такой позор, что нельзя жить. Право, иногда приходит в голову, — не лучше ли заключить хоть перемирие какое-нибудь да и повернуть штыки на Петербург.

Издалека доносился свист поезда, — было слышно, как он стучал по мосту через тот ручей, где давеча отражался закат: это везли, должно быть, раненых в Москву. Николай Иванович опять шуршал газетой:

— Эшелоны отправляются на фронт без ружей, в окопах сидят с палками. Винтовка — одна на каждого пятого человека. Идут в атаку с теми же палками, в расчете, когда убьют соседа, — взять винтовку. Ах, черт возьми, черт возьми!..

Даша сходила с крыльца и облокачивалась у калитки. Свет с террасы падал на глянцевитые лопухи у забора, на дорогу. Мимо, опустив голову, загребая босыми ногами пыль, нехотя — с горя, шел Матренин сын, Петька. Ему ничего более не оставалось, как вернуться на кухню, дать себя

выпороть и лечь спать.

Даша выходила за калитку и медленно шла до речки Химки.

Там, в темноте, стоя на обрыве, она прислушивалась, — где-то, слышный только ночью, журчал ключ: зашуршала, покатилась к воде и плеснула земля с сухого обрыва. По сторонам неподвижно стояли черные очертания деревьев, — вдруг сонно начинали шуметь листья, и опять было тихо. «Когда же, когда же, когда?» — негромко говорила Даша и хрустела пальцами.

В первых числах июня, в праздник, Даша встала рано и, чтобы не будить Катю, пошла мыться на кухню. На столе лежала куча овощей и поверх какая-то зеленоватая открытка, должно быть зеленщик захватил ее на почте вместе с газетами. Петька, Матренин сын, сидел на пороге и, сопя, привязывал к палочке куриную ногу. Матрена вешала на акации белье.

Даша налила в глиняный таз воды, пахнущей рекою, спустила с плеч рубашку и опять поглядела, — что за странная открытка? Взяла ее за кончик мокрыми пальцами, там было написано: «Милая Даша, я беспокоюсь, почему ни на одно из моих писем не было ответа, неужели они пропали?»

Даша быстро села на стул, потемнело в глазах, ослабли ноги… «Рана моя совсем зажила. Теперь я каждый день занимаюсь гимнастикой, вообще себя держу в руках. А также изучаю английский и французский языки. Обнимаю тебя, Даша, если ты меня еще помнишь. И. Телегин».

Даша подняла рубашку на плечи и прочла письмо во второй раз:

«Если ты меня еще помнишь»!.. Она вскочила и побежала к Кате в спальню, распахнула ситцевую занавеску на окне.

— Катя, читай вслух!..

Села на постель к испуганной Кате и, не дожидаясь, прочла сама и сейчас же вскочила, всплеснула руками.

— Катя, Катя, как это ужасно!

— Но ведь, слава богу, он жив, Данюша.

— Я люблю его!.. Господи, что мне делать?.. Я спрашиваю тебя, — когда кончится война?

Даша схватила открытку и побежала к Николаю Ивановичу. Прочтя письмо, в отчаянии, она требовала от него самого точного ответа, — когда кончится война?

— Матушка ты моя, да ведь этого никто теперь не знает.

— Что же ты тогда делаешь в этом дурацком

Городском союзе? Только болтаете чепуху с утра до ночи. Сейчас еду в Москву, к командующему войсками… Я потребую от него…

— Что от него потребуешь?.. Ах, Даша, Даша, ждать надо.

Несколько дней Даша не находила себе места, потом затихла, будто потускнела; по вечерам рано уходила в свою комнату, писала письма Ивану Ильичу, упаковывала, зашивала в холст посылки. Когда Екатерина Дмитриевна заговаривала с ней о Телегине, Даша обычно молчала; вечерние прогулки она бросила, сидела больше с Катей, шила, читала, — казалось, как можно глубже нужно было загнать в себя все чувства, покрыться будничной, неуязвимой кожей.

Екатерина Дмитриевна хотя и совсем оправилась за лето, но так же, как и Даша, точно погасла. Часто сестры говорили о том, что на них, да и на каждого теперь человека, легла, как жернов, тяжесть. Тяжело просыпаться, тяжело ходить, тяжело думать, встречаться с людьми; не дождешься — когда можно лечь в постель, и ложишься замученная, одна радость — заснуть, забыться. Вот Жилкины вчера позвали гостей на новое варенье, а за чаем приносят газету, — в списках убитых, — брат Жилкина: погиб на поле

славы. Хозяева ушли в дом, гости посидели на балконе в сумерках и разошлись молча. И так — повсюду. Жить стало дорого. Впереди неясно, уныло. Варшаву отдали. Брест-Литовск взорван и пал. Всюду шпионов ловят.

На реке Химке, в овраге, завелись разбойники. Целую неделю никто не ходил в лес, — боялись. Потом стражники выбили их из оврага, двоих взяли, третий ушел, перекинулся, говорят, в Звенигородский уезд очищать усадьбы.

Утром однажды на площадку близ смоковниковской дачи примчался, стоя в пролетке, извозчик. Было видно, как со всех сторон побежали к нему бабы, кухарки, ребятишки. Что-то случилось. Кое-кто из дачников вышел за калитку. Вытирая руки, протрусила через сад Матрена. Извозчик, красный, горячий, говорил, стоя в пролетке:

— …Вытащили его из конторы, раскачали — да об мостовую, да в Москву-реку, а на заводе еще пять душ скрывается — немцев… Троих нашли, — городовые отбили, а то быть им тем же порядком в речке… А по всей по Лубянской площади шелка, бархата так и летают. Грабеж по всему городу… Народу — тучи…

Он со всей силой хлестнул вожжами лихач-

кого жеребца, присевшего в выгнутых оглоблях — шалишь! — хлестнул еще, и захрапевший, в мыле, жеребец скачками понес по улице валкую пролетку, завернул к шинку.

Даша и Николай Иванович были в Москве. Оттуда в сероватую, раскаленную солнцем мглу неба поднимался черный столб дыма и стлался тучей. Пожар был хорошо виден с деревенской площади, где стояло кучками простонародье. Когда к ним подходили дачники, — разговоры замолкали: на господ поглядывали не то с усмешкой, не то со странным выжиданием. Появился плотный человек, без шапки, в рваной рубахе, и, подойдя к кирпичной часовенке, закричал:

— В Москве немцев режут!

И — только крикнул — заголосила беременная баба. Народ сдвинулся к часовне, побежала туда и Екатерина Дмитриевна. Толпа волновалась, гудела.

— Варшавский вокзал горит, немцы подожгли.

— Немцев две тысячи зарезали.

— Не две, а шесть тысяч, — всех в реку покидали.

— Начали-то с немцев, потом пошли подряд чистить. Кузнецкий мост, говорят, разнесли начисто.

— Так им и надо. Нажрались на нашем поте, сволочи!

— Разве народ остановишь, — народ остановить нельзя.

— В Петровском парке, ей-богу, не вру, — сестра сейчас оттуда прибежала, в парке, говорят, на одной даче нашли беспроволочный телеграф, и при нем двое шпионов с привязанными бородами, — убили, конечно, голубчиков.

— По всем бы дачам пойти, вот это дело!

Затем было видно, как под гору, к плотине, где проходила московская дорога, побежали девки с пустыми мешками. Им стали кричать вдогонку. Они, оборачиваясь, махали мешками, смеялись. Екатерина Дмитриевна спросила у благообразного древнего мужика, стоявшего около нее с высоким посохом:

— Куда это девки побежали?

— Грабить, милая барыня.

Наконец в шестом часу на извозчике из города приехали Даша и Николай Иванович. Оба были возбуждены и, перебивая друг друга, рассказывали, что по всей Москве народ собирается толпами и громит квартиры немцев и немецкие магазины. Несколько домов подожжены. Разграблен магазин готового платья Манделя. Разбит склад

беккеровских роялей на Кузнецком, их выкидывали из окон второго этажа и валили в костер. Лубянская площадь засыпана медикаментами и битым стеклом. Говорят — были убийства. После полудня пошли патрули, начали разгонять народ. Теперь все спокойно.

— Конечно, это варварство, — говорил Николай Иванович, от возбуждения мигая глазами, — но мне нравится этот темперамент, силища в народе. Сегодня разнесли немецкие лавки, а завтра баррикады, черт возьми, начнут строить. Правительство нарочно допустило этот погром. Да, да, я тебя уверяю, — чтобы выпустить излишек озлобления. Но народ через такие штуки получит вкус к чему-нибудь посерьезнее…

Этой же ночью у Жилкиных был очищен погреб, у Свечниковых сорвали с чердака белье. В шинке до утра горел свет. И спустя еще неделю на деревне перешептывались, поглядывали непонятно на гуляющих дачников.

В начале августа Смоковниковы переехали в город, и Екатерина Дмитриевна опять стала работать в лазарете. Москва в эту осень была полна беженцами из Польши. На Кузнецком, Петровке, Тверской нельзя было протолкаться. Магазины, кофейни, театры — полны, и повсюду было слыш-

но новорожденное словечко: «извиняюсь».

Вся эта суета, роскошь, переполненные театры и гостиницы, шумные улицы, залитые электрическим светом, были прикрыты от всех опасностей живой стеной двенадцатимиллионной армии, сочащейся кровью.

А военные дела продолжали быть очень неутешительными. Повсюду, на фронте и в тылу, говорили о злой воле Распутина, об измене, о невозможности далее бороться, если Николаугодник не выручит чудом.

И вот, во время уныния и развала, генерал Рузский неожиданно, в чистом поле, остановил наступление германских армий.

# 24

В осенние сумерки на морском побережье северо-восточный ветер гнул дугою голые тополя, потрясал рамы в старом, стоящем на холме, доме с деревянной башней, грохотал крышей так, что казалось, будто по железной крыше ходит тяжеловесный человек, дул в трубы, под двери, во все щели.

Из окон дома было видно, как на бурых плантажах мотались голые розы, как над изрытым свинцовым морем летят рваные тучи. Было холодно и скучно.

Аркадий Жадов сидел на ветхом диванчике, во втором этаже дома, в единственной обитаемой комнате. Пустой рукав его когда-то щегольского френча был засунут за пояс. Лицо с припухшими веками выбрито чисто, пробор тщательно приглажен, на скулах два двигающихся желвака.

Прищурив глаза от дыма папироски, Жадов пил красное вино, еще оставшееся в бочонках в погребе отцовского его дома. На другом конце диванчика сидела Елизавета Киевна, тоже пила вино и курила, кротко улыбаясь. Жадов приучил

ее молчать по целым дням, — молчать и слушать, когда он, вытянув бутылок шесть старого кабернэ, начнет высказываться. А мыслей у него за войну, за голодное сиденье в «Шато Кабернэ», полуразрушенном доме на двух десятинах виноградника — единственном достоянии, оставшемся у него после смерти отца, — жестоких мыслей у Жадова накопилось много.

Шесть месяцев тому назад в тыловом лазарете, в одну из скверных ночей, когда у Жадова ныла несуществующая, отрезанная рука, он сказал Елизавете Киевне с раздражением, зло и обидно:

— Чем таращиться на меня всю ночь влюбленными глазами, мешать спать, — позвали бы завтра попа, чтобы покончить эту канитель.

Елизавета Киевна побледнела, потом кивнула головой, — хорошо. В лазарете их обвенчали. В декабре Жадов эвакуировался в Москву, где ему сделали вторую операцию, а ранней весной они с Елизаветой Киевной приехали в Анапу и поселились в «Шато Кабернэ». Средств к жизни у Жадова не было никаких, деньжонки на хлеб добывались продажей старого инвентаря и домашней рухляди. Зато вина было вволю — любительского кабернэ, выдержанного за годы войны.

Здесь, в пустынном, полуразрушенном доме с

башней, засиженной птицами, наступило долгое и безнадежное безделье. Разговоры все давно переговорены. Впереди пусто. За Жадовыми словно захлопнулась дверь наглухо.

Елизавета Киевна пыталась заполнить собою пустоту мучительно долгих дней, но ей удавалось это плохо: в желании нравиться она была смешна, неряшлива и неумела. Жадов дразнил ее этим, и она с отчаянием думала, что, несмотря на широту мыслей, ужасно чувствительна как женщина. И все же ни за какую другую она не отдала бы эту нищую жизнь, полную оскорблений, засасывающей скуки, преклонения перед мужем и редких минут сумасшедшего восторга.

В последнее время, когда засвистала осень по голому побережью, Жадов стал особенно раздражителен: не пошевелись, — сейчас же у него вздергивалась губа над злыми зубами, и сквозь зубы, отчетливо рубя слова, он говорил ужасные вещи. Елизавета Киевна иногда только внутренне содрогалась, тело ее покрывалось гусиной кожей от оскорблений. И все же, по целым часам, не сводя глаз с красивого, осунувшегося лица Жадова, она слушала его бред.

Он посылал ее за вином в сводчатый кирпичный погреб, где бегали большие пауки. Там,

присев у бочки, глядя, как в глиняный кувшин бежит багровая струйка каберне, Елизавета Киевна давала волю мыслям. С упоительной горечью она думала, что Аркадий когда-нибудь убьет ее здесь, в погребе, и закопает под бочкой. Пройдет много зимних ночей. Он зажжет свечу и спустится сюда к паукам. Сядет перед бочкой и, глядя вот так же на струйку вина, вдруг позовет: «Лиза…» И только побегут пауки по стенам. И он зарыдает в первый раз в жизни от одиночества, от смертельной тоски. Так мечтая, Елизавета Киевна искупала все обиды, — в конце-то концов не он, а она возьмет верх.

Ветер усиливался. Дрожали стекла от его порывов. На башне заревел дикий голос и пошел реветь, видимо, на всю ночь. Ни одной звезды не зажигалось над морем.

Елизавета Киевна уже три раза спускалась в погреб, наполняла кувшин. Жадов продолжал сидеть неподвижно и молча. Надо было ждать сегодня в ночь особенных разговоров.

— Картошка хотя бы есть у нас? — неожиданно и громко проговорил Жадов. — Ты, кажется, могла бы заметить, что я не ел со вчерашнего дня.

Елизавета Киевна обмерла. Картошка, картошка… С утра она так была занята своими мыслями,

отношением к ней Аркадия, что не подумала об ужине. Она рванулась с диванчика.

— Сядь, неряха, — ледяным голосом сказал Жадов, — я и без тебя знаю, что картошки у нас нет. Должен тебе сообщить, что ты в жизни ни на что не способна, кроме как думать всевозможную чепуху.

— Я сбегаю к соседям, можно обменять на вино несколько хлеба и картошки.

— Ты это сделаешь, когда я кончу говорить. Сядь. Сегодня мною окончательно решен вопрос о допустимости преступления. (При этих словах Елизавета Киевна запахнула шаль, ушла в угол дивана.) С детства меня занимал этот вопрос. Женщины, с которыми я встречался, считали меня преступником и с особенной жадностью отдавались мне. Но идея преступности мною разрешена только в истекшие сутки.

Он потянулся за стаканом, жадно выпил вино, закурил папиросу.

— Я сижу в окопах, в трехстах шагах от неприятеля. Почему я не вылезаю через бруствер, не иду в неприятельскую траншею, не убиваю там, кого мне нужно, не граблю деньги, одеяла, кофе и табак? Если бы я был уверен, что в меня не станут стрелять или станут, но не попадут, — то, разуме-

ется, я пошел бы, убил и ограбил. И мой портрет, как героя, напечатали бы в газетах. Кажется — ясно, логично. Теперь, если я сижу не в траншеях, а в шести верстах от Анапы, в «Шато Кабернэ», то почему не иду ночью в город, не взламываю ювелирный магазин Муравейчика, не беру себе камни и золото, а если подвертывается сам Муравейчик, то и его с удовольствием — клинком вот сюда. — Он твердо показал пальцем на то место, где начинается шея. — Почему я этого до сих пор не делаю? Тоже только потому, что боюсь. Арест, суд, казнь. Кажется, я логично говорю? Вопрос об убийстве и ограблении врага решен государственной властью, то есть высочайше установленной моралью, то есть сводом уголовных и гражданских законов, в положительном смысле. Стало быть, вопрос сводится к моему личному ощущению, кого я считаю своим врагом.

— Там — враг государства, а здесь только твой враг, — едва слышно проговорила Елизавета Киевна.

— Поздравляю, вы мне еще о социализме что-нибудь расскажите. Чушь! В основе морали положено право личности, а не коллектив. Я утверждаю, — мобилизация блестяще удалась во всех странах, и война идет третий год пол-

ным ходом, сколько бы там ни протестовал папа римский, — только потому, что мы все, каждая личность, выросли из детских пеленок. Мы хотим, а если прямо и не хотим, то ничего не имеем против убийства и грабежа. Убийство и грабеж организованы государством. Дурачки, соплячки продолжают называть убийство и грабеж убийством и грабежом. Я же отныне называю это полным осуществлением права личности. Тигр берет то, что хочет. Я выше тигра. Кто смеет ограничить мои права? Свод законов? Его съели черви.

Жадов подобрал ноги, легко поднялся и зашагал по комнате, едва освещенной сквозь грязные стекла тусклой полосой заката.

— Миллиард людей находится в состоянии военного действия, пятьдесят миллионов мужчин дерутся на фронтах. Они организованы и вооружены. Пока они представляют собою два враждебных коллектива. Но им ничто не мешает в один прекрасный день прекратить стрельбу и соединиться. И это будет тогда, когда какой-нибудь человек скажет тому пятидесятимиллионному коллективу: «Болваны, стреляете не по той цели». Война должна кончиться бунтом, революцией, мировым пожаром. Штыки

обратятся внутрь стран. Коллектив окажется хозяином жизни. На трон посадят нищего в гноище и ему преклонятся. Пусть будет так. Но тем более у меня развязаны руки для борьбы. Там — закон масс, здесь — закон личности, обнаженной личности на полном дыхании. Вы — социализм, а мы — закон джунглей, а мы — организованную железной дисциплиной, священную анархию.

У Елизаветы Киевны безумно билось сердце. Это были именно те самые «бездны», о которых она мечтала когда-то на квартире у Телегина. Но уже не веселенькие шуточки в виде двенадцати пунктов «самопровокации», вывешиваемых на Лизиной двери телегинскими жильцами… Сейчас, в сумерках, мимо окон ходил человек, действительно страшный, как пума в клетке. Он и разговаривал только оттого, что был не на свободе. Вслушиваясь в его слова, Елизавета Киевна чувствовала, почти видела какую-то бешеную скачку коней, — степи, зарева… Она почти слышала крики, шум битвы, смертельные вопли, степные песни.

# 25

Среди всеобщего уныния и безнадежных ожиданий в начале зимы 16-го года русские войска, прорывая глубокие туннели в снегах, карабкаясь по обледенелым скалам, неожиданно взяли штурмом крепость Эрзерум. Это было в то время, когда англичане терпели военные неудачи в Месопотамии и под Константинополем, когда на Западном фронте шла упорная борьба за домик паромщика на Изере, когда отвоевание нескольких метров земли, густо политой кровью, уже считалось победой, о которой по всему свету торопливо бормотала Эйфелева башня.

На австрийском фронте русские армии, под командой генерала Брусилова, так же неожиданно перешли в решительное наступление.

Произошел международный переполох. В Англии выпустили книгу о загадочной русской душе. Действительно, противно логическому смыслу, после полутора лет войны, разгрома, потери восемнадцати губерний, всеобщего упадка духа, хозяйственного разорения и политического развала Россия снова устремилась в наступление

по всему своему трехтысячеверстному фронту. Поднялась обратная волна свежей и точно неистощенной силы.

Сотнями тысяч потянулись пленные в глубь России. Австрии был нанесен смертельный удар, после которого она через два года легко, как глиняный горшок, развалилась на части. Германия тайно предлагала мир. Рубль поднялся. Снова воскресли надежды военным ударом окончить мировую войну. «Русская душа» стала чрезвычайно популярна. Русскими дивизиями грузились океанские пароходы. Орловские, тульские, рязанские мужики распевали «соловья-пташечку» на улицах Салоник, Марселя, Парижа и бешено ходили в штыковые атаки, спасая европейскую цивилизацию.

Все лето шло наступление. Призывались все новые годы запасных. Сорокатрехлетних мужиков брали с поля, с работ. По всем городам формировались пополнения. Число мобилизованных подходило к двадцати четырем миллионам. Над Германией, над всей Европой нависала древним ужасом туча азиатских полчищ.

Москва сильно опустела за это лето, — война, как насосом, выкачала мужское население. Николай Иванович уехал на фронт, в Минск. Даша и

Катя жили в городе тихо и уединенно, — работы было много. Получались иногда коротенькие и грустные открытки от Телегина, — он, оказывается, пытался бежать из плена, но был пойман и переведен в крепость.

Одно время к сестрам ходил очень милый человек, капитан Рощин, откомандированный в Москву для приема снаряжения. Его однажды привез к обеду Николай Иванович из Городского союза на своем автомобиле. С тех пор Рощин стал захаживать.

Каждый вечер, в сумерки, раздавался на парадном звонок. Екатерина Дмитриевна сейчас же осторожно вздыхала и шла к буфету — положить варенье в вазочку или нарезать к чаю лимон. Даша заметила, что, когда вслед за звонком в столовой появлялся Рощин, Катя не сразу оборачивала к нему голову, а минуточку медлила, потом на губах у нее появлялась обычная, нежная улыбка. Вадим Петрович Рощин молча кланялся. Он был худощавый, с темными невеселыми глазами, с обритым ладным черепом… Не спеша, присев к столу, он тихим голосом рассказывал военные новости. Катя, притихнув за самоваром, глядела ему в лицо, а по глазам ее, с большими зрачками, было видно, что она слушает его осо-

бенно. Встречаясь с ее взглядом, Рощин слегка как будто хмурился. Вздрагивали под столом его шпоры. Иногда за столом наступало долгое молчание, и вдруг Катя вздыхала и, покраснев, виновато улыбалась. Часам к одиннадцати Рощин поднимался, целовал руку Кате — почтительно, Даше — рассеянно, и уходил, прося не провожать его до прихожей. По пустой улице долго слышались его твердые шаги. Катя перетирала чашки, запирала буфет и, все так же, не сказав ни слова, уходила к себе и поворачивала в двери ключ.

Однажды, на закате, Даша сидела у раскрытого окна. Над улицей высоко летали стрижи. Даша слушала их тонкие стеклянные голоса и думала, что завтра будет жаркий и ясный день, если стрижи высоко, и что стрижи ничего не знают о войне, — счастливые птицы.

Солнце закатилось, и над городом стояла золотистая пыль. В сумерках у ворот и подъездов сидели люди. Было грустно, и Даша ждала, и вот невдалеке вековечной, мещанской вечерней скукой заиграла шарманка. Даша облокотилась о подоконник. Высокий, до самых чердаков, женский голос пел: «Сухою корочкой питалась, студеную воду я пила…»

Сзади к Дашиному креслу подошла Катя и тоже,

должно быть, слушала, не двигаясь.

— Катюша, как поет хорошо.

— За что? — проговорила вдруг Катя низким и диким каким-то голосом. — За что нам это послано? Чем мы виноваты? Когда кончится это, — ведь буду старухой, ты поняла? Я не могу больше, не могу, не могу!.. — Она, задыхаясь, стояла у стены, у портьеры, бледная, с выступившими у рта морщинками, глядела на Дашу сухими, потемневшими глазами. — Не могу больше, не могу! — повторяла она тихо и хрипло. — Это никогда не кончится!.. Мы умираем… мы никогда больше не узнаем радости… Ты слышишь, как она воет? Заживо хоронит…

Даша обхватила сестру, гладила ее, хотела успокоить, но Катя подставляла локти, отстранялась.

В прихожей позвонили. Катя отстранила сестру и глядела на дверь. Вошел Рощин в грубой суконной рубашке, в новых смазных сапогах. Усмехнувшись, он поздоровался с Дашей, подал руку Кате и вдруг удивленно взглянул на нее и нахмурился. Даша сейчас же ушла в столовую. Ставя чайную посуду на стол, она услышала, как Катя сдержанно, но тем же низким и хриплова-тым голосом спросила у Рощина:

— Вы уезжаете?

Покашляв, он ответил сухо:

— Да.

— Завтра?

— Нет, через час с четвертью.

— Куда?

— В действующую армию. — И затем, после некоторого молчания, он заговорил: — Дело вот в чем, Екатерина Дмитриевна, мы видимся, очевидно, в последний раз, и я решился сказать…

Катя перебила его поспешно:

— Нет, нет… Я все знаю… И вы тоже знаете обо мне…

— Екатерина Дмитриевна, вы…

Отчаянным голосом Катя крикнула:

— Да, видите сами!.. Умоляю вас — уходите…

У Даши в руках задрожала чашка. Там, в гостиной, молчали. Наконец Катя проговорила совсем тихо:

— Уходите, Вадим Петрович…

— Прощайте.

Он вздохнул коротко. Проскрипели его смазные сапоги, хлопнула парадная дверь. Катя вошла в столовую, села у стола, изо всей силы прижала к лицу руки.

С тех пор об уехавшем она не говорила ни слова. Катя мужественно переносила боль, хотя по

утрам вставала с покрасневшими глазами, с припухшим ртом. Рощин прислал с дороги открытку — поклон сестрам, — письмецо положили на камин, где его засидели мухи.

Каждый вечер сестры ходили на Тверской бульвар — слушать музыку, садились на скамью и глядели, как под деревьями гуляют девушки и подростки в белых, розовых платьях, — очень много женщин и детей; реже проходил военный, с подвязанной рукой, или инвалид на костыле. Духовой оркестр играл вальс «На сопках Маньчжурии». Ту, ту, ту, — печально пел трубный звук, улетая в вечернее небо. Даша брала Катину слабую, худую руку.

— Катюша, Катюша, — говорила она, глядя на свет заката, проступающий между ветвями, — ты помнишь:

*О любовь моя незавершенная,*

*В сердце холодеющая нежность…*

Я верю, — если мы будем мужественны, мы доживем — когда можно будет любить не мучаясь… Ведь мы знаем теперь, — ничего на свете нет выше любви. Мне иногда кажется, — приедет из плена Иван Ильич и будет совсем иной, новый. Сейчас я люблю его одиноко, бесплотно. И мы

встретимся так, точно мы любили друг друга в какой-то другой жизни.

Прислонившись к ее плечу, Екатерина Дмитриевна говорила:

— А у меня, Данюша, такая горечь, такая темнота на сердце, совсем оно стало старое. Ты увидишь хорошие времена, а уж я не увижу, отцвела пустоцветом.

— Катюша, стыдно так говорить.

— Нет, девочка, нужно быть мужественной.

В один из таких вечеров на скамейку, на другой ее конец, сел какой-то военный. Оркестр играл старый вальс. За деревьями зажглись неяркие огни фонарей. Сосед по скамейке глядел так пристально, что Даше стало неловко шее. Она обернулась и вдруг испуганно, негромко воскликнула:

— Нет!

Рядом с ней сидел Бессонов, тощий, облезлый, в мешком висящем френче, в фуражке с красным крестом. Поднявшись, он молча поздоровался. Даша сказала: «Здравствуйте», — и поджала губы. Екатерина Дмитриевна отклонилась на спинку скамьи, в тень Дашиной шляпы, и закрыла глаза. Бессонов был не то весь пыльный, не то немытый — серый.

— Я видел вас на бульваре вчера и третьего дня, — сказал он Даше, поднимая брови, — но подойти не решался… Уезжаю воевать. Вот видите, — и до меня добрались.

— Как же вы едете воевать, вы же в Красном Кресте? — сказала Даша с внезапным раздражением.

— Положим, опасность сравнительно, конечно, меньшая. А впрочем, мне глубоко все безразлично, — убьют, не убьют… Скучно, скучно, Дарья Дмитриевна. — Он поднял голову и поглядел ей на губы тусклым взглядом. — Так скучно от всех этих трупов, трупов, трупов…

Катя спросила, не открывая глаз:

— Вам скучно от этого?

— Да, весьма скучно, Екатерина Дмитриевна. Раньше оставалась еще кое-какая надежда… Ну, а после этих трупов и трупов надвинулась последняя ночь… Трупы и кровь, хаос. Так вот… Дарья Дмитриевна, я, строго говоря, подсел к вам для того, чтобы попросить пожертвовать мне полчаса времени.

— Зачем? — Даша глядела ему в лицо, чужое, нездоровое, и вдруг ей показалось с такой ясностью, что закружилась голова, — этого человека она видит в первый раз.

— Я много думал над тем, что было в Крыму, — проговорил Бессонов, морщась. — Я бы хотел с вами побеседовать, — он медленно полез в боковой карман френча за портсигаром, — я бы хотел рассеять некоторое невыгодное впечатление…

Даша прищурилась, — ни следа на этом противном лице волшебства. И она сказала твердо:

— Мне кажется, — нам не о чем говорить с вами. — И отвернулась. — Прощайте, Алексей Алексеевич.

Бессонов скривился усмешкой, приподнял картуз и отошел прочь. Даша глядела на его слабую спину, на слишком широкие штаны, точно готовые свалиться, на тяжелые пыльные сапоги, — неужели это был тот Бессонов — демон ее девичьих ночей?

— Катюша, посиди, я сейчас, — проговорила она поспешно и побежала за Бессоновым. Он свернул в боковую аллею. Даша, запыхавшись, догнала его и взяла за рукав. Он остановился, обернулся, глаза его, как у больной птицы, стали прикрываться веками.

— Алексей Алексеевич, не сердитесь на меня.

— Я-то не сержусь, вы сами не пожелали со мной разговаривать.

— Нет, нет, нет… Вы не так меня поняли… Я к

вам ужасно хорошо отношусь, я вам хочу всякого добра… Но о том, что было, не стоит вспоминать, прежнего ничего не осталось… Я чувствую себя виноватой, мне вас жалко…

Он поднял плечи, с усмешкой поглядел мимо Даши на гуляющих.

— Благодарю вас за жалость.

Даша вздохнула, — если бы Бессонов был маленьким мальчиком, — она повела бы его к себе, вымыла теплой водой, накормила бы конфетками. А что она поделает с этим, — сам себе выдумал муку и мучается, сердится, обижается.

— Алексей Алексеевич, если хотите, — пишите мне каждый день, я буду отвечать, — сказала Даша, глядя ему в лицо как можно добрее.

Он откинул голову, засмеялся деревянным смехом:

— Благодарю… Но у меня отвращение к бумаге и чернилам… — сморщился, точно хлебнул кислого. — Либо вы — святая, Дарья Дмитриевна, либо вы дура… Вы — адская мука, посланная мне заживо, поняли?

Он сделал усилие отойти, но точно не мог оторвать ног. Даша стояла, опустив голову, — она все поняла, ей было печально, но на сердце холодно. Бессонов глядел на ее склоненную шею, на нетро-

нутую, нежную грудь, видную в прорезе белого платья, и думал, что, конечно, — это смерть.

— Будьте милосердны, — сказал он простым, тихим, человеческим голосом.

Она, не поднимая головы, прошептала сейчас же: «Да, да», и прошла между деревьями. В последний раз Бессонов отыскал взглядом в толпе ее светловолосую голову, — она не обернулась. Он положил руку на дерево, вцепился пальцами в зеленую кору — земля, последнее прибежище, уходила из-под ног.

# 26

Тусклым шаром над торфяными пустынными болотами висела луна. Курился туман по канавам брошенных траншей. Повсюду торчали пни, кое-где чернели низкорослые сосны. Было влажно и тихо. По узкой гати медленно, лошадь за лошадью, двигался санитарный обоз. Полоса фронта была всего верстах в трех за зубчатым очертанием леса, откуда не доносилось ни звука.

В одной из телег в сене навзничь лежал Бессонов, прикрывшись попоной, пахнущей лошадиным потом. Каждую ночь с закатом солнца у него начиналась лихорадка, постукивали зубы от озноба, все тело точно высыхало, и в мозгу с холодным кипением проходили ясные, легкие, пестрые мысли. Это было дивное ощущение потери телесной тяжести.

Натянув попону до подбородка, Алексей Алексеевич глядел в мглистое, лихорадочное небо, — вот он — конец земного пути: мгла, лунный свет и, точно колыбель, качающаяся телега; так, обогнув круг столетий, снова скрипят скифские колеса. А все, что было, — сны: огни Петербурга, строгое

великолепие зданий, музыка в сияющих теплых залах, обольщение взвивающегося театрального занавеса, обольщение снежных ночей, женских рук, раскинутых на подушках, — темных, безумных зрачков… Волнения славы… Упоение славы… Полусвет рабочей комнаты, восторгом бьющееся сердце и упоение рождающихся слов… Девушка с белыми ромашками, стремительно вошедшая из света прихожей в его темную комнату, в его жизнь… Все это сны… Качается телега… Сбоку идет мужик в картузе, надвинутом на глаза: две тысячи лет он шагает сбоку телеги… Вот оно, раскрытое в лунной мгле, бесконечное пространство времени… Из темноты веков надвигаются тени, слышно, — скрипят телеги, черными колеями бороздят мир. А там, в тусклом тумане, — торчащие печные трубы, среди пожарищ дымы до самого неба и скрип и грохот колес. И скрип и грохот громче, шире, все небо полно душу потрясающим гулом…

Вдруг телега остановилась. Сквозь гул, наполняющий белесую ночь, слышались испуганные голоса обозных. Бессонов приподнялся. Невысоко над лесом, в свете луны, плыла длинная, поблескивающая гранями, колонна — повернулась, блеснула, ревя моторами, и из брюха ее появился

узкий синевато-белый луч света, побежал по болоту, по пням, по сваленным деревьям, по ельнику и уперся в шоссе, в телеги.

Сквозь гул послышались слабые звуки, точно быстро застучал метроном… С телег посыпались люди. Санитарная двуколка повернула на болото и опрокинулась… И вот, в ста шагах от Бессонова, на шоссе вспыхнул ослепительный куст света, черной кучей поднялась на воздух лошадь, телега, взвился огромный столб дыма, и грохотом и вихрем раскидало весь обоз. Лошади с передками поскакали по болоту, побежали люди. Телегу, где лежал Бессонов, дернуло, повалило, и Алексей Алексеевич покатился под шоссе в канаву, — в спину ему ударило тяжелым мешком, завалило соломой.

Цеппелин бросил вторую бомбу, затем гул моторов его стал отдаляться и затих. Тогда Бессонов, охая, начал разгребать солому, с трудом выполз из навалившейся на него поклажи, отряхнулся и взобрался на шоссе. Здесь стояло несколько телег, боком, без передков; на болоте, закинув морду, лежала лошадь в оглоблях и, как заведенная, дергала задней ногой.

Бессонов потрогал лицо и голову, — около уха было липко, он приложил к царапине платок

и пошел по шоссе к лесу. От испуга и падения так дрожали ноги, что через несколько шагов пришлось присесть на кучу заскорузлого щебня. Хотелось выпить коньяку, но фляжка осталась с поклажей в канаве. Бессонов с трудом вытянул из кармана трубочку, спички и закурил, — табачный дым был горек и противен. Тогда он вспомнил о лихорадке, — дело плохо, во что бы то ни стало нужно дойти до леса, там, ему говорили, стоит батарея. Бессонов поднялся, но ноги совсем отнялись, как деревянные, едва двигались внизу живота. Он опять опустился на землю и стал их растирать, вытягивать, щипать и, когда почувствовал боль, поднялся и побрел.

Месяц теперь стоял высоко, дорога вилась во мгле через пустые болота, казалось, — не было ей конца. Положив руки на поясницу, пошатываясь, с трудом поднимая и волоча пудовые сапоги, Бессонов сам говорил с собой: «Тащись, тащись, покуда не переедут колесами… Писал стишки, соблазнял глупеньких женщин… Взяли тебя и вышвырнули, — тащись на закат, покуда не упадешь… Можешь протестовать, пожалуйста. Протестуй, вой… Попробуй, попробуй, закричи пострашнее, завой…»

Бессонов вдруг обернулся. С шоссе вниз скольз-

нула серая тень… Холодок прошел по спине. Он усмехнулся и, громко произнося отрывочные, бессмысленные фразы, опять двинулся посреди дороги… Потом осторожно оглянулся, — так и есть, шагах в пятидесяти за ним тащилась большеголовая, голенастая собака.

— Черт знает что такое! — пробормотал Бессонов. И пошел быстрее и опять поглядел через плечо. Собак было пять штук, они шли позади него гуськом, опустив морды, — серые, вислозадые. Бессонов бросил в них камешком: — Вот я вас!.. Пошли прочь, пакость…

Звери молча шарахнулись вниз, на болото. Бессонов набрал камней и время от времени останавливался и кидал их… Потом шел дальше, свистал, кричал: «Эй, эй…» Звери вылезали из-под шоссе и опять тащились за ним гуськом.

С боков дороги начался низкорослый ельник. И вот на повороте Бессонов увидал впереди себя человеческую фигуру. Она остановилась, вглядываясь, и медленно отступила в тень ельника.

— Черт! — прошептал Бессонов и тоже попятился в тень и стоял долго, стараясь преодолеть удары сердца.

Остановились и звери неподалеку. Передний лег, положил морду на лапы. Человек впереди не

двигался. Бессонов с отчетливой ясностью видел белое, как плева, длинное облако, находящее на луну. Затем раздался звук, иглой вошедший в мозг, — хруст сучка под ногой, должно быть, того человека. Бессонов быстро вышел на середину дороги и зашагал, с бешенством сжимая кулаки. Наконец направо он увидал его, — это был высокий солдат, сутулый, в накинутой шинели, длинное, безбровое лицо его было, как неживое, — серое, с полуоткрытым ртом. Бессонов крикнул:

— Эй, ты, какого полка?

— Со второй батареи.

— Поди проводи меня на батарею.

Солдат молчал, не двигаясь, — глядел на Бессонова мутным взором, потом повернул лицо налево:

— Это кто же энти-то?

— Собаки, — ответил Бессонов нетерпеливо.

— Ну, нет, это не собаки.

— Идем, поворачивайся, проводи меня.

— Нет, я не пойду, — сказал солдат тихо.

— Послушай, у меня лихорадка, пожалуйста, доведи меня, я тебе денег дам.

— Нет, я туда не пойду, — солдат повысил голос, — я дезертир.

— Дурак, тебя же поймают.

— Все может быть.

Бессонов покосился через плечо, — звери исчезли, должно быть, зашли в ельник.

— А далеко до батареи?

Солдат не ответил. Бессонов повернулся, чтобы идти, но солдат сейчас же схватил его за руку у локтя, крепко, точно клещами:

— Нет, вы туда не ходите…

— Пусти руку.

— Не пущу! — Не отпуская руки, солдат смотрел в сторону, повыше ельника. — Я третий день не евши… Давеча задремал в канаве, слышу — идут… Думаю, значит, часть идет. Лежу. Они идут, множество, — идут в ногу по шоссе. Что за история? Я из канавы гляжу — идут в саванах, — конца-краю нет… Как туман…

— Что ты мне говоришь? — закричал Бессонов диким голосом и рванулся.

— Говорю верно, а ты верь, сволочь!..

Бессонов вырвал руку и побежал, точно на ватных, не на своих ногах. Вслед затопал солдат сапожищами, тяжело дыша, схватил за плечо, Бессонов упал, закрыл шею и голову руками. Солдат, сопя, навалился, просовывая жесткие пальцы к горлу, — стиснул его и замер, застыл.

— Вот ты кто, вот ты кто оказался! — шептал солдат сквозь зубы. Когда по телу лежащего прошла длинная дрожь, оно вытянулось, опустилось, точно расплющилось в пыли, солдат отпустил его, встал, поднял картуз и, не оборачиваясь на то, что было сделано, пошел по дороге. Пошатнулся, мотнул головой и сел, опустив ноги в канаву. — Что ж теперь, куда ж теперь? — проговорил солдат про себя. — О, смерть моя!.. Жрите меня, сволочи…

# 27

Иван Ильич Телегин пытался бежать из концентрационного лагеря, но был пойман и переведен в крепость, в одиночное заключение. Здесь он замыслил второй побег и в продолжение шести недель подпиливал оконную решетку. В середине лета неожиданно всю крепость эвакуировали, и Телегин, как штрафной, попал в так называемую «Гнилую яму». Это было страшное и удручающее место: в широкой котловине на торфяном поле стояли четыре длинных барака, обнесенные колючей проволокой. Вдалеке, у холмов, где торчали кирпичные трубы, начиналась узкоколейка, ржавые рельсы тянулись через все болото и кончались неподалеку от бараков, у глубокой выемки — месте прошлогодних работ, на которых от тифа и дизентерии погибло более пяти тысяч русских солдат. На другой стороне буро-желтой равнины поднимались неровными зубцами лиловые Карпаты. На север от бараков, далеко по болоту, виднелось множество сосновых крестов. В жаркие дни над равниной поднимались испарения, жужжали оводы, солнце стояло

красновато-мутное, разлагая это безнадежное место.

Содержание здесь было суровое и голодное. Половина заключенных болела желудками, лихорадкой, нарывами, сыпью. Но все же в лагере было приподнятое настроение: Брусилов с сильными боями шел вперед, французы били немцев в Шампани и под Верденом, турки очищали Малую Азию. Конец войны, казалось, теперь уже по-настоящему недалек.

Но миновало лето, начались дожди. Брусилов не взял ни Кракова, ни Львова, затихли кровавые бои на французском фронте. Союз и Согласие зализывали раны. Ясно, что конец войны снова откладывался на будущую осень.

Вот тогда-то в «Гнилой яме» началось отчаяние. Сосед Телегина по нарам, Вискобойников, бросил вдруг бриться и умываться, целыми днями лежал на неприбранных нарах, не отвечая на вопросы. Иногда привставал и, ощерясь, с ненавистью скреб себя ногтями. На теле его то появлялись, то пропадали розовые лишаи. Ночью однажды он разбудил Ивана Ильича и глухим голосом проговорил:

— Телегин, ты женат?

— Нет.

— У меня жена и дочь в Твери. Ты их навести, слышишь!

— Перестань, спи.

— Я, братец мой, крепко засну.

Под утро, на перекличке, Вискобойников не отозвался. Его нашли в отхожем месте висящим на тонком ременном поясе. Весь барак заволновался. Заключенные теснились около тела, лежащего на полу. Фонарь освещал изуродованное гадливой мукой лицо и на груди, под разорванной рубашкой, следы расчесов. Свет фонаря был грязный, лица живых, нагнувшиеся над трупом, — опухшие, желтые, искаженные. Один из них, подполковник Мельшин, обернулся в темноту барака и громко сказал:

— Что же, товарищи, молчать будем?

По толпе, по нарам прошел глухой ропот. Входная дверь бухнула, появился австрийский офицер, комендант лагеря, толпа раздвинулась, пропустила его к мертвому телу, и сейчас же раздались резкие голоса:

— Молчать не будем!

— Замучили человека!

— У них система!

— Я сам заживо гнию!

— Мы не каторжники.

— Мало вас били, окаянных…

Поднявшись на цыпочки, комендант крикнул:

— Молчать! Все по местам! Русские свиньи!

— Что?.. Что он сказал?..

— Мы русские свиньи?!

Сейчас же к коменданту протиснулся коренастый человек, заросший спутанной бородой, штабс-капитан Жуков. Поднеся короткий палец к самому лицу австрийского офицера, он закричал рыдающим голосом:

— А вот кукиш мой видел, сукин ты сын, это ты видел? — И, замотав косматой головой, схватил коменданта за плечи, бешено затряс его, повалил и навалился.

Офицеры, тесно сгрудясь над борющимися, молчали. Но вот послышались хлюпающие по доскам шаги бегущих солдат, и комендант закричал: «На помощь!» Тогда Телегин растолкал товарищей и, говоря: «С ума сошли, он же его задушит!» — обхватил Жукова за плечи и оттащил от австрийца. «Вы негодяй!» — крикнул он коменданту по-немецки. Жуков тяжело дышал. «Пусти, я ему покажу — свиньи», — проговорил он тихо. Но комендант уже поднялся, надвинул смятую кепи, быстро и пристально, точно запоминая, взглянул в лицо Жукову, Телегину, Мельшину

и еще двум-трем стоявшим около них и, твердо звякая шпорами, пошел прочь из барака. Дверь сейчас же заперли, у входа поставили часовых.

В это утро не было ни переклички, ни барабана, ни желудевого кофе. Около полудня в барак вошли солдаты с носилками и вынесли тело Вискобойникова. Дверь опять была заперта. Заключенные разбрелись по нарам, многие легли. В бараке стало совсем тихо, — дело было ясное: бунт, покушение и — военный суд.

Иван Ильич начал этот день, как обычно, не отступая ни от одного из им самим предписанных правил, которые строго соблюдал вот уже больше года: в шесть утра накачал в ведро коричневую воду, облился, растерся, проделал сто одно гимнастическое движение, следя за тем, чтобы хрустели мускулы, оделся, побрился и, так как кофе сегодня не было, натощак сел за немецкую грамматику.

Самым трудным и разрушающим в плену было физическое воздержание. На этом многие пошатнулись: один вдруг начинал пудриться, подмазывать глаза и брови, шушукался целыми днями с таким же напудренным молодцом, другой — сторонился товарищей, валялся, завернувшись с головой в тряпье, немытый, неприбранный,

иной принимался сквернословить, приставать ко всем с чудовищными рассказами и, наконец, выкидывал что-нибудь столь неприличное, что его увозили в лазарет.

От всего этого было одно спасение — суровость. За время плена Телегин стал молчалив, тело его, покрытое броней мускулов, подсохло, стало резким в движениях, в глазах появился холодный, упрямый блеск, — в минуту гнева или решимости они были страшны.

Сегодня Телегин тщательнее, чем обычно, повторил выписанные с вечера немецкие слова и раскрыл истрепанный томик Шпильгагена. На нары к нему присел Жуков. Иван Ильич, не оборачиваясь, продолжал читать вполголоса. Вздохнув, Жуков проговорил:

— Я на суде, Иван Ильич, хочу сказать, что я сумасшедший.

Телегин быстро взглянул на него. Розовое добродушное лицо Жукова с широким носом, кудрявой бородой, с мягкими, теплыми губами, видными сквозь заросли спутанных усов, было опущено, виновато; светлые ресницы часто мигали.

— Дернуло с этим кукишем проклятым совать-ся, — сам теперь не пойму, что я и доказать-то хотел. Иван Ильич, я понимаю, — виноват, ко-

нечно… Выскочил, подвел товарищей… Я так решил, — скажусь сумасшедшим… Вы одобряете?

— Слушайте, Жуков, — ответил Иван Ильич, закладывая пальцем книгу, — несколько человек из нас во всяком случае расстреляют… Вы это знаете?

— Да, понимаю.

— Не проще ли будет не валять дурака на суде… Как вы думаете?..

— Так-то оно так, конечно.

— Никто из товарищей вас не винит. Только цена за удовольствие набить австрияку морду слишком уж высока.

— Иван Ильич, а мне-то самому каково — подвести товарищей под суд! — Жуков замотал волосатой головой. — Хоть бы они, сволочи, меня одного закатали.

Он долго еще говорил в том же роде, но Телегин уже не слушал его, продолжая читать Шпильгагена. Затем встал и, потянувшись, хрустнул мускулами. В это время с треском распахнулась наружная дверь, и вошли четыре солдата с примкнутыми штыками, встали по сторонам двери, брякнули затворами винтовок; вошел фельдфебель, мрачный человек с повязкой на

глазу, оглянул барак и глухим, свирепым голосом крикнул:

— Штабс-капитан Жуков, подполковник Мельшин, подпоручик Иванов, подпоручик Убейко, прапорщик Телегин…

Названные подошли. Фельдфебель внимательно оглянул каждого, солдаты окружили их и повели из барака через двор к дощатому домику — комендантской. Здесь стоял недавно прибывший военный автомобиль. Колючие рогатки, закрывающие проезд через проволоку на дорогу, были раздвинуты. Около полосатой будки неподвижно стоял часовой. В автомобиле, завалившись на сиденье у руля, сидел шофер, мальчишка с припухшими глазами. Телегин тронул локтем идущего рядом с ним Мельшина:

— Умеете управлять машиной?

— Умею, а что?

— Молчите.

Их ввели в комендантскую. За сосновым столом, прикрытым розовой промокательной бумагой, сидело трое приехавших австрийских обер-офицеров. Один, иссиня-выбритый, с багровыми пятнами на толстых щеках, курил сигару. Телегин заметил, что он не взглянул даже на вошедших, — руки его лежали на столе, пальцы

сунуты в пальцы, толстые и волосатые, глаз прищурен от сигарного дыма, воротник врезался в шею. «Этот уже решил», — подумал Телегин.

Другой судья, председательствующий, был худой старик с длинным грустным лицом, в редких и чисто промытых морщинах, с пушисто-белыми усами. Бровь его была приподнята моноклем. Он внимательно оглядел обвиняемых, перевел большой сквозь стекло серый глаз на Телегина, — глаз был ясный, умный и ласковый, — усы у него вздрогнули.

«Совсем плохо», — подумал Иван Ильич и взглянул на третьего судью, перед которым лежали черепаховые очки и четвертушка мелко исписанной бумаги. Это был приземистый, землисто-желтый человек с жесткими волосами ежиком, с большими, как пельмени, ушами. По всему было видно, что это служака из неудачников.

Когда подсудимые выстроились перед столом, он не спеша надел круглые очки, разгладил исписанный листок сухонькой ладонью и неожиданно, широко открыв желтые вставные зубы, начал читать обвинительный акт.

Сбоку стола, сдвинув брови, сжав рот, сидел пострадавший комендант. Телегин напрягал

внимание, чтобы вслушаться в слова обвинения, но, помимо воли, мысль его остро и торопливо работала в ином направлении.

«…Когда тело самоубийцы было внесено в барак, несколько русских, воспользовавшись этим, чтобы возбудить своих товарищей к открытому неповиновению власти, начали выкрикивать бранные и возмутительные выражения, угрожающе потрясая кулаками. Так, в руках подполковника Мельшина оказался раскрытый перочинный нож…»

Через окно Иван Ильич видел, как мальчик-шофер ковырял пальцем в носу, потом повернулся бочком на сиденье и надвинул на лицо огромный козырек фуражки. К автомобилю подошли два низкорослых солдата в накинутых на плечи голубых капотах, постояли, поглядели: один, присев, потрогал пальцем шину. Затем оба они повернулись, — во двор въезжала кухня; из трубы ее мирно шел дымок. Кухня повернула к казармам, куда лениво побрели и солдаты. Шофер не поднял головы, не обернулся, — значит, заснул. Телегин, кусая от нетерпения губы, опять стал вслушиваться в скрипучий голос обвинителя:

«…Вышеназванный штабс-капитан Жуков, с явным намерением угрожая жизни господи-

на коменданта, предварительно показал ему пять сложенных пальцев, причем пятый торчал между указательным и средним; этот отвратительный жест, очевидно, имел целью опорочить честь императорского королевского мундира...»

При этих словах комендант поднялся и, покрывшись багровыми пятнами, подробно начал объяснять судьям малопонятную историю с пальцами штабс-капитана. Сам Жуков, плохо понимая по-немецки, изо всей мочи вслушивался, порывался вставить словечко, с доброй, виноватой улыбкой оглядывался на товарищей и, не выдержав, проговорил по-русски, обращаясь к обвинителю:

— Господин полковник, позвольте доложить — я ему говорю: за что вы нас, за что?.. По-немецки не знаю, как выразиться, значит, пальцами ему показываю.

— Молчите, Жуков, — сказал Иван Ильич сквозь зубы.

Председатель постучал карандашом. Обвинитель продолжал чтение.

Описав, каким образом и за какое именно место Жуков схватил коменданта и, «опрокинув его навзничь, надавливал ему большими пальцами на горло с целью причинить смерть», полков-

ник перешел к наиболее щекотливому месту обвинения:

«Русские толчками и криками подстрекали убийцу: один из них, именно прапорщик Иоганн Телегин, услышав шаги бегущих солдат, бросился к месту происшествия, отстранил Жукова, и только одна секунда отделяла господина коменданта от смертельной развязки». — В этом месте обвинитель, приостановившись, самодовольно улыбнулся. — «Но в эту секунду появились дежурные нижние чины, и прапорщик Телегин успел только крикнуть своей жертве: „Негодяй“.

За этим следовал остроумный психологический разбор поступка Телегина, «как известно, дважды пытавшегося бежать из плена…». Полковник безусловно обвинял Телегина, Жукова и Мельшина, который подстрекал к убийству, размахивая перочинным ножом. Чтобы обострить силу обвинения, полковник даже выгородил Иванова и Убейко, «действовавших в состоянии умоисступления».

По окончании чтения комендант подтвердил, что именно так все и было. Допросили солдат; они показали, что первые трое обвиняемых действительно виновны, про вторых двух — ничего не могут знать. Председательствующий, потерев

худые руки, предложил Иванова и Убейко от обвинения освободить за недоказанностью улик. Багровый офицер, докуривший до губ сигару, кивнул головой; обвинитель, после некоторого колебания, тоже согласился. Тогда двое из конвойных вскинули ружья. Телегин сказал: «Прощайте, товарищи». Иванов опустил голову, Убейко молча, с ужасом взглянул на Ивана Ильича.

Их вывели, и председательствующий предоставил слово обвиняемым.

— Считаете вы себя виновным в подстрекательстве к бунту и в покушении на жизнь коменданта лагеря? — спросил он Телегина.

— Нет.

— Что же именно вы желаете сказать по этому поводу?

— Обвинение, от первого до последнего слова, — чистая ложь.

Комендант с бешенством вскочил, требуя объяснения, председательствующий знаком остановил его.

— Больше вы ничего не имеете прибавить к вашему заявлению?

— Никак нет.

Телегин отошел от стола и пристально посмотрел на Жукова. Тот покраснел, засопел и на

вопросы повторил слово в слово все, сказанное Телегиным. Так же ответил и Мельшин. Председательствующий выслушал ответы, устало закрыл глаза. Наконец судьи поднялись и удалились в соседнюю комнату, где в дверях багровый офицер, шедший последним, выплюнул докуренную до губ сигару и, подняв руки, сладко потянулся.

— Расстрел, — я это понял, как мы вошли, — сказал Телегин вполголоса и обратился к конвойному: — Дайте мне стакан воды.

Солдат торопливо подошел к столу и, придерживая винтовку, стал наливать из графина мутную воду. Иван Ильич быстро, в самое ухо, прошептал Мельшину:

— Когда нас выведут, постарайтесь завести мотор.

— Понял.

Через минуту появились судьи и заняли прежние места. Председательствующий не спеша снял монокль и, близко держа перед глазами слегка дрожащий клочок бумаги, прочел краткий приговор, по которому Телегин, Жуков и Мельшин приговаривались к смертной казни через расстрел.

Когда были произнесены эти слова, Иван Ильич, хотя и был уверен в приговоре, все же

почувствовал, как кровь отлила от сердца, Жуков уронил голову, Мельшин, крепкий, широкий, с ястребиным носом, — медленно облизнул губы.

Председательствующий потер уставшие глаза, затем, прикрыв их ладонью, проговорил отчетливо, но тихо:

— Господину коменданту поручается привести приговор в исполнение немедленно.

Судьи встали. Комендант одну еще секунду сидел, вытянувшись, бледный до зелени в лице. Он встал, одернул чистенький мундир и преувеличенно резким голосом скомандовал двоим оставшимся солдатам вывести приговоренных. В узких дверях Телегин замешкался и дал возможность Мельшину выйти первым. Мельшин, будто теряя силы, схватил конвойного за руку и забормотал заплетающимся языком:

— Пойдем, пойдем, пожалуйста, недалеко, вот еще немножечко… Живот болит, мочи нет…

Солдат в недоумении глядел на него, упирался, испуганно оборачивался, не понимая, как ему в этом непредвиденном случае поступить. Но Мельшин уже дотащил его до передней части автомобиля и присел на корточках, гримасничая, причитывая, хватаясь дрожащими пальцами то за пуговицы своей одежды, то за ручку автомо-

биля. По лицу конвойного было видно, что ему жалко и противно.

— Живот болит, ну, садись, — проворчал он сердито, — живее!

Но Мельшин вдруг с бешеной силой закрутил ручку стартера. Солдат испуганно нагнулся к нему, оттаскивая. Мальчик-шофер проснулся, крикнул что-то злым голосом, выскочил из автомобиля. Все дальнейшее произошло в несколько секунд. Телегин, стараясь держаться ближе ко второму конвойному, наблюдал исподлобья за движениями Мельшина. Раздалось пыхтенье мотора, и в такт этим резким, изумительным ударам забилось сердце.

— Жуков, держи винтовку! — крикнул Телегин, обхватывая своего конвойного поперек туловища, поднял его на воздух, с силой швырнул о землю и в несколько прыжков достиг автомобиля, где Мельшин боролся с солдатом, вырывая винтовку. Иван Ильич с налета ударил солдата кулаком в шею, — тот ахнул и сел. Мельшин кинулся к рулю машины, нажал рычаги. Иван Ильич отчетливо увидел Жукова, лезущего с винтовкой в автомобиль, мальчишку-шофера, крадущегося вдоль стены и вдруг шмыгнувшего в дверь комендантской, в окне длинное искажен-

ное лицо с моноклем, выскочившую на крыльцо фигурку коменданта, револьвер, пляшущий в его руке… Выстрел, выстрел… «Мимо. Мимо. Мимо». Показалось, что автомобиль врос колесами в торф. Но взвыли шестерни, машина рванулась. Телегин перевалился на кожаное сиденье. В лицо сильнее подул ветер, быстро стала приближаться полосатая будка и часовой, взявший винтовку на прицел. Пах! Как буря, промчался мимо него автомобиль. Сзади по всему двору бежали солдаты, припадали на колена. Пах! Пах! Пах! — раздались слабые выстрелы. Жуков, обернувшись, погрозил кулаком. Но мрачный квадрат бараков становился все меньше, ниже, и лагерь скрылся за поворотом. Навстречу летели, яростно мелькая мимо, — столбы, кусты, номера на камнях.

Мельшин обернулся, лоб его, глаз и щека были залиты кровью. Он крикнул Телегину:

— Прямо?

— Прямо и через мостик — направо, в горы.

# 28

Пустынны и печальны Карпаты в осенний ветреный вечер. Тревожно и смутно было беглецам, когда по извилистой, вымытой дождями до камня беловатой дороге они взобрались на перевал. Три-четыре высокие сосны покачивались над обрывом. Внизу, в закурившемся тумане, почти невидимый, глухо шумел лес. Еще глубже, на дне пропасти, ворчал и плескался многоводный поток, грохотал каменьями.

За стволами сосен, далеко за лесистыми, пустынными вершинами гор, среди свинцовых туч, светилась длинная щель заката. Ветер дул вольно и сильно на этой высоте, хлопал кожей автомобильного фартука.

Беглецы сидели молча. Телегин рассматривал карту, Мельшин, облокотясь о руль, глядел в сторону заката. Голова его была забинтована тряпкой.

— Что же нам с автомобилем делать? — спросил он негромко. — Бензина нет.

— Машину так оставлять нельзя, сохрани бог, — ответил Телегин.

— Спихнуть ее под кручу, только и всего. — Мельшин, крякнув, спрыгнул на дорогу, потопал ногами, разминаясь, стал трясти Жукова за плечо: — Эй, капитан, будет спать, приехали!

Жуков, не раскрывая глаз, вылез на дорогу, споткнулся и сел на камешек. Иван Ильич вытащил из автомобиля кожаные плащи и погребец с провизией, приготовленной судьям для обеда в «Гнилой яме». Провизию разложили по карманам, надели плащи и, взявшись за крылья машины, покатили ее к обрыву.

— Сослужила, матушка, службу, — сказал Мельшин. — Ну-ка, навались!

Передние колеса повисли над пропастью. Пыльно-серая длинная машина, обитая кожей, окованная бронзой, послушная, как живое существо, осела, накренилась и вместе с камнями и щебнем рухнула вниз; на выступе скалы зацепилась, затрещала, перевернулась и, со все увеличивающимся грохотом летящих камней и осколков железа, загудела вниз, в поток. Отозвалось эхо и далеко покатилось по туманным ущельям.

Беглецы свернули в лес и пошли вдоль дороги. Говорили мало, шепотом. Было теперь совсем темно. Над головами важно шумели сосны, и шум

их был подобен падающим в отдалении водам.

Время от времени Телегин спускался на шоссе смотреть верстовые столбы. В одном месте, где предполагался военный пост, сделали большой обход, перелезли через несколько оврагов, в темноте натыкались на поваленные деревья, на горные ручьи, — промокли и ободрались. Шли всю ночь. Один раз под утро послышался шум автомобиля, — тогда они легли в канаву, автомобиль проехал неподалеку, были даже слышны голоса.

Утром беглецы выбрали место для отдыха в глухой лесной балке, у ручья. Поели, опорожнили до половины фляжку с коньяком, и Жуков попросил обрить его найденной в автомобиле заржавленной бритвой. Когда были сняты борода и усы, у него неожиданно оказался детский подбородок и припухшие большие губы. Телегин и Мельшин долго хохотали, указывая на него пальцами. Жуков был в восторге, мычал и мотал губами, — он просто оказался пьян. Его завалили листьями и велели спать.

После этого Телегин и Мельшин, разложив на траве карту, срисовали каждый для себя маленький топографический снимок. Назавтра решено было разделиться: Мельшин с Жуковым пойдут

на Румынию, Телегин свернет на Галицию. Большую карту зарыли в землю. Нагребли листьев, зарылись в них и сейчас же уснули.

Высоко на краю шоссе над балкой стоял человек, опершись на ружье, — часовой, охраняющий мост. Вокруг, у ног его, в лесной пустыне, было тихо, лишь тяжелый тетерев пролетал через поляну, задевая крыльями об ельник, да где-то однообразно падала вода. Часовой постоял и отошел, вскинув ружье.

Когда Иван Ильич открыл глаза, — была ночь; между черных неподвижных ветвей светились ясные звезды. Он начал припоминать вчерашний день, но ощущение душевного напряжения на суде и во время побега было столь болезненно, что он отогнал от себя эти мысли.

— Вы не спите, Иван Ильич? — спросил тихий голос Мельшина.

— Нет, давно не сплю. Вставайте, будите Жукова.

Через час Иван Ильич шагал один вдоль белеющей в темноте дороги.

# 29

На десятые сутки Телегин достиг прифронтовой полосы. Все это время он шел только по ночам, с началом дня забирался в лес, а когда пришлось спуститься на равнину, выбирал для ночлега местечко подальше от жилья. Питался сырыми овощами, таская их с огородов.

Ночь была дождливая и студеная. Иван Ильич пробирался по шоссе между идущими на запад санитарными фурами, полными раненых, телегами с домашним скарбом, толпами женщин и стариков, тащившими на руках детей, узлы и утварь.

Навстречу, на восток, двигались военные обозы и воинские части. Было странно подумать, что прошел четырнадцатый и пятнадцатый и кончается шестнадцатый год, а все так же по разбитым дорогам скрипят обозы, бредут в покорном отчаянии жители из сожженных деревень. Лишь теперь огромные воинские лошади — едва волочат ноги, солдаты — ободрались и помельчали, толпы бездомных людей — молчаливы и равнодушны. А там, на востоке, откуда резкий ветер

гонит низкие облака, все еще бьют люди людей и не могут истребить друг друга.

На топкой низине, на мосту через вздувшуюся речку, шевелилось в темноте огромное скопище людей и телег. Громыхали колеса, щелкали бичи, раздавались крики команды, двигалось множество фонарей, и свет их падал на крутящуюся между сваями мутную воду.

Скользя по скату шоссе, Иван Ильич добрался до моста. По нему проходил военный обоз. Раньше дня нечего было и думать пробраться на ту сторону.

При въезде на мост лошади приседали в оглоблях, цеплялись копытами за размокшие доски, едва выворачивали возы. С краю, у въезда, стоял всадник в развеваемом ветром плаще, держал фонарь и кричал хрипло. К нему подошел старик, сдернул картузик, — что-то, видимо, просил. Всадник вместо ответа ударил его в лицо железным фонарем, и старик повалился под колеса.

Дальний конец моста тонул в темноте, но по пятнам огней казалось, что там — тысячи беглецов. Обоз продолжал медленно двигаться. Иван Ильич стоял, прижатый к телеге, — на ней в накинутом одеяле сидела худая женщина с нависшими на глаза волосами. Одною рукой

она обхватила птичью клетку, в другой держала вожжи. Вдруг обоз стал. Женщина с ужасом обернулась. С той стороны моста вырастал гул голосов, быстрее двигались фонари. Что-то случилось. Дико, по-звериному, завизжала лошадь. Чей-то протяжный голос крикнул по-польски: «Спасайся!» И сейчас же ружейный залп рванул воздух. Шарахнулись лошади, затрещали телеги, завыли, завизжали женские, детские голоса.

Направо, издалека, мелькнули редкие искорки, донеслись ответные выстрелы. Иван Ильич взлез на колесо, всматриваясь. Сердце колотилось, как молоток. Стреляли, казалось, отовсюду, по всей реке. Женщина с клеткой полезла с воза, задралась юбкой и упала. «Ой! ратуйте!» — басом закричала она. Клетка с птицей покатилась под откос.

С криками и треском обоз снова двинулся через мост на рысях. «Стой, стой!» — донеслись сейчас же надрывающиеся голоса. Иван Ильич увидел, как большая повозка накренилась к краю моста, перевалилась через перила и рухнула в реку. Тогда он соскочил с колеса, перепрыгивая через брошенные узлы, догнал обоз и бросился ничком на идущую телегу. Сейчас же в голову ему ударил сладкий запах печеного хлеба. Иван Ильич

просунул руку под брезент, отломил от каравая горбушку и, задыхаясь от жадности, стал есть.

В суматохе, среди выстрелов, обоз перешел наконец на ту сторону моста. Иван Ильич спрыгнул с телеги, пробрался между экипажами беглецов на поле и пошел вдоль дороги. Из отрывочных фраз, уловленных из темноты, он понял, что стрельба была по неприятельскому, то есть русскому, разъезду. Стало быть, линия фронта верстах в десяти, не дальше, от этих мест.

Несколько раз Иван Ильич останавливался — перевести дух. Идти было трудно против ветра и дождя. Ноги ломило в коленях, лицо горело, глаза воспалились и припухли. Наконец он сел на бугор канавы и опустил голову в руки. За шею текли ледяные капли дождя, все тело болело.

В это время до слуха его дошел круглый глухой звук, точно где-то далеко провалилась земля. Через минуту возник второй такой же вздох ночи. Иван Ильич поднял голову, вслушиваясь. Он различал между этими глубокими вздохами глухое ворчание, то затихающее, то вырастающее в сердитые перекаты. Звуки доносились не с той стороны, куда Иван Ильич шел, а слева, почти со стороны противоположной.

Он присел на другую сторону канавы: теперь

ясно были видны низкие, рваные облака, летящие в небе, грязном и железном. Это был рассвет. Это был восток. Там была Россия.

Иван Ильич поднялся, затянул пояс и, разъезжаясь ногами по грязи, пошел в ту сторону через мокрые жнивья, канавы и полузавалившиеся остатки прошлогодних окопов.

Когда совсем разъяснело, Телегин опять увидел в конце поля шоссейную дорогу, полную людей и экипажей. Он остановился, оглядываясь. В стороне, под огромным наполовину облетевшим деревом, стояла белая часовенка. Дверь была сорвана, на круглой крыше и на земле валялись вялые листья.

Иван Ильич решил здесь подождать сумерек, зашел в часовенку и лег на зеленый от мха пол. Нежный и томительный запах листьев туманил голову. Издалека доносились громыхание колес и удары бичей. Эти шумы казались удивительно приятными и вдруг провалились. На глаза точно надавили пальцами. В свинцовой тяжести сна понемногу появилось живое пятнышко. Оно словно силилось стать сновидением, но не могло. Усталость была так велика, что Иван Ильич мычал и поглубже зарывался в сон. Но пятнышко тревожило. Сон становился все тоньше, и опять

загромыхали вдалеке колеса. Иван Ильич вздохнул и сел.

В дверь были видны плотные плоские тучи; солнце, склонившись к закату, протянуло широкие лучи под их свинцово-мокрыми днищами. Жидкое пятно света легло на ветхую стену часовенки, осветило склоненное лицо деревянной, полинявшей от времени, божьей матери в золотом венчике: младенец, одетый в ситцевое истлевшее платьице, лежал у нее на коленях, благословляющая рука ее была отломлена.

Иван Ильич вышел из часовни. На пороге ее, на каменной ступени, сидела молодая женщина с ребенком на коленях. Она была одета в белую, забрызганную грязью свитку. Одна рука ее подпирала щеку, другая лежала на пестром одеяльце младенца. Она медленно подняла голову, взглянула на Ивана Ильича, — взгляд был светлый и странный, исплаканное лицо дрогнуло, точно улыбнулось, и тихим голосом она сказала по-русински:

— Умер хлопчик-то.

И опять склонила лицо на ладонь. Телегин нагнулся к ней, погладил по голове, — она порывисто вздохнула.

— Пойдемте. Я его понесу, — сказал он ласково.

Женщина качнула головой.

— Куда я пойду? Идите один, пан добрый.

Иван Ильич постоял еще минуту, дернул картуз на глаза и отошел. В это время из-за часовни рысью выехали два австрийских полевых жандарма, в мокрых и грязных капотах, усатые и сизые. Проезжая, они оглянулись на Ивана Ильича, сдержали лошадей, и тот из них, кто был впереди, крикнул хрипло:

— Подойди!

Иван Ильич приблизился. Жандарм, нагнувшись с седла, внимательно ощупал его карими глазами, воспаленными от ветра и бессонницы, — вдруг они блеснули.

— Русский! — крикнул он, хватая Телегина за воротник. Иван Ильич не вырывался, только усмехнулся криво.

Телегина заперли в сарае. Была уже ночь. Явственно доносился гул орудийной стрельбы. Сквозь щели был виден тускло-красный свет зарева, Иван Ильич доел остаток хлеба, взятого вчера с воза, походил вдоль дощатых стен, осматривая — нет ли где лаза, споткнулся о тюк спрессованного сена, зевнул и лег. Но заснуть ему не пришлось, — после полуночи неподалеку начали бухать орудия. Красноватые вспышки

проникали сквозь щели. Иван Ильич привстал, прислушиваясь. Промежутки между очередями уменьшались, дрожали стены сарая, и вдруг совсем близко затрещали ружейные выстрелы.

Ясно, что бой приближался. За стеной послышались встревоженные голоса, запыхтел автомобиль. Протопало множество ног. Чье-то тяжелое тело ударилось снаружи о стену. И только тогда Иван Ильич различил, как в стену точно бьют горохом. Он сейчас же лег на землю.

Даже здесь, в сарае, пахло пороховым дымом. Стреляли без перерыва, очевидно — русские наступали со страшной быстротой. Но эта буря раздирающих душу звуков продолжалась недолго. Послышались лопающиеся удары — разрывы ручных гранат, точно давили орехи. Иван Ильич вскочил, заметался вдоль стены. Неужели отобьют? И, наконец, раздался хрипло-пронзительный рев, визг, топот. Сразу стихли выстрелы. В долгую секунду тишины были слышны только удары в мягкое, железный лязг. Затем испуганно закричали голоса: «Сдаемся, рус, рус!..»

Отодрав в двери щепу, Иван Ильич увидел бегущие фигуры, — они закрывали головы руками. Справа на них налетели огромные тени всадников, врезались в толпу, закрутились. Трое пеших

повернули к сараю. Вслед им рванулся всадник со взвившимся за спиною башлыком. Лошадь — огромный зверь, — храпя, тяжело поднялась на дыбы. Всадник, как пьяный, размахивал шашкой, рот его был широко разинут. И, когда лошадь опустила перед, он со свистом ударил шашкой, и лезвие, врезавшись, сломалось.

— Выпустите меня! — не своим голосом закричал Телегин, стуча в дверь.

Всадник осадил лошадь:

— Кто кричит?

— Пленный. Русский офицер.

— Сейчас. — Всадник швырнул рукоять шашки, нагнулся и отодвинул засов.

Иван Ильич вышел, и тот, кто выпустил его, офицер дикой дивизии, сказал насмешливо:

— Вот так встреча!

Иван Ильич всмотрелся.

— Не узнаю.

— Да Сапожков, Сергей Сергеевич. — И он захохотал резким смехом. — Не ожидал?.. Вот, черт его возьми, вот война!

# 30

Последний час до Москвы поезд с протяжным свистом катил мимо опустевших дач; белый дым его путался в осенней листве, в прозрачно-желтом березняке, в пурпуровом осиннике, откуда пахло грибами. Иногда к самому полотну свисала багровая лапчатая ветвь клена. Сквозь поредевший кустарник виднелись кое-где стеклянные шары на клумбах, и в дачных домиках — забитые ставни, на дорожках, на ступенях — облетевшие листья.

Вот пролетел мимо полустанок; два солдата с котомками равнодушно глядели на окна поезда, и на скамье сидела в клетчатом пальтишке грустная, забытая барышня, чертя концом зонтика узор на мокрых досках платформы. Вот за поворотом, из-за деревьев, появился деревянный щит с нарисованной бутылкой: «Несравненная рябиновая Шустова». Вот кончился лес, и направо и налево потянулись длинные ряды бело-зеленой капусты, у шлагбаума — воз с соломой, и баба в мужицком полушубке держит под уздцы упирающуюся лошаденку. А вдали, под длинной тучей,

уже видны острые верхи башен, и высоко над городом — сияющий купол Христа-спасителя.

Телегин сидел у вагонного окошка, вдыхая густой запах сентября, запах листьев, прелых грибов, дымка от горящей где-то соломы и земли, на рассвете хваченной морозцем.

Он чувствовал позади себя дорогу двух мучительных лет и конец ее — в этом чудесном долгом часе ожидания. Иван Ильич рассчитывал: ровно в половине третьего он нажмет пуговку звонка в этой единственной двери, — она ему представлялась светлодубовой, с двумя окошками наверху, — куда он притащился бы и мертвый.

Огороды кончились, и с боков дороги замелькали забрызганные грязью домишки предместий, грубо мощенные улицы с грохочущими ломовыми, заборы и за ними сады с древними липами, протянувшими ветви до середины переулков, пестрые вывески, прохожие, идущие по своим пустяковым делам, не замечая гремящего поезда и его — Ивана Ильича — в вагонном окошке; внизу в глубину улицы побежал, как игрушечный, трамвай; из-за дома выдвинулся купол церковки, — колеса застучали по стрелкам. Наконец, наконец — после двух долгих лет — поплыл вдоль окон дощатый перрон московского вокзала. В

вагоны полезли чистенькие и равнодушные старички в белых фартуках. Иван Ильич далеко высунул голову, вглядываясь. Глупости, он же не извещал о приезде.

Иван Ильич вышел на вокзальный подъезд и не мог — рассмеялся: шагах в пятидесяти на площади стоял длинный ряд извозчиков. Махая с козел рукавицами, они кричали:

— Я подаю! Я подаю! Я подаю!

— Ваше здоровье, вот на вороной!

— Вот, на резвой, на дудках!

Лошади, осаженные вожжами, топали, храпели, взвизгивали. Крик стоял по всей площади. Казалось, еще немного, — и весь ряд извозчиков налетит на вокзал.

Иван Ильич взобрался на очень высокую пролетку с узким сиденьем; наглый, красивый лихач с ласковой снисходительностью спросил у него адрес и для шику, сидя боком и держа в левой руке свободно брошенные вожжи, запустил рысака, — дутые шины запрыгали по булыжнику.

— С войны, ваше здоровье?

— Из плена бежал.

— Да неужто? Ну, как у них? Говорят — есть нечего. Эй, поберегись, бабушка. Национальный герой… Много бегут оттуда. Ломовой, берегись…

Ах, невежа!.. Ивана Трифоныча не знаете?

— Какого?

— С Разгуляя, сукном торгует!.. Вчера ездил на мне, плачет. Ах, история!.. Нажился на поставках, денег девать некуда, а жена его возьми — с полячишком третьего дня и убежала. Наши извозчики всю Москву оповестили о происшествии. Ивану-то Трифонычу хоть на улицу теперь не выходи… Вот тебе и наворовал…

— Голубчик, скорее, пожалуйста, — проговорил Иван Ильич, хотя лихацкий высокий жеребец и без того как ветер летел по переулку, задирая от дурной привычки злую морду.

— Приехали, ваше здоровье, второй подъезд. Тпру, Вася!..

Иван Ильич быстро, с трепетом, взглянул на шесть окон белого особняка, где покойно и чисто висели кружевные шторы, и спрыгнул у подъезда. Дверь была старая, резная, с львиной головой, и звонок не электрический, а колокольчик. Несколько секунд Иван Ильич постоял, не в силах поднять руки к звонку, сердце билось редко и больно. «В сущности говоря, ничего еще не известно, — может, дома никого нет, может, и не примут», — подумал он и потянул медную ручку. В глубине звякнул колокольчик. «Конечно,

никого дома нету». И сейчас же послышались быстрые женские шаги. Иван Ильич растерянно оглянулся, — веселая рожа лихача подмигивала. Затем звякнула цепочка, дверь приоткрылась, и высунулось рябенькое лицо горничной.

— Здесь проживает Дарья Дмитриевна Булавина? — кашлянув, проговорил Телегин.

— Дома, дома, пожалуйте, — ласково, нараспев ответила рябенькая девушка, — и барыня, и барышня дома.

Иван Ильич, как во сне, прошел через сени-галерейку со стеклянной стеной, где стояли корзины и пахло шубами. Горничная отворила направо вторую дверь, обитую черной клеенкой, — в полутемной маленькой прихожей висели женские пальто, перед зеркалом лежали перчатки, косынка с красным крестом и пуховый платок. Знакомый, едва заметный запах изумительных духов исходил от всех этих невинных вещей.

Горничная, не спросив имени гостя, пошла докладывать. Иван Ильич коснулся пальцами пухового платка и вдруг почувствовал, что связи нет между этой чистой прелестной жизнью и им, вылезшим из кровавой каши. «Барышня, вас спрашивают», — услышал он в глубине дома голос горничной. Иван Ильич закрыл глаза, —

сейчас раздастся гром небесный, — и, затрепетав с ног до головы, услышал голос быстрый и ясный:

— Спрашивают меня? Кто?

По комнатам зазвучали шаги. Они летели из бездны двух лет ожидания. В дверях прихожей из света окон появилась Даша. Легкие волосы ее золотились. Она казалась выше ростом и тоньше. На ней была вязаная кофточка и синяя юбка.

— Вы ко мне?

Даша запнулась, ее лицо задрожало, брови взлетели, рот приоткрылся, но сейчас же тень мгновенного испуга сошла с лица, и глаза засветились изумлением и радостью.

— Это вы? — чуть слышно проговорила она, закинув локоть, стремительно обхватила шею Ивана Ильича и нежно-дрожащими губами поцеловала его. Потом отстранилась. — Иван Ильич, идите сюда. — И Даша побежала в гостиную, села в кресло и, пригнувшись к коленям, закрыла лицо руками. — Ну, глупо, глупо, конечно… — прошептала она, изо всей силы вытирая глаза. Иван Ильич стоял перед ней. Вдруг Даша, схватившись за ручки кресел, подняла голову: — Иван Ильич, вы бежали?

— Убежал.

— Господи, ну?

— Ну, вот и… прямо сюда.

Он сел напротив в кресло, изо всей силы прижимая к себе фуражку.

— Как же это произошло? — с запинкой спросила Даша.

— В общем — обыкновенно.

— Было опасно?

— Да… То есть — не особенно.

Так они сказали друг другу еще какие-то слова. Понемногу обоих начала опутывать застенчивость; Даша опустила глаза:

— Сюда, в Москву, давно приехали?

— Только что с вокзала.

— Я сейчас скажу кофе…

— Нет, не беспокойтесь… Я сейчас в гостиницу.

Тогда Даша чуть слышно спросила:

— Вечером приедете?

Поджав губы, Иван Ильич кивнул. Ему нечем было дышать.

Он поднялся.

— Значит, я поеду. Вечером приеду.

Даша протянула ему руку. Он взял ее нежную и сильную руку, и от этого прикосновения стало горячо, кровь хлынула в лицо. Он стиснул ее пальцы и пошел в прихожую, но в дверях оглянулся. Даша стояла спиной к свету и глядела

исподлобья.

— Часов в семь можно прийти, Дарья Дмитриевна?

Она кивнула. Иван Ильич выскочил на крыльцо и сказал лихачу:

— В гостиницу, в хорошую, в самую лучшую!

Сидя, откинувшись, в пролетке, засунув руки в рукава шинели, он широко улыбался. Какие-то голубоватые тени — людей, деревьев, экипажей — летели перед глазами. Студеный, пахнувший русским городом ветерок холодил лицо. Иван Ильич поднес к носу ладонь, еще горевшую от Дашиного прикосновения, и засмеялся: «Колдовство!»

В это время Даша, проводив Ивана Ильича, стояла у окна в гостиной. В голове звенело, никакими силами нельзя было собраться с духом — сообразить, — что же случилось? Она крепко зажмурилась и вдруг ахнула, побежала в спальню к сестре.

Екатерина Дмитриевна сидела у окна, шила и думала. Услышав Дашины шаги, она спросила, не поднимая головы:

— Даша, кто был у тебя?

Катя вгляделась, лицо ее дрогнуло.

— Он… Не понимаешь, что ли… Он… Иван

Ильич.

Катя опустила шитье и медленно всплеснула руками.

— Катя, ты пойми, я даже и не рада, мне только страшно, — проговорила Даша глухим голосом.

# 31

Когда наступили сумерки, Даша начала вздрагивать от каждого шороха, бежала в гостиную и прислушивалась... Несколько раз раскрывала какую-то книжку — все на одной и той же странице: «Маруся любила шоколад, который муж привозил ей от Крафта...» В морозных сумерках, напротив в доме, где жила актриса Чародеева, вспыхнули два окна, — там горничная в чепчике накрывала на стол; появилась худая, как скелет, Чародеева в накинутой на плечи бархатной шубке, села к столу и зевнула, — должно быть, спала на диване; налила себе супу и вдруг задумалась, уставилась стеклянными глазами на вазочку с увядшей розой. «Маруся любила шоколад», — сквозь зубы повторила Даша. Вдруг позвонили. У Даши кровь отлила от сердца. Но это принесли вечернюю газету. «Не придет», — подумала Даша и пошла в столовую, где горела одна лампочка над белой скатертью и тикали часы. Было без пяти семь. Даша села у стола: «Вот так с каждой секундой уходит жизнь...»

В парадной опять позвонили. Задохнувшись,

Даша вскочила и выбежала в прихожую… Пришел сторож из лазарета, принес пакет с бумагами. Иван Ильич не придет, конечно, и прав: ждала два года, а дождалась — слова не нашла сказать.

Даша вытащила платочек и стала кусать его с уголка. Чувствовала ведь, знала, что именно так это и случится. Два года любила своего какого-то, выдуманного, а пришел живой человек… и она растерялась.

«Ужасно, ужасно», — думала Даша. Она не заметила, как приотворилась дверь и появилась рябенькая Лиза.

— Барышня, к вам пришли.

Даша глубоко вздохнула, легко, точно не касаясь пола, пошла в столовую. Катя увидела Дашу первая и улыбнулась ей, Иван Ильич вскочил, мигнул и выпрямился.

Одет он был в новую суконную рубаху, с новеньким, через одно плечо, снаряжением, чисто выбрит и подстрижен. Теперь особенно было заметно, как он высок ростом, подтянут и широк в плечах. Конечно, это был совсем новый человек. Взгляд светлых глаз его тверд, по сторонам прямого, чистого рта — две морщины, две черточки… У Даши забилось сердце, она поняла, что это — след смерти, ужаса и страдания. Его рука была

сильна и холодна.

Даша взяла стул и села рядом с Телегиным. Он положил руки на скатерть, стиснул их и, поглядывая на Дашу, быстро, мельком, начал рассказывать о плене и о побеге из плена. Даша, сидя совсем близко, глядела ему в лицо, рот ее приоткрылся.

Рассказывая, Иван Ильич чувствовал, как голос его звучит, точно чужой, издалека, а сам он весь потрясен и взволнован. И рядом, касаясь его колена платьем, сидит не выразимое никакими словами существо — девушка, непонятная совершенно, и пахнет от нее чем-то теплым, кружащим голову.

Иван Ильич рассказывал весь вечер. Даша переспрашивала, перебивала его, всплескивала руками, оглядывалась на сестру:

— Катюша, понимаешь, — приговорили к расстрелу!

Когда Телегин описывал борьбу за автомобиль, секундочку, отделявшую от смерти, рванувшуюся машину и ветер, кинувшийся в лицо, — свобода, жизнь! — Даша страшно побледнела, схватила его за руку:

— Мы вас никуда больше не отпустим!

Телегин засмеялся:

— Призовут опять, ничего не поделаешь. Я только надеюсь, что меня отчислят куда-нибудь на военный завод.

Он осторожно сжал ее руку. Даша стала смотреть ему в глаза, вглядывалась внимательно, на щеки ее взошел легкий румянец, она освободила руку.

— Почему вы не курите? Я вам принесу спички.

Она быстро вышла и сейчас же вернулась с коробочкой спичек, остановилась перед Иваном Ильичом и начала чиркать спички, держа их за самый кончик, они ломались — ну уж и спички наша Лиза покупает! — наконец спичка зажглась. Даша осторожно поднесла к папиросе Ивана Ильича огонек, осветивший ее подбородок. Телегин закурил, жмурясь. Он не знал, что можно испытать такое счастье, закуривая папиросу.

Катя все это время молча следила за Дашей и Телегиным. Она была рада, очень рада за Дашу, и все же ей было очень грустно. Из памяти не выходил не забытый, как она надеялась, совсем не забытый Вадим Петрович Рощин: он так же сидел с ними за столом, и так же однажды она принесла ему спичек и сама зажгла, не сломав ни одной.

В полночь Телегин ушел. Даша, обняв, крепко

поцеловала сестру и заперлась у себя. Лежа в постели, закинув руки за голову, она думала, что вот вынырнула наконец из тоскливого безвременья, кругом еще дико, и пусто, и жутковато, но все — синее, но это счастье.

# 32

На пятый день приезда Иван Ильич получил из Петрограда казенный пакет с назначением немедленно явиться на Балтийский завод.

Радость по поводу этого, остаток дня, проведенный с Дашей в суете по городу, торопливое прощанье на Николаевском вокзале, затем купе второго класса с сухим теплом и пощелкивающим отоплением, и неожиданно найденный в кармане пакетик, перевязанный ленточкой, и в нем два яблока, шоколад и пирожки, — все это было как во сне. Иван Ильич расстегнул пуговки на воротнике суконной рубахи, вытянул ноги и, не в силах согнать с лица глупейшей улыбки, глядел на соседа напротив — неизвестного строгого старичка в очках.

— Из Москвы изволите ехать? — спросил старичок.

— Да, из Москвы. — Боже, какое это было чудесное, любовное слово — Москва!.. Переулки, залитые осенним солнцем, сухие листья под ногами, легкая, тонкая Даша, идущая по этим листьям, ее умный, ясный голос, — слов он не

помнил никаких, — и постоянный запах теплых цветов, когда он наклонялся к ней или целовал ее руку.

— Содом, содомский город, — сказал старичок. — Три дня прожил в Москве… Насмотрелся… — Он раздвинул ноги, обутые в сапоги и высокие калоши, и плюнул. — На улицы выйдешь: люди — туда-сюда, туда-сюда… Ночью: свет, шум, вывески, вертится, крутится… Народ валом валит… Бессмыслица!!! Да, это Москва… Отсюда земля пошла… А вижу я, что бесовская, бессмысленная беготня. Вы, молодой человек, в сражениях бывали, ранены?.. Это я сразу вижу… Скажите мне, старику, — неужели за эту суету окаянную у нас там кровь льется? Где отечество? Где вера? Где царь? Укажите мне. Я вот за нитками сейчас в Петроград еду… Да провались они, эти нитки!.. Тьфу!.. С чем я в Тюмень вернусь, что привезу — нитки?.. Нет, я не нитки привезу, а приеду, скажу: люди, пропали мы все, — вот что я привезу… Попомните мое слово, молодой человек, — поплатимся, за все поплатимся… За эту бессмыслицу отвечать придется… — Старичок, опираясь о колени, поднялся и опустил шторку на окне, за которым в темноте летели паровозные искры огненными линиями. — Бога забыли, и бог

нас забыл… Вот что я вам скажу… Будет расплата, ох, будет расплата жестокая…

— Что же вы думаете: немцы нас, что ли, завоюют? — спросил Иван Ильич.

— Кто их знает. Кого господь пошлет карателем — от того и примем муку… У меня, скажем, в лавке молодцы начали безобразничать… Потерплю, потерплю, да ведь одному — по затылку, другого — взашей, третьего — за порог… А Россия — не моя лавочка, эва какое хозяйство. Господь милосерд, но когда люди к нему дорогу забыли, — надо дорогу расчистить или нет, а? Вот про что я говорю… Бог от мира отошел… Страшнее этого быть ничего не может…

Старичок сложил руки на животе, закрыл глаза и, строго поблескивая очками, потряхивался в углу серой койки. Иван Ильич вышел из купе и стал в проходе у окна, почти касаясь стекла лицом.

Сквозь щелку проникал свежий, острый воздух. За окном, в темноте, летели, перекрещивались, припадали к земле огненные линии. Проносилось иногда серое облако дыма. Постукивали послушно колеса вагонов. Вот завыл протяжно паровоз, заворачивая, осветил огнем из топки черные конусы елей, — они выступили из темноты и пропали. Простучала стрелка, мягко

колыхнулся вагон, мелькнул зеленый щиток фонаря, и снова огненным дождем понеслись вдоль окна длинные линии.

Глядя на них, Иван Ильич с внезапной потрясающей радостью почувствовал во всю силу все, что случилось с ним за эти пять дней. Если бы он мог рассказать кому-нибудь это свое чувство, — его бы сочли сумасшедшим. Но для него не было в этом ничего ни странного, ни безумного: все необыкновенно ясно.

Он чувствовал: в ночной темноте живут, мучаются, умирают миллионы миллионов людей. Но они живы лишь условно, и все, что происходит на земле, — условно, почти кажущееся. Настолько почти кажущееся, что, если бы он, Иван Ильич, сделал еще одно усилие, все бы изменилось, стало иным. И вот среди этого кажущегося существует живая сердцевина: это его, Ивана Ильича, пригнувшаяся к окну фигура. Это — возлюбленное существо. Оно вышло из мира теней и в огненном дожде мчится над темным миром.

Это необыкновенное чувство любви к себе продолжалось несколько секунд. Он вошел в купе, влез на верхнюю койку, поглядел, раздеваясь, на свои большие руки и в первый раз в жизни подумал, что они красивы. Он закинул их за го-

лову, закрыл глаза и сейчас же увидел Дашу. Она взволнованно, влюбленно глядела ему в глаза. (Это было сегодня, в столовой. Даша заворачивала пирожки, Иван Ильич, обогнув стол, подошел к ней и поцеловал ее в теплое плечо, она быстро обернулась, он спросил: «Даша, вы будете моей женой?» Она только взглянула.)

Сейчас, на койке, видя Дашино лицо и не насыщаясь этим видением, Иван Ильич, также в первый раз в жизни, почувствовал ликование, восторг оттого, что Даша любит его, — того, у кого большие и красивые руки.

По приезде в Петербург Иван Ильич в тот же день явился на Балтийский завод и был зачислен в мастерские, в ночную смену.

На заводе многое изменилось за эти три года: рабочих увеличилось втрое, часть была молодые, часть — переведенные с Урала или из западных городов, часть взята из действующей армии. Рабочие читали газеты, ругали войну, царя, царицу, Распутина и генералов, были злы и все уверены, что после войны «грянет революция».

В особенности злы были все на то, что в городских пекарнях в хлеб начали примешивать труху, и на то, что на рынках по нескольку дней иногда не бывало мяса, а бывало — так вонючее;

картошку привозили мерзлую, сахар — с грязью, и к тому же — продукты все вздорожали, а лавочники, скоробогачи и спекулянты, нажившиеся на поставках, платили в это время по пятьдесят рублей за коробку конфет, по сотне за бутылку шампанского и слышать не хотели замиряться с немцем.

Иван Ильич получил для устройства личных дел трехдневный отпуск и все это время бегал по городу в поисках квартиры. Он пересмотрел десятки домов, — ему ничто не нравилось. Но в последний день неожиданно он нашел именно то, что представилось ему тогда в вагоне: пять небольших комнат с чисто вымытыми окнами, обращенными на закат. Квартира эта, в конце Каменноостровского, была дороговата для Ивана Ильича, но он ее сейчас же снял и написал об этом Даше.

На четвертую ночь он поехал на завод. На черном от угольной грязи дворе горели на высоких столбах фонари. Дым из труб сыростью и ветром сбивало к земле, желтоватой и душной гарью был насыщен воздух. Сквозь полукруглые, огромные и пыльные окна заводских корпусов было видно, как крутились бесчисленные шкивы и ремни трансмиссий, двигались чугунные станины стан-

ков, сверля, стругая, обтачивая сталь и бронзу. Вертелись вертикальные диски штамповальных машин. В вышине бегали, улетали в темноту каретки подъемных кранов. Розовым и белым светом пылали горны. Потрясая землю ударами, ходила гигантская крестовина парового молота. Из низких труб вырывались в темноту серого неба столбы пламени. Человеческие фигуры двигались среди этого скрежета, грохота станков…

Иван Ильич вошел в мастерскую, где работали прессы, формуя шрапнельные стаканы. Инженер Струков, старый знакомый, повел его по мастерской, объясняя некоторые неизвестные Телегину особенности работы. Затем вошел с ним в дощатую конторку в углу мастерской, где показал книги, ведомости, передал ключи и, надевая пальто, сказал:

— Мастерская дает двадцать три процента брака, этой цифры вы и держитесь.

В его словах и в том, как он сдавал мастерскую, Иван Ильич почувствовал равнодушие к делу, а Струков, каким он его знал раньше, был отличный инженер и горячий человек. Это его огорчило, он спросил:

— Понизить процент брака, вы думаете, невозможно?

Струков, зевая, помотал головой, надвинул глубоко на нечесаную голову фуражку и вернулся с Иваном Ильичом к станкам.

— Плюньте, батюшка. Не все ли вам равно, — ну, на двадцать три процента убьем меньше немцев на фронте. К тому же ничего сделать нельзя, — станки износились, ну их к черту!

Он остановился около пресса. Старый коротконогий рабочий, в кожаном фартуке, наставил под штамп раскаленную болванку, рама опустилась, стержень штампа вошел, как в масло, в розовую сталь, выпыхнуло пламя, рама поднялась, и на земляной пол упал шрапнельный стакан. И сейчас же старичок поднес новую болванку. Другой, молодой высокий рабочий, с черными усиками, возился у горна. Струков, обращаясь к старичку, сказал:

— Что, Рублев, стаканчики-то с брачком?

Старичок усмехнулся, мотнул в сторону редкой бородкой и хитро щелками глаз покосился на Телегина.

— Это верно, что с брачком. Видите, как она работает? — Он положил руку на зеленый от жира столбик, по которому скользила рама пресса. — В ней дрожь обозначается. Эту бы чертовину выкинуть давно пора.

Молодой рабочий у горна, сын Ивана Рублева, Васька, засмеялся:

— Много бы надо отсюда повыкидать. Заржавела машина.

— Ну, ты, Василий, полегче, — сказал Струков весело.

— Вот то-то, что легче. — Васька тряхнул кудрявой головой, и худое, слегка скуластое лицо его, с черными усиками и злыми, пристальными глазами, осклабилось недобро и самоуверенно.

— Лучшие рабочие в мастерской, — отходя, негромко сказал Струков Ивану Ильичу. — Прощайте. Сегодня еду в «Красные бубенцы». Никогда там не бывали? Замечательный кабачок, и вино дают.

Телегин с любопытством начал приглядываться к отцу и сыну Рублевым. Его поразил тогда в разговоре почти условный язык слов, усмешек и взглядов, каким обменялся с ними Струков, и то, как они втроем словно испытывали Телегина: наш он или враг? По особенной легкости, с какою в последующие дни Рублевы вступали с ним в беседу, он понял, что он — «наш».

Это «наш» относилось, пожалуй, даже и не к политическим взглядам Ивана Ильича, которые были у него непродуманными и неопределен-

ными, а скорее к тому ощущению доверия, какое испытывал всякий в его присутствии: он ничего особенного не говорил и не делал, но было ясно, что это честный человек, добрый человек, насквозь ясный, свой.

В ночные дежурства Иван Ильич часто, подходя к Рублевым, слушал, как отец и сын заводили споры.

Васька Рублев был начитан и только и мог говорить, что о классовой борьбе и о диктатуре пролетариата, причем выражался книжно и лихо. Иван Рублев был старообрядец, хитрый, совсем не богобоязненный старичок. Он говаривал:

— У нас, в пермских лесах, по скитам, в книгах все прописано: и эта самая война, и как от войны будет разорение — вся земля наша разорится, и сколько останется народу, а народу останется самая малость… И как выйдет из лесов, из одного скита, человек и станет землей править, и править будет страшным божьим словом.

— Мистика, — говорил Ванька.

— Ах ты, подлец, невежа, слов нахватался… Социалистом себя кличет!.. Какой ты социалист — станичник! Я сам такой был. Ему бы ведь только дорваться, — шапку на ухо, в глазах все дыбом,

лезет, орет: «Вставай на борьбу...» С кем, за что? Баклушка осиновая.

— Видите, как старичок выражается, — указывая на отца большим пальцем, говорил Васька, — анархист самый вредный, в социализме ни уха ни рыла не смыслит, а меня в порядке возражения каждый раз лает.

— Нет, — перебивал Иван Рублев, выхватывая из горна брызжущую искрами болванку, — нет, господа, — и, описав ею полукруг, ловко подставлял под опускающийся стержень пресса, — книги вы читаете, а не те читаете, какие нужно. А смиренства нет ни у кого, об этом они не думают... Понятия нет у них, что каждый человек должен быть духом нищий по нашему времени.

— Путаница у тебя в голове, батя, а давеча кто кричал: я, говорит, революционер?

— Да, кричал. Я, брат, если что — первый эти вилы-то схвачу. Мне зачем за царя держаться? Я мужик. Я сохой за тридцать лет, знаешь, сколько земли исковырял? Конечно, я революционер: мне, чай, спасение души дорого али нет?

Телегин писал Даше каждый день, она отвечала ему реже. Ее письма были странные, точно подернутые ледком, и Иван Ильич испытывал чувство легонького озноба, читая их. Обычно он

садился к окну и несколько раз прочитывал листок Дашиного письма, исписанный крупными, загибающимися вниз строчками. Потом глядел на лилово-серый лес на островах, на облачное небо, такое же мутное, как вода в канале, — глядел и думал, что так именно и нужно, чтобы Дашины письма не были нежными, как ему, по неразумию, хочется.

«Милый друг мой, — писала она, — вы сняли квартиру в целых пять комнат. Подумайте — в какие расходы вы вгоняете себя. Ведь если даже придется вам жить не одному, — то и это много: пять комнат! А прислуга, — нужно держать двух женщин, это по нашему-то времени. У нас, в Москве, осень, холодно, дожди — просвета нет… Будем ждать весны…»

Как тогда, в день отъезда Ивана Ильича, Даша ответила только взглядом на вопрос его — будет ли она его женой, так и в письмах она никогда прямо не упоминала ни о свадьбе, ни о будущей жизни вдвоем. Нужно было ждать весны.

Это ожидание весны и смутной, отчаянной надежды на какое-то чудо было теперь у всех. Жизнь останавливалась, заваливалась на зиму — сосать лапу. Наяву, казалось, не было больше сил пережить это новое ожидание кровавой весны.

Однажды Даша написала:

«…Я не хотела ни говорить вам, ни писать о смерти Бессонова. Но вчера мне опять рассказывали подробности об его ужасной гибели. Иван Ильич, незадолго до его отъезда на фронт я встретила его на Тверском бульваре. Он был очень жалок, и, мне кажется, — если бы я его тогда не оттолкнула, он бы не погиб. Но я оттолкнула его. Я не могла сделать иначе, и я бы так же сделала, если бы пришлось повторить прошлое».

Телегин просидел полдня над ответом на это письмо… «Как можно думать, что я не приму всего, что с вами, — писал он очень медленно, вдумываясь, чтобы не покривить ни в одном слове. — Я иногда проверяю себя, — если бы вы даже полюбили другого человека, то есть случилось бы самое страшное со мной… Я принял бы и это… Я бы не примирился, нет: мое бы солнце потемнело… Но разве любовь моя к вам в одной радости? Я знаю чувство, когда хочется отдать жизнь, потому что слишком глубоко любишь… Так, очевидно, чувствовал Бессонов, когда уезжал на фронт… И вы, Даша, должны чувствовать, что вы бесконечно свободны… Я ничего не прошу у вас, даже любви… Я это понял за последнее время…»

Через два дня Иван Ильич вернулся на рассвете с завода, принял ванну и лег в постель, но его сейчас же разбудили, — подали телеграмму: «Все хорошо. Люблю страшно. Твоя Даша».

В одно из воскресений инженер Струков заехал за Иваном Ильичом и повез его в «Красные бубенцы».

Кабачок помещался в подвале. Сводчатый потолок и стены были расписаны пестрыми птицами, младенцами с развращенными личиками и многозначительными завитушками. Было шумно и дымно. На эстраде сидел маленький лысый человек с нарумяненными щеками и перебирал клавиши рояля. Несколько офицеров пили крепкий крюшон и отпускали громкие замечания о входивших женщинах. Кричали, спорили присяжные поверенные, причастные к искусству. Громко хохотала царица подвала, черноволосая красавица с припухшими глазами. Антошка Арнольдов, крутя прядь волос, писал корреспонденцию с фронта. У стены, на возвышении, уронив пьяную голову, дремал родоначальник футуризма — ветеринарный врач с перекошенным чахоточным лицом. Хозяин подвала, бывший актер, длинноволосый, кроткий и спившийся, появлялся иногда в боковой

дверце, глядя сумасшедшими глазами на гостей, и скрывался.

Струков, захмелевший от крюшона, говорил Ивану Ильичу:

— Я почему люблю этот кабак? Такой гнили нигде не найдешь — наслаждение!.. Посмотри — вон в углу сидит одна — худа, страшна, шевелиться даже не может: истерия в последнем градусе, — пользуется необыкновенным успехом.

Струков хохотнул, хлебнул крюшона и, не вытирая мягких, оттененных татарскими усиками губ, продолжал называть Ивану Ильичу имена гостей, указывать пальцами на непроспанные, болезненные, полусумасшедшие лица.

— Это все последние могикане… Остатки эстетических салонов. А! Плесень-то какая. А! Они здесь закупорились — и делают вид, что никакой войны нет, все по-старому.

Телегин слушал, глядел… От жары, табачного дыма и вина все казалось будто во сне, кружилась голова… Он видел, как несколько человек повернулось к входной двери; разлепил желтые глаза ветеринарный врач; высунулось из-за стены сумасшедшее лицо хозяина; полумертвая женщина, сидевшая сбоку Ивана Ильича, подняла сонные веки, и вдруг глаза ее ожили, с непонят-

ной живостью она выпрямилась, глядя туда же, куда и все… Неожиданно стало тихо в подвале, зазвенел упавший стакан…

Во входной двери стоял среднего роста пожилой человек, выставив вперед плечо, засунув руки в карманы суконной поддевки. Узкое лицо его с черной висящей бородой весело улыбалось двумя глубокими привычными морщинами, и впереди всего лица горели серым светом внимательные, умные, пронзительные глаза. Так продолжалось минуту. Из темноты двери к нему приблизилось другое лицо, чиновника, с тревожной усмешкой, и прошептало что-то на ухо. Человек нехотя сморщил большой нос.

— Опять ты со своей глупостью… Ах, надоел. — Он еще веселее оглянул гостей в подвале, мотнул бородой и сказал громко, развалистым голосом: — Ну, прощайте, дружки веселые.

И сейчас же скрылся. Хлопнула дверь. Весь подвал загудел. Струков впился ногтями в руку Ивана Ильича.

— Видел? Видел? — проговорил он, задыхаясь. — Это Распутин.

# 33

В четвертом часу утра Иван Ильич шел пешком с завода. Была морозная декабрьская ночь. Извозчика не попадалось, теперь их трудно было доставать даже в центре города в такой час. Телегин быстро шел посреди пустынной улицы, дыша паром в поднятый воротник.

В свете редких фонарей весь воздух был пронизан падающими морозными иглами. Громко похрустывал снег под ногами. Впереди, на желтом и плоском фасаде дома, мерцали красноватые отблески. Свернув за угол, Телегин увидел пламя костра в решетчатой жаровне и кругом закутанные, в облаках пара, обмерзшие фигуры. Подальше на тротуаре стояли, вытянувшись в линию, неподвижно человек сто — женщины, старики и подростки: очередь у продовольственной лавки. Сбоку потоптывал валенками, похлопывал рукавицами ночной сторож.

Иван Ильич шел вдоль очереди, глядя на приникшие к стене, закутанные в платки, в одеяла скорченные фигуры.

— Вчерась на Выборгской три лавки разнесли

начисто, — сказал один голос.

— Только и остается.

— Я вчерась спрашиваю керосину полфунта, — нет, говорит, керосину больше совсем не будет, а Дементьевых кухарка тут же приходит и при мне пять фунтов взяла по вольной цене.

— Почем?

— По два с полтиной за фунт, девушка.

— Это за керосин-то?

— Так это не пройдет этому лавошнику, припомним, будет время.

— Сестра моя сказывала: на Охте также вот лавошника за такие дела взяли и в бочку с рассолом головой его засунули, — утоп он, милые, а уж как просился отпустить.

— Мало мучили, их хуже надо мучить.

— А пока что — мы мерзни.

— А он в это время чаем надувается.

— Кто это чаем надувается? — спросил хриплый голос.

— Да все они чаем надуваются. Моя генеральша встанет в двенадцать часов и до самой до ночи трескает, — как ее, идола, не разорвет.

— А ты мерзни, чахотку получай.

— Это вы совершенно верно говорите, я уже кашляю.

— А моя барышня, милые мои, — кокотка. Я вернусь с рынка, у нее — полна столовая гостей, и все они пьяные. Сейчас потребуют яишницу, хлеба черного, водки, — словом, что погрубее.

— Английские деньги пропивают, — проговорил чей-то голос уверенно.

— Что вы, в самом деле, говорите?

— Все продано, — уж я вам говорю — верьте: вы тут стоите, ничего не знаете, а вас всех продали, на пятьдесят лет вперед. И армия вся продана.

— Господи!

Опять чей-то застуженный голос спросил:

— Господин сторож, а господин сторож?

— Что случилось?

— Соль выдавать будут нынче?

— По всей вероятности, соли выдавать не будут.

— Ах, проклятые!

— Пятый день соли нет.

— Кровь народную пьют, сволочи.

— Ладно вам, бабы, орать — горло застудите, — сказал сторож густым басом.

Телегин миновал очередь. Затих злой гул голосов, и опять прямые улицы были пустынны, тонули в морозной мгле.

Иван Ильич дошел до набережной, свернул на

мост и, когда ветер рванул полы его пальто, — вспомнил, что надо бы найти все-таки извозчика, но сейчас же забыл об этом. Далеко на том берегу, едва заметные, мерцали точки фонарей. Линия тусклых огоньков пешего перехода тянулась наискось через лед. По всей темной широкой пустыне Невы летел студеный ветер, звенел снегом, жалобно посвистывал в трамвайных проводах, в прорези чугунных перил моста.

Иван Ильич останавливался, глядел в эту мрачную темноту и снова шел, думая, как часто он думал теперь все об одном и том же: о Даше, о себе, о той минуте в вагоне, когда он, словно огнем, был охвачен счастьем.

Кругом все было неясно, смутно, противоречиво, враждебно этому счастью. Каждый раз приходилось делать усилие, чтобы спокойно сказать: «Я жив, счастлив, моя жизнь будет светла и прекрасна». Тогда, у окна, среди искр летящего вагона, сказать это было легко, — сейчас нужно было огромное усилие, чтобы отделить себя от тех полузастывших фигур в очередях, от воющего смертной тоской декабрьского ветра, от всеобщей убыли, нависающей гибели.

Иван Ильич был уверен в одном: любовь его к Даше, Дашина прелесть и радостное ощущение

самого себя, стоявшего тогда у вагонного окна и любимого Дашей, — в этом было добро. Уютный, старый, может быть, слишком тесный, но дивный храм жизни содрогнулся и затрещал от ударов войны, заколебались колонны, во всю ширину треснул купол, посыпались старые камни, и вот, среди летящего праха и грохота рушащегося храма, два человека, Иван Ильич и Даша, в радостном безумии любви, наперекор всему, пожелали быть счастливыми. Верно ли это?

Вглядываясь в мрачную темноту ночи, в мерцающие огоньки, слушая, как надрывающей тоской посвистывает ветер, Иван Ильич думал: «Зачем скрывать от себя, — выше всего желание счастья. Я хочу наперекор всему, — пусть. Могу я уничтожить очереди, накормить голодных, остановить войну? — Нет. Но если не могу, то должен ли я также исчезнуть в этом мраке, отказаться от счастья? — Нет, не должен. Но могу ли я, буду ли счастлив?..»

Иван Ильич перешел мост и, уже совсем не замечая дороги, шагал по набережной. Здесь ярко горели высокие, качаемые ветром электрические фонари. По оголенным торцам летела с сухим шорохом снежная пыль. Окна Зимнего дворца были темны и пустынны. У полосатой будки в

нанесенном сугробе стоял великан-часовой в тулупе и с винтовкой, прижатой к груди.

На ходу вдруг Иван Ильич остановился, поглядел на окна и еще быстрее зашагал, сначала борясь с ветром, потом подгоняемый в спину. Ему казалось, что он мог сказать сейчас всем, всем, всем людям ясную, простую истину, и все бы поверили в нее. Он бы сказал: «Вы видите, — так жить дальше нельзя: на ненависти построены государства, ненавистью проведены границы, каждый из вас — клубок ненависти — крепость с наведенными во все стороны орудиями. Жить — тесно и страшно. Весь мир задохнулся в ненависти, — люди истребляют друг друга, текут реки крови. Вам этого мало? Вы еще не прозрели? Вам нужно, чтобы и здесь, в каждом доме, человек уничтожал человека? Опомнитесь, бросьте оружие, разрушьте границы, раскройте двери и окна жизни… Много земли для хлеба, лугов для стад, горных склонов для виноградников… Неисчерпаемы недра земли, — всем достанет места… Разве не видите, что вы все еще во тьме отжитых веков…»

Извозчика и в этой части города не оказалось. Иван Ильич опять перешел Неву и углубился в кривые улочки Петербургской стороны. Думая,

разговаривая вслух, он наконец потерял дорогу и брел наугад по темноватым и пустынным улицам, покуда не вышел на набережную какого-то канала.

— Ну и прогулочка! — Иван Ильич, переводя дух, остановился, рассмеялся и взглянул на часы. Было ровно пять. Из-за ближнего угла, скрипя снегом, вынырнул большой открытый автомобиль с потушенными фонарями. На руле сидел офицер в расстегнутой шинели; узкое бритое лицо его было бледно, и глаза, как у сильно пьяного, — остекленевшие. Позади него второй офицер в съехавшей на затылок фуражке — лица его не было видно — обеими руками придерживал длинный рогожный сверток. Третий в автомобиле был штатский, с поднятым воротником пальто и в высокой котиковой шапке. Он привстал и схватил за плечо сидевшего у руля. Автомобиль остановился неподалеку от мостика. Иван Ильич видел, как все трое соскочили на снег, вытащили сверток, проволокли его несколько шагов по снегу, затем с усилием подняли, донесли до середины моста, перевалили через перила и сбросили под мост. Офицеры сейчас же вернулись к машине, штатский же некоторое время, перегнувшись, глядел вниз, затем, отгибая воротник, рысью до-

гнал товарищей. Автомобиль рванулся полным ходом и исчез.

— Фу ты, пакость какая, — пробормотал Иван Ильич, все эти минуты стоявший затаив дыхание. Он пошел к мостику, но сколько ни вглядывался с него, — в черной большой полынье под мостом ничего не было видно, только булькала вонючая и теплая вода из сточной трубы. — Фу ты, пакость какая, — пробормотал опять Иван Ильич и, морщась, пошел по тротуару вдоль канала. На углу он нашел наконец извозчика, обмерзшего древнего старичка на губастой лошади, и, когда, сев в санки и застегнув мерзлую полость, закрыл глаза, — все тело его загудело от усталости. «Я люблю, — вот это истинно, — подумал он, — как бы я ни поступал, если это от любви, — это хорошо».

# 34

Сверток в рогоже, сброшенный тремя людьми с моста в полынью, был телом убитого Распутина. Чтобы умертвить этого не по-человечески живучего и сильного мужика, пришлось напоить его вином, к которому был подмешан цианистый калий, затем выстрелить ему в грудь, в спину и в затылок и, наконец, раздробить голову кастетом. И все же, когда его тело было найдено и вытащено из полыньи, врач установил, что Распутин перестал дышать только уже подо льдом.

Это убийство было словно разрешением для всего того, что началось спустя два месяца. Распутин не раз говорил, что с его смертью рухнет трон и погибнет династия Романовых. Очевидно, в этом диком и яростном человеке было то смутное предчувствие беды, какое бывает у собак перед смертью в доме, и он умер с ужасным трудом — последний защитник трона, мужик, конокрад, исступленный изувер.

С его смертью во дворце наступило зловещее уныние, а по всей земле ликование; люди поздравляли друг друга. Николай Иванович писал

Кате из Минска: «В ночь получения известия офицеры штаба главнокомандующего потребовали в общежитие восемь дюжин шампанского. Солдаты по всему фронту кричат „ура“…»

Через несколько дней в России забыли об этом убийстве, но не забыли во дворце: там верили пророчеству и с мрачным отчаянием готовились к революции. Тайно Петроград был разбит на секторы, у великого князя Сергея Михайловича были затребованы пулеметы, когда же он в пулеметах отказал, то их выписали из Архангельска и в количестве четырехсот двадцати штук разместили на чердаках, на скрещениях улиц. Было усилено давление на печать, газеты выходили с белыми столбцами. Императрица писала мужу отчаянные письма, стараясь пробудить в нем волю и твердость духа. Но царь, как зачарованный, сидел в Могилеве среди верных, — в этом у него не было сомнения, — десяти миллионов штыков. Бабьи бунты и вопли в петроградских очередях казались ему менее страшными, чем армии трех империй, давившие на русский фронт. В это же время, тайно от государя, в Могилеве начальник штаба верховного главнокомандующего, генерал Алексеев, готовил план ареста царицы и уничтожения немецкой партии.

В январе, в предупреждение весенней кампании, было подписано наступление на Северном фронте. Бой начался под Ригой, студеной ночью. Вместе с открытием артиллерийского огня — поднялась снежная буря. Солдаты двигались в глубоком снегу, среди воя метели и пламени ураганом рвущихся снарядов. Десятки аэропланов, вылетевших в бой на подмогу наступавшим частям, ветром прибивало к земле, и они во мгле снежной бури косили из пулеметов врагов и своих. В последний раз Россия пыталась разорвать сдавившее ее железное кольцо, в последний раз русские мужики, одетые в белые саваны, гонимые полярной вьюгой, дрались за империю, охватившую шестую часть света, за самодержавие, некогда построившее землю и грозное миру и ныне ставшее лишь слишком долго затянувшимся пережитком, исторической нелепостью, смертельной болезнью всей страны.

Десять дней длился свирепый бой, тысячи жизней легли под сугробами. Наступление было остановлено и замерло. Фронт снова застыл в снегах.

# 35

Иван Ильич рассчитывал на рождество съездить в Москву, но вместо этого получил заводскую командировку в Швецию и вернулся оттуда только в феврале; сейчас же исхлопотал трехнедельный отпуск и телеграфировал Даше, что выезжает двадцать шестого. Перед отъездом пришлось целую неделю отдежурить в мастерских. Ивана Ильича поразила перемена, происшедшая за его отсутствие: заводское начальство стало, как никогда, вежливое и заботливое, рабочие же до того все были злы, что вот-вот, казалось, кинет кто-нибудь о землю ключом и крикнет: «Бросай работу, выходи на улицу...»

Особенно возбуждали их в эти дни отчеты Государственной думы, где шли прения по продовольственному вопросу. По этим отчетам было ясно видно, что правительство, едва сохраняя присутствие духа и достоинство, из последних сил отбивается от нападения, и что царские министры разговаривают уже не как чудо-богатыри, а на человеческом языке, и что речи министров и то, что говорит Дума, — неправда, — а настоящая

правда на устах у всех: зловещие и темные слухи о всеобщей, и в самом близком времени, гибели фронта и тыла от голода и разрухи.

Во время последнего дежурства Иван Ильич заметил особенную тревогу у рабочих. Они поминутно бросали станки и совещались — видимо, ждали каких-то вестей. Когда он спросил у Василия Рублева, о чем совещаются рабочие, Васька вдруг со злобой накинул на плечо ватный пиджак и вышел из мастерской, хлопнув дверью.

— Ужасно, сволочь, злой стал Василий, — сказал Иван Рублев, — револьвер где-то раздобыл, с собой носит.

Но Василий скоро появился опять, и в глубине мастерской его окружили рабочие, сбежались от всех станков. «Командующего войсками Петербургского военного округа генерал-лейтенанта Хабалова объявление…» — громко, с ударениями начал читать Васька белую афишку. — «В последние дни отпуск муки в пекарнях и выпечка хлеба производится в том же количестве, что и прежде…»

— Врет, врет! — сейчас же крикнули голоса. — Третий день хлеба не выдают…

— «Недостатка в продаже хлеба не должно быть…»

— Приказал, распорядился!

— «Если же в некоторых лавках хлеба не хватило, то потому, что многие, опасаясь недостатка хлеба, скупали его в запас на сухари…»

— Кто это сухари печет? Покажи эти сухари, — завопил чей-то голос. — Ему самому в глотку сухарь!

— Молчите, товарищи! — перекрикнул Васька. — Товарищи, мы должны выйти на улицу… С Обуховского завода четыре тысячи рабочих идут на Невский… И с Выборгской идут…

— Верно! Пускай хлеб покажут!

— Хлеба вам не покажут, товарищи. В городе только на три дня муки, и больше хлеба и муки не будет. Поезда все стоят за Уралом… За Уралом элеваторы забиты хлебом… В Челябинске три миллиона пудов мяса гниет на станции… В Сибири колеса мажут сливочным маслом…

Вся мастерская загудела. Василий поднял руку:

— Товарищи… хлеба нам никто не даст, покуда сами его не возьмем… Вместе с другими заводами выходим, товарищи, на улицу с лозунгом: «Вся власть Советам»…

— Снимайся!.. Бросай работу!.. Гаси горны!.. — заговорили рабочие, разбегаясь по мастерской.

К Ивану Ильичу подошел Василий Рублев. Уси-

ки у него вздрагивали.

— Уходи, — проговорил он внятно, — уходи, покуда цел!

Иван Ильич дурно спал остаток этой ночи и проснулся от беспокойства. Утро было пасмурное: снаружи на железный карниз падали капли… Иван Ильич лежал, собираясь с мыслями. Нет, беспокойство его не покидало, и раздражительно, словно в самый мозг, падали капли. «Надо не ждать двадцать шестого, а ехать завтра», — подумал он, скинул рубаху и голый пошел в ванну, пустил душ и стал под ледяные секущие струи.

До отъезда было много дел. Иван Ильич наспех выпил кофе, вышел на улицу и вскочил в трамвай, полный народу; здесь опять почувствовал ту же тревогу. Как и всегда, едущие хмуро молчали, поджимали ноги, со злобой выдергивали полы одежды из-под соседа, под ногами было липко, по окнам текли капли, раздражительно дребезжал звонок на передней площадке. Напротив Ивана Ильича сидел военный чиновник с подтечным желтым лицом; бритый рот его застыл в кривой усмешке, глаза с явно несвойственной им живостью глядели вопросительно. Приглядевшись, Иван Ильич заметил, что все едущие именно так — недоумевая и вопросительно — поглядывают

друг на друга.

На углу Большого проспекта вагон остановился. Пассажиры зашевелились, стали оглядываться, несколько человек спрыгнуло с площадки. Вагоновожатый снял ключ, сунул его за пазуху синего тулупа и, приоткрыв переднюю дверцу, сказал со злой тревогою:

— Дальше вагон не пойдет.

На Каменноостровском и по всему Большому проспекту, куда хватал только глаз, стояли трамвайные вагоны. На тротуарах было черно, — шевелился народ. Иногда с грохотом опускалась железная ставня на магазинном окне. Падал мокрый снежок.

На крыше одного вагона появился человек в длинном расстегнутом пальто, сорвал шапку и, видимо, что-то закричал. По толпе прошел вздох — о-о-о-о-о… Человек начал привязывать веревку к крыше трамвая; опять выпрямился и опять сорвал шапку. О-о-о-о! — прокатилось по толпе. Человек прыгнул на мостовую. Толпа отхлынула, и тогда стало видно, как плотная кучка людей, разъезжаясь по желто-грязному снегу, тянет за веревку, привязанную к трамваю. Вагон начал крениться. Толпа отодвинулась, засвистали мальчишки. Но вагон покачался и стал на место,

слышно было, как стукнули колеса. Тогда к кучке тянущих побежали со всех сторон люди, озабоченно и молча стали хвататься за веревку. Вагон опять накренился и вдруг рухнул, — зазвенели стекла. Толпа, продолжая молчать, двинулась к опрокинутому вагону.

— Пошла писать губерния! — проговорил сзади Ивана Ильича тот самый чиновник с желтым подтечным лицом. И сейчас же несколько нестройных голосов затянуло:

Вы жертвою пали в борьбе роковой…

По пути к Невскому Иван Ильич видел те же недоумевающие взгляды, встревоженные лица. Повсюду, как маленькие водовороты, вокруг вестников новостей собирались жадные слушатели. В подъездах стояли раскормленные швейцары, высовывала нос горничная, оглядывая улицу. Какой-то господин с портфелем, с холеной бородой, в расстегнутой хорьковой шубе, спрашивал у дворника:

— Скажите, мой дорогой, что там за толпа? Что там, собственно, происходит?

— Хлеба требуют, бунтуют, барин.

— Ага!

На перекрестке стояла бледная дама, держа на

руке склерозную собачку с висящим дрожащим задом; у всех проходящих дама спрашивала:

— Что там за толпа?.. Чего они хотят?

— Революцией пахнет, сударыня, — проходя, уже весело воскликнул господин в хорьковой шубе.

Вдоль тротуара, шибко размахивая полами полушубка, шел рабочий, нездоровое лицо его подергивалось.

— Товарищи, — вдруг, обернувшись, крикнул он надорванным, плачущим голосом, — долго будут кровь нашу пить?..

Вот толстощекий офицер-мальчик остановил извозчика и, придерживаясь за его кушак, глядел на волнующиеся кучки народа, точно на затмение солнца.

— Погляди, погляди! — рыданул, проходя мимо него, рабочий.

Толпа увеличивалась, занимала теперь всю улицу, тревожно гудела и двинулась по направлению к мосту. В трех местах выкинули белые флажки. Прохожие, как щепки по пути, увлекались этим потоком. Иван Ильич перешел вместе с толпою мост. По туманному, снежному и рябому от следов Марсову полю проскакало несколько всадников. Увидев толпу, они повер-

нули лошадей и шагом приблизились. Один из них, румяный полковник с раздвоенной бородкой, смеясь, взял под козырек. В толпе грузно и уныло запели. Из мглы Летнего сада, с темных голых ветвей, поднялись взъерошенные вороны, испугавшие некогда убийц императора Павла.

Иван Ильич шел впереди; горло его было стиснуто спазмой. Он прокашливался, но снова и снова поднималось в нем волнение. Дойдя до Инженерного замка, он свернул налево и пошел по Литейному.

На Литейный проспект с Петербургской стороны вливалась вторая толпа, далеко растянувшись по мосту. По пути ее все ворота были набиты любопытными, во всех окнах — возбужденные лица.

Иван Ильич остановился у ворот рядом со старым чиновником, у которого тряслись собачьи щеки. Направо, вдалеке, поперек улицы стояла цепь солдат, неподвижно опираясь на ружья.

Толпа подходила, ход ее замедлялся. В глубину полетели испуганные голоса:

— Стойте, стойте!..

И сейчас же начался вой тысячи высоких женских голосов:

— Хлеба, хлеба, хлеба!..

— Нельзя допускать, — проговорил чиновник и строго, поверх очков, взглянул на Ивана Ильича. В это время из ворот вышли два рослых дворника и плечами налегли на любопытных. Чиновник затряс щеками, какая-то барышня в пенсне воскликнула: «Не смеешь, дурак!» Но ворота закрыли. По всей улице начали закрывать подъезды и ворота.

— Не надо, не надо! — раздавались испуганные голоса.

Воющая толпа надвигалась. Впереди нее выскочил юноша с краснощеким, взволнованным лицом, в широкополой шляпе.

— Знамя вперед, знамя вперед! — пошли голоса.

В это же время перед цепью солдат появился рослый, тонкий в талии, офицер в заломленной папахе. Придерживая у бедра кобуру, он кричал, и можно было разобрать:

— Дан приказ стрелять… Не хочу кровопролития… Разойдитесь!..

— Хлеба, хлеба, хлеба! — дико завыли голоса… И толпа двигалась на солдат… Мимо Ивана Ильича начали протискиваться люди с обезумевшими глазами… — Хлеба!.. Долой!.. Сволочи!.. — Один упал и, задирая сморщенное лицо, вскрикивал

без памяти: — Ненавижу… ненавижу!

Вдруг точно рванули коленкор вдоль улицы. Сразу все стихло. Какой-то гимназист обхватил фуражку и нырнул в толпу… Чиновник поднял узловатую руку для крестного знамения. Залп дан был в воздух, второго залпа не последовало, но толпа отступила, частью рассеялась, часть ее с флагом двинулась к Знаменской площади. На желтом снегу улицы остались шапки и калоши. Выйдя на Невский, Иван Ильич опять услышал гул множества голосов. Это двигалась третья толпа, перешедшая Неву с Васильевского острова. Тротуары были полны нарядных женщин, военных, студентов, незнакомцев иностранного вида. Столбом стоял английский офицер с розово-детским лицом. К стеклам магазинных дверей липли напудренные, с черными бантами, продавщицы. А посреди улицы, удаляясь в туманную ее ширину, шла злая толпа работниц и рабочих, завывая:

— Хлеба, хлеба, хлеба!..

Сбоку тротуара извозчик, боком навалившись на передок саней, весело говорил багровой, испуганной барыне:

— Куда же я, сами посудите, поеду, — муху здесь не пропускают.

— Поезжай, дурак, не смей со мной разгова-

ривать!..

— Нет, нынче я уж не дурак… Слезайте с саней…

Прохожие на тротуаре толкались, просовывали головы, слушали, спрашивали взволнованно:

— Сто человек убито на Литейном?..

— Врут… Женщину беременную застрелили и старика…

— Господи, старика-то за что же?

— Протопопов всем распоряжается. А он, изволите видеть, сумасшедший…

— Господа, новость… Невероятно! Всеобщая забастовка!

— Как — и вода, и электричество?..

— Вот бы дал бог наконец…

— Молодцы рабочие!..

— Не радуйтесь, — задавят…

— Смотрите — вас бы раньше не задавили, с вашим выражением лица…

Иван Ильич, досадуя, что потерял много времени, пошел по нужным ему адресам, но никого не застал дома и, рассерженный, снова побрел по Невскому.

По улице опять катили санки, дворники вышли сгребать снег, на перекрестке появился великий человек в черной шинели и поднимал над

возбужденными головами, над растрепанными мыслями обывателей магический жезл порядка — белую дубинку. Перебегающий улицу злорадный прохожий, оборачиваясь на городового, думал: «Погоди, голубчик, дай срок». Но никому и в голову не могло войти, что срок уже настал, и этот колоннообразный усач с дубинкой был уже не более как призрак, и что назавтра он исчезнет с перекрестка, из бытия, из памяти…

— Телегин, Телегин! Остановись, глухой тетерев!..

К Ивану Ильичу подбегал инженер Струков в картузе на затылке, с яростно веселыми глазами.

— Куда идешь? Зайдем-ка в кофейню…

Он подхватил Телегина под руку и втащил в кофейню. Здесь от сигарного дыма ело глаза. Люди в котелках, в котиковых шапках, в раскинутых шубах спорили, кричали, вскакивали. Струков протолкался к окну и сел за столик напротив Ивана Ильича.

— Рубль падает! — воскликнул он, хватаясь обеими руками за столик. — Бумаги все летят к черту. Вот где сила!.. Рассказывай, что видел…

— Был на Литейном, там стреляли, но, кажется, в воздух…

— Что же на все это скажешь?

— Не знаю. По-моему, правительство серьезно теперь должно взяться за подвозку продовольствия.

— Поздно! — закричал Струков, ударяя по стеклянной доске столика. — Поздно!.. Мы сами свои собственные кишки сожрали… Войне конец, баста!.. Знаешь, что на заводах кричат? Созыв Совета рабочих депутатов — вот что они кричат. И никому, кроме Советов, не верить!

— Что ты говоришь?

— Это самый настоящий конец, голубчик! Самодержавие лопнуло… Протри глаза… Это и не бунт… Это даже не революция… Это начало хаоса… Хаосище… — На лбу Струкова, поперек, под каплями пота, надулась жила. — Через три дня — ни государства, ни армии, ни губернаторов, ни городовых… Сто восемьдесят миллионов косматых людей. А ты понимаешь, — что такое косматый человек? Тигры и носороги — детские игрушки. Клеточка распавшегося организма — вот что такое косматый человек. Это очень страшно. Это когда в капле воды инфузории грызут инфузорий.

— А ну тебя к черту, — сказал Телегин, — ничего такого нет и не будет. Ну да, — революция. Так ведь и слава богу.

— Нет! То, что ты видел сегодня, — не революция. Это распадение материи. Революция придет еще, придет… Да мы-то ее с тобой не увидим.

— А может быть, и так, — сказал Иван Ильич, вставая. — Васька Рублев — вот это революция… А ты, Струков, нет. Уж очень ты шумишь, заумно разговариваешь…

Иван Ильич вернулся домой рано и сейчас же лег спать. Но забылся сном лишь на минуту, — вздохнул, тяжело повернулся на бок, открыл глаза. Пахло кожей чемодана, стоявшего раскрытым на стуле. В этом чемодане, купленном в Стокгольме, лежал чудесной кожи серебряный несессер — подарок для Даши. Иван Ильич чувствовал к нему нежность и каждый день разворачивал его из шелковистой бумаги и рассматривал. Он даже ясно представлял себе купе вагона с длинным, как в нерусских поездах, окном и на койке — Дашу в дорожном платье: на коленях у нее эта пахнущая духами и кожей вещица — знак беззаботных, чудесных странствий.

Иван Ильич глядел, как за окном в мглистом небе разливались грязно-лиловым светом отражения города. И он ясно почувствовал — с какою тоскливой ненавистью должны смотреть на этот свет те, кто завывал сегодня о хлебе. Нелюбимый,

тяжкий, постылый город… Мозг и воля страны… И вот он поражен смертельной болезнью… Он в агонии…

Иван Ильич вышел из дому часов в двенадцать. Туманный широкий проспект был пустынен. За слегка запотевшим окном цветочного магазина стоял в хрустальной вазе пышный букет красных роз, осыпанных большими каплями воды. Иван Ильич с нежностью взглянул на него сквозь падающий снег.

Из боковой улицы появился казачий разъезд — пять человек. Крайний из них повернул лошадь и рысью подъехал к тротуару, где шли, тихо и взволнованно разговаривая, трое людей в кепках. Люди эти остановились, и один, что-то весело говоря, взял под уздцы казачью лошадь. Движение это было так необычно, что у Ивана Ильича дрогнуло сердце. Казак же засмеялся, вскинул головой и, пустив топотавшую зобастую лошадь, догнал товарищей, и они крупной рысью ушли во мглу проспекта.

Близ набережной Иван Ильич начал встречать кучки взволнованных обывателей, — видимо, после вчерашнего никто не мог успокоиться: совещались, передавали слухи и новости, — много народу шло к Неве. Там, вдоль гранитного пара-

пета, черным муравейником двигалось по снегу несколько тысяч любопытствующих. У самого моста шумела кучка горланов, — они кричали солдатам, которые, преграждая проход, стояли поперек моста и вдоль до самого его конца, едва видного за мглой падающего снега.

— Зачем мост загородили! Пустите нас!

— Нам в город нужно.

— Безобразие, — обывателей стеснять…

— Мосты для ходьбы, не для вашего брата…

— Русские вы или нет?.. Пустите нас!

Рослый унтер-офицер, с четырьмя Георгиями, ходил от перил до перил, звякая большими шпорами. Когда ему крикнули из толпы ругательство, он обернул к горланам хмурое, тронутое оспой, желтоватое лицо:

— Эх, а еще господа, — выражаетесь. — Закрученные усы его вздрагивали. — Не могу допустить проходить по мосту… Принужден обратить оружие в случае неповиновения…

— Солдаты стрелять не станут, — опять закричали горланы.

— Поставили тебя, черта рябого, собаку…

Унтер-офицер опять оборачивался и говорил, и хотя голос у него был хриплый и отрывистый — военный, в словах было то же, что и у всех в

эти дни, — тревожное недоумение. Горланы чувствовали это, ругались и напирали на заставу.

Какой-то длинный, худой человек, в криво надетом пенсне, с длинной шеей, обмотанной шарфом, вдруг заговорил громко и глухо:

— Стесняют движение, везде заставы, мосты оцеплены, полнейшее издевательство. Можем мы свободно передвигаться по городу или нам уж и этого нельзя? Граждане, предлагаю не обращать внимания на солдат и идти по льду на ту сторону…

— Верно! По льду! Урра!.. — И сейчас же несколько человек побежало к гранитной, покрытой снегом лестнице, спускающейся к реке. Длинный человек в развевающемся шарфе решительно зашагал по льду мимо моста. Солдаты, перегибаясь сверху, кричали:

— Эй, воротись, стрелять будем… Воротись, черт длинный!..

Но он шагал, не оборачиваясь. За ним, гуськом, рысью, пошло все больше и больше народу. Люди горохом скатывались с набережной на лед, бежали черными фигурками по снегу. Солдаты кричали им с моста, бегущие прикладывали руки ко рту и тоже кричали. Один из солдат вскинул было винтовку, но другой толкнул его в плечо, и

тот не выстрелил.

Как выяснилось впоследствии, ни у кого из вышедших на улицу не было определенного плана, но когда обыватели увидели заставы на мостах и перекрестках, то всем, как повелось издавна, захотелось именно того, что сейчас не было дозволено: ходить через эти мосты и собираться в толпы. Распалялась и без того болезненная фантазия. По городу полетел слух, что все эти беспорядки кем-то руководятся.

К концу второго дня на Невском залегли части Павловского полка и открыли продольный огонь по кучкам любопытствующих и по отдельным прохожим. Обыватели стали понимать, что начинается что-то, похожее на революцию.

Но где был ее очаг и кто руководил ею, — никто не знал. Не знали этого ни командующий войсками, ни полиция, ни, тем более, диктатор и временщик, симбирский суконный фабрикант, которому в свое время в Троицкой гостинице в Симбирске помещик Наумов проломил голову, прошибив им дверную филенку, каковое повреждение черепа и мозга привело его к головным болям и неврастении, а впоследствии, когда ему была доверена в управление Российская империя, — к роковой растерянности. Очаг ре-

волюции был повсюду, в каждом доме, в каждой обывательской голове, обуреваемой фантазиями, злобой и недовольством. Это ненахождение очага революции было зловеще. Полиция хватала призраки. На самом деле ей нужно было арестовать два миллиона четыреста тысяч жителей Петрограда.

Весь этот день Иван Ильич провел на улице, — у него так же, должно быть, как и у всех, было странное чувство неперестающего головокружения. Он чувствовал, как в городе росло возбуждение, почти сумасшествие, — все люди растворились в общем, массовом головокружении, и эта масса, бродя и волнуясь по улицам, искала, жаждала знака, молнии, которая, ослепив, слила бы всех в один комок.

Стрельба вдоль Невского мало кого пугала. Люди по-звериному собирались к двум трупам — женщины в ситцевой юбке и старика в енотовой шубе, лежавшим на углу Владимирской улицы… Когда выстрелы становились чаще, люди разбегались и снова крались вдоль стен.

В сумерки стрельба затихла. Подул студеный ветер, очистил небо, и в тучах, грудами наваленных за морем, запылал мрачный закат. Острый серп месяца встал над городом низко, в том месте,

где небо было угольно-черное.

Фонари не зажглись в эту ночь. Окна были темны, подъезды закрыты. Вдоль мглистой пустыни Невского стояли в козлах ружья. На перекрестках виднелись рослые фигуры часовых. Лунный свет поблескивал то на зеркальном окне, то на полосе рельсов, то на стали штыка. Было тихо и спокойно. Только в каждом доме неживым овечьим голосом бормотали телефонные трубки сумасшедшие слова о событиях.

Утром 25 февраля Знаменская площадь была полна войсками и полицией. Перед Северной гостиницей стояли конные полицейские на золотистых, тонконогих танцующих лошадках. Пешие полицейские, в черных шинелях, расположились вокруг памятника Александру III и — кучками по площади. У вокзала стояли казаки в заломленных папахах, с тороками сена, бородатые и веселые. Со стороны Невского виднелись грязно-серые шинели павловцев.

Иван Ильич с чемоданчиком в руке взобрался на каменный выступ вокзального въезда, отсюда хорошо была видна вся площадь.

Посреди ее на кроваво-красной глыбе гранита, на огромном коне, опустившем от груза седока бронзовую голову, сидел тяжелый, как земная

тяга, император, — угрюмые плечи его и кругленькая шапочка были покрыты снегом. К его подножию на площади напирали со стороны пяти улиц толпы народа с криками, свистом и руганью.

Так же, как и вчера на мосту, солдаты, в особенности казаки, попарно шагом подъезжавшие к напирающему со всех сторон народу, перебранивались и зубоскалили. В кучках городовых, рослых и хмурых людей, было молчание и явная нерешительность. Иван Ильич хорошо знал эту тревогу в ожидании приказа к бою, — враг уже на плечах, всем ясно, что нужно делать, но с приказом медлят, и минуты тянутся мучительно. Вдруг звякнула вокзальная дверь, и появился на лестнице бледный жандармский офицер с полковничьими погонами, в короткой шинели. Вытянувшись, он оглянул площадь, — светлые глаза его скользнули по лицу Ивана Ильича… Легко сбежав вниз между расступившихся казаков, он стал говорить что-то есаулу, подняв к нему бородку. Есаул с кривой усмешкой слушал его, развалясь в седле. Полковник кивнул в сторону Старого Невского и пошел через площадь по снегу подпрыгивающей походкой. К нему подбежал пристав, туго перепоясанный по огромному

животу, рука у него тряслась под козырьком. А со стороны Старого Невского увеличивались крики подходившей толпы, и, наконец, стало различимо пение. Ивана Ильича кто-то крепко схватил за рукав, рядом с ним вскарабкался возбужденный человек без шапки, с багровой ссадиной через грязное лицо.

— Братцы, казаки! — закричал он тем страшным, надрывающимся голосом, каким кричат перед убийством и кровью, диким, степным голосом, от которого падает сердце, безумием застилает глаза. — Братцы, убили меня… Братцы, заступитесь… Убивают!

Казаки, повернувшись в седлах, молча глядели на него. Лица их бледнели, глаза расширялись.

В это же время на Старом Невском черно и густо волновались головы подошедшей толпы колпинских рабочих. Ветром трепало мокрый кумачовый флаг. Конные полицейские отделились от фасада Северной гостиницы, и вдруг блеснули в руках их выхваченные широкие шашки. Неистовый крик поднялся в толпе. Иван Ильич опять увидел жандармского полковника, он бежал, поддерживая кобуру револьвера, и другой рукой махал казакам.

Из толпы колпинских полетели осколки льдин

и камни в полковника и в конных городовых. Тонконогие золотистые лошадки пуще заплясали. Слабо захлопали револьверные выстрелы, появились дымки у подножия памятника, — это городовые стреляли в колпинских. И сейчас же в строю казаков, в десяти шагах от Ивана Ильича, взвилась на дыбы рыжая, горбоносая донская кобыла; казак, нагнувшись к шее, толкнул ее, в несколько махов долетел он до жандармского полковника и на ходу, выхватив шашку, наотмашь свистнул ею и снова поднял кобылу на дыбы. Всем строем двинулись к месту убийства казаки. Толпы народа, прорвав заставы, разлились по площади… Кое-где хлопнули выстрелы и были покрыты общим криком:

— Урра… урррра-а…

— Телегин, ты что тут делаешь?

— Я должен во что бы то ни стало сегодня уехать. На товарном поезде, на паровозе — все равно…

— Плюнь, сейчас нельзя уезжать… Голубчик, — ведь революция… — Антошка Арнольдов, небритый, облезлый, с красными веками выкаченных глаз, впился пальцами Ивану Ильичу в отворот пальто. — Видел, как жандарму голову смахнули?.. Как футбольный мяч покатилась, —

красота!.. Ты, дурак, не понимаешь, — революция! — Антошка бормотал, точно в бреду. Стояли они, прижатые толпой, в проходе вокзала. — Утром Литовский и Волынский полки отказались стрелять… Рота Павловского полка с оружием вышла на улицу… В городе кавардак, никто ничего не понимает… На Невском солдаты, как мухи, шатаются, боятся идти в казармы…

# 36

Даша и Катя в шубах и в пуховых платках, накинутых на голову, быстро шли по еле освещенной Малой Никитской. Хрустели под ногами тонкие пленки льда. На захолодевшее зеленоватое небо поднимался двурогий ясный месяц. Кое-где брехали за воротами собаки. Даша, смеясь во влажный пушок платка, слушала, как хрустят льдинки.

— Катя, если бы выдумать такой инструмент и приставить сюда, — Даша положила руку на грудь, — можно бы записывать необыкновенные вещи... — Даша тихо запела. Катя взяла ее под руку.

— Ну, идем, идем!

Через несколько шагов Даша опять остановилась.

— Катя, а ты веришь, что — революция?

Вдали колола глаза электрическая лампочка над подъездом Юридического клуба, где сегодня в половине десятого вечера, под влиянием сумасшедших слухов из Петрограда, было устроено кадетской фракцией публичное собрание для обмена впечатлениями и для нахождения общей

формулы действия в эти тревожные дни.

Сестры вбежали по лестнице во второй этаж и, не снимая шуб, только откинув платки, вошли в полную народа залу, напряженно слушавшую румяного, бородатого, тучного барина с приятными движениями больших рук.

— …События нарастают с головокружительной быстротой, — говорил он красивым баритоном. — В Петрограде вчера вся власть перешла к генералу Хабалову, который расклеил по городу следующую афишу: «В последние дни в Петрограде произошли беспорядки, сопровождавшиеся насилием и посягательством на жизнь воинских и полицейских чинов. Воспрещаю всякое скопление на улицах. Предваряю население Петрограда, что мною подтверждено в войсках употреблять в дело оружие, не останавливаясь ни перед чем для водворения порядка в столице…»

— Палачи! — прогудел чей-то семинарский бас из глубины зала.

— …Это объявление, как и следовало ожидать, переполнило чашу терпения. Двадцать пять тысяч солдат всех родов оружия петроградского гарнизона перешли на сторону восставших…

Он не успел договорить, — зал треснул от рукоплесканий. Несколько человек вскочило на

стулья и кричало что-то, делая жесты, будто протыкая насквозь старый порядок. Оратор с широкой улыбкой глядел на бунтующий зал, — затем поднял руку и продолжал:

— Только что получена чрезвычайной важности телефонограмма. — Он полез в карман клетчатого пиджака и развернул листочек бумажки. — Сегодня председателем Государственной думы, Родзянко, послана государю телеграмма по прямому проводу: «Положение серьезное. В столице анархия. Правительство парализовано. Транспорт, продовольствие и топливо пришли в полное расстройство. На улице происходит беспорядочная стрельба. Частью войска стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Молю бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца».

Румяный барин опустил листочек и блестящими глазами обвел зал. Такого захватывающего дух спектакля не помнили москвичи.

— Мы стоим, господа, на грани готового совершиться величайшего события нашей истории, — продолжал он бархатным, рокочущим

голосом. — Быть может, в эту минуту там, — он вытянул руку, как на статуе Дантона, — там уже свершилось чаяние стольких поколений, и скорбные тени декабристов отомщены…

— Ох, господи! — не выдержав, ахнул женский голос.

— Быть может, завтра вся Россия сольется в одном светлом братском хоре, — свобода!..

— Ура!.. Свобода!.. — закричали голоса.

Барин опустился на стул и провел обратной стороной ладони по лбу своему. С угла стола поднялся высокий человек с соломенными длинными волосами, с узким лицом, с рыжей мертвой бородой. Не глядя ни на кого, он начал говорить насмешливым голосом:

— Только что я слышал, — какие-то товарищи кричали: ура, свобода. Правильно. Чего лучше: арестовать в Могилеве Николая Второго, отдать под суд министров, пинками прогнать губернаторов, городовых… Развернуть красное знамя революции… Начало правильное… По имеющимся сообщениям, революционный процесс начался правильно, энергично. По всей видимости, на этот раз не сорвется. Но вот только что передо мной очень красиво говорил один барин. Он сказал, — или я ослышался, — он выражал

полное удовлетворение по поводу готовящейся совершиться революции и предполагал в самом недалеком будущем слиться со всей Россией в одном братском хоре…

Человек с соломенными волосами вытащил носовой платок и приложил его ко рту, будто бы стараясь скрыть усмешку. Но скулы его покрылись пятнами, он закашлялся, подняв костлявые плечи. Позади Даши, сидевшей на одном стуле с сестрой, кто-то спросил:

— Кто это говорит?

— Товарищ Кузьма, — ответили быстрым шепотом, — в тысяча девятьсот пятом году был в Совете рабочих депутатов. Недавно вернулся из ссылки.

— Я бы немного обождал с восторгом на месте предыдущего оратора, — продолжал товарищ Кузьма, и вдруг восковое лицо его стало злым и решительным. — Двенадцать миллионов крестьян приготовлены к убою, они еще на фронтах… Миллионы рабочих задыхаются в подвалах, голодают в очередях. На спинах рабочих и крестьян, что ли, станете вы распевать братский хор…

В зале раздалось шиканье, возмущенный голос крикнул: «Это провокация!» Румяный барин пожал плечами и тронул колокольчик. Товарищ

Кузьма продолжал говорить:

— …Империалисты швырнули Европу в чудовищную войну, буржуазные классы, сверху донизу, провозгласили ее священной, — войну за мировые рынки, за неслыханное торжество капитала… Желтая сволочь, социал-демократы поддержали хозяина под ручку, признали: так точно-с, война национальна и священна. Крестьян и рабочих погнали на убой… Кто, я спрашиваю, кто поднял голос в эти кровавые дни?

— Что он говорит?.. Кто он такой?.. Заставьте его замолчать! — раздались злые голоса. Поднялся шум. Иные вскочили, жестикулируя.

— …Час пробил… Пламя революции должно перекинуться в самую толщу крестьян и рабочих…

Дальнейшего совсем уже нельзя было расслышать за шумом в зале. Несколько человек в визитках подбежало к столу. Товарищ Кузьма попятился с эстрады и скрылся за дверью. На его месте появилась знаменитая деятельница по детскому воспитанию.

— Возмутительная речь предыдущего оратора…

В это время кто-то у самого уха прошептал Даше взволнованно и нежно:

— Здравствуй, родная моя…

Даша, даже не оборачиваясь, стремительно поднялась, — в дверях стоял Иван Ильич. Она взглянула: самый красивый на свете, мой собственный человек. Он снова, как это не раз с ним бывало, был потрясен тем, что Даша совсем не та, какой он ее мысленно представлял, но бесконечно краше: горячий румянец залил ее щеки, сине-серые глаза бездонны, как два озера. Она была совершенна, ей ничего не было больше нужно. Даша сказала тихо: «Здравствуй», — взяла его под руку, и они вышли на улицу.

На улице Даша остановилась и, улыбаясь, глядела на Ивана Ильича. Вздохнула, подняла руки и поцеловала его в губы. От нее пахло женственной прелестью горьковатых духов. Молча Даша опять взяла его под руку, и они пошли по хрустящим корочкам льда, поблескивающим от света лунного серпа, висящего низко в глубине улицы.

— Ах, я тебя люблю, Иван! Как я ждала тебя…

— Я не мог, ты знаешь…

— Ты не сердись, что я тебе писала дурные письма, — я не умею писать…

Иван Ильич остановился и глядел ей в поднятое к нему, молча улыбающееся лицо. Особенно милым, простым оно было от пухового платка, — под ним темнели полоски бровей. Он осторожно при-

близил Дашу к себе, она переступила ботиками и прижалась к нему, продолжая глядеть в глаза. Он опять поцеловал ее, и они опять пошли.

— Ты надолго, Иван?

— Не знаю, — такие события…

— Да, знаешь, ведь — революция.

— Ты знаешь, — я на паровозе приехал…

— Знаешь, Иван, что… — Даша пошла с ним в ногу и глядела на кончики своих ботиков.

— Что?

— Я теперь поеду с тобой — к тебе…

Иван Ильич не ответил. Даша только почувствовала, как он несколько раз пытался глубоко вдохнуть в себя воздух. Ей стало нежно и жалко его.

# 37

Следующий день был замечателен тем, что им подтверждалось понятие об относительности времени. Так, извозчик вез Ивана Ильича из гостиницы с Тверской до Арбатского переулка приблизительно года полтора. «Нет, барин, прошло время за полтинники-то ездить, — говорил извозчик. — В Петрограде волю взяли. Не нынче завтра в Москве будем брать. Видишь ты — городовой стоит. Подъехать к нему, сукиному сыну, и кнутом по морде ожечь. Погодите, барин, со всеми расправимся».

В дверях столовой Ивана Ильича встретила Даша.

Она была в халатике, пепельные волосы ее были наскоро сколоты. От нее пахло свежей водой. Колокол времени ударил, время остановилось. Все оно было наполнено Дашиными словами, смехом, ее сияющими от утреннего солнца легкими волосами. Иван Ильич испытывал беспокойство даже тогда, когда Даша уходила на другой конец стола. Даша раскрывала дверцы буфета, поднимала руки, с них соскальзывали

широкие рукава халатика. Иван Ильич думал, что у людей таких рук быть не может, только две белые оспинки выше локтя удостоверяли, что это все-таки человеческие руки. Даша доставала чашку и, обернув светловолосую голову, говорила что-то удивительное и смеялась.

Она заставила Ивана Ильича выпить несколько чашек кофе. Она говорила слова, и Иван Ильич говорил слова, но, очевидно, человеческие слова имели смысл только во времени, движущемся обыкновенно, — сегодня же в словах смысла не было. Екатерина Дмитриевна, сидевшая тут же в столовой, слушала, как Телегин и Даша, удивляясь восторженно и немедленно забывая, говорят необыкновенную чепуху по поводу кофе, какого-то кожаного несессера, срубленной в Петрограде головы, Дашиных волос, рыжеватых — как странно — на ярком солнце.

Горничная принесла газеты. Екатерина Дмитриевна развернула «Русские ведомости», ахнула и начала читать вслух приказ императора о роспуске Государственной думы. Даша и Телегин страшно этому удивились, но дальше читать «Русские ведомости» Екатерина Дмитриевна стала уже про себя. Даша сказала Телегину: «Пойдем ко мне», — и повела его через темный

коридорчик в свою комнату. Войдя туда первая, она проговорила поспешно: «Подожди, подожди, не смотри», — и что-то белое спрятала в ящик комода.

В первый раз в жизни Иван Ильич увидел комнату Даши, — ее туалетный столик со множеством непонятных вещей; узкую белую постель с двумя подушками — большой и маленькой: на большой Даша спала, маленькую, засыпая, клала под локоть; затем у окна — широкое кресло с брошенным на спинку пуховым платком.

Даша сказала Ивану Ильичу сесть в это кресло, пододвинула табуреточку, села сама напротив, облокотилась о колени, подперла подбородок и, глядя, не мигая, в лицо Ивану Ильичу, велела ему говорить, как он ее любит. Колокол времени ударил второе мгновение.

— Даша, если бы мне подарили все, что есть, — сказал Телегин, — всю землю, мне бы от этого не стало лучше, — ты понимаешь? — Даша кивнула головой. — Если я один, на что я сам себе, правда ведь?.. На что мне самого себя? — Даша кивнула. — Есть, ходить, спать — для чего? Для чего эти руки, ноги… Что из того, что я, скажем, был бы сказочно богат… Но ты представляешь, — какая тоска быть одному? — Даша кивнула. — Но

сейчас, когда ты сидишь вот так… Сейчас меня больше нет… Я чувствую только — это ты, это счастье. Ты — это все. Гляжу на тебя, и кружится голова, — неужели ты дышишь, ты живая и ты — моя… Даша, понимаешь что-нибудь?

— Я помню, — сказала Даша, — мы сидели на палубе, дул ветерок, в стаканах блестело вино, я тогда вдруг почувствовала, — мы плывем к счастью…

— А помнишь, там были голубые тени?

Даша кивнула, и сейчас же ей стало казаться, что она тоже помнит какие-то прекрасные голубые тени. Она вспомнила чаек, летевших за пароходом, невысокие берега, вдали на воде сияющую солнечную дорогу, которая, как ей казалось, разольется в конце в синее сияющее море-счастье. Даша вспомнила даже, какое на ней было платье… Сколько ушло с тех пор долгих лет…

Вечером Екатерина Дмитриевна прибежала из Юридического клуба, взволнованная и радостная, и рассказала:

— В Петрограде вся власть перешла к Думскому комитету; министры арестованы, но ходят страшно тревожные слухи: говорят, государь покинул ставку, и на Петроград идет на усмирение гене-

рал Иванов с целым корпусом… А здесь на завтра назначено брать штурмом Кремль и арсенал… Иван Ильич, мы с Дашей прибежим к вам завтра с утра смотреть революцию…

# 38

Из окна гостиницы было видно, как внизу по узкой Тверской улице движется медленным черным потоком народ, — шевелятся головы, картузы, картузы, картузы, шапки, платки, желтые пятна лиц. Во всех окнах — любопытные, на крышах — мальчишки.

Екатерина Дмитриевна, в поднятой до бровей вуали, говорила, стоя у окна и беря то Телегина, то Дашу за руки:

— Как это страшно!.. Как это страшно!

— Екатерина Дмитриевна, уверяю вас, — настроение в городе самое мирное, — говорил Иван Ильич. — До вашего прихода я бегал к Кремлю — там ведутся переговоры, очевидно, арсенал будет сдан без выстрела…

— Но зачем они туда идут?.. Смотрите — сколько народу… Что они хотят делать?..

Даша глядела на волнующийся поток голов, на очертания крыш и башен. Утро было мглистое и мягкое. Вдали, над золотыми куполами кремлевских соборов, над раскоряченными орлами на островерхих башнях, кружились стаи галок.

Даше казалось, что какие-то великие реки прорвали лед и разливаются по земле и что она, вместе с милым ей человеком, подхвачена этим потоком, и теперь — только крепко держаться за его руку. Сердце билось тревогой и радостью, как у птицы в вышине.

— Я хочу все видеть, пойдемте на улицу, — сказала Катя.

Кирпично-грязное здание с колоннами, похожими на бутылки, все в балясинах, балкончиках и башенках, — главный штаб революции — Городская дума, — было убрано красными флагами. Кумачовые полосы обвивали колонны, висели над шатром главного крыльца. Перед крыльцом на мерзлой мостовой стояли четыре серые пушки на высоких колесах. На крыльце сидели, согнувшись, пулеметчики с пучками красных лент на погонах. Большие толпы народа глядели с веселой жутью на красные флаги, на пыльно-черные окна Думы. Когда на балкончике над крыльцом появлялась маленькая возбужденная фигурка и, взмахивая руками, что-то беззвучно кричала, — в толпе поднималось радостное рычание.

Наглядевшись на флаги и пушки, народ уходил по изъеденному оттепелью, грязному снегу через глубокие арки Иверской на Красную площадь,

где у Спасских и у Никольских ворот восставшие воинские части вели переговоры с выборными от запасного полка, сидевшего, затворившись, в Кремле.

Катя, Даша и Телегин были принесены толпой к самому крыльцу Думы. От Тверской по всей площади, все усиливаясь, шел крик.

— Товарищи, посторонитесь… Товарищи, соблюдайте законность! — раздались молодые взволнованные голоса. Сквозь неохотно расступавшуюся толпу пробивались к крыльцу Думы, размахивая винтовками, четыре гимназиста и хорошенькая растрепанная барышня с саблей в руке. Они вели арестованных десять человек городовых, огромного роста, усатых, с закрученными за спиной руками, с опущенными хмурыми лицами. Впереди шел пристав, без фуражки: на сизо-бритой голове его у виска чернела запекшаяся кровь; рыжими яркими глазами он торопливо перебегал по ухмыляющимся лицам толпы; погоны на пальто его были сорваны с мясом.

— Дождались, соколики! — говорили в толпе.

— Пошутили над нами, — будя…

— Поцарствовали…

— Племя проклятое!.. Фараоны!..

— Схватить их и зачать мучить…

— Ребята, наваливайся!..

— Товарищи, товарищи, пропустите, соблюдайте революционный порядок! — сорванными голосами кричали гимназисты; взбежали, подталкивая городовых, на крыльцо Думы и скрылись в больших дверях. Туда же за ними протиснулось несколько человек, в числе их — Катя, Даша и Телегин.

В голом, высоком, тускло освещенном вестибюле на мокром полу сидели на корточках пулеметчики у аппаратов. Толстощекий студент, одуревший, видимо, от крика и усталости, кричал, кидаясь ко всем входящим:

— Знать ничего не хочу! Пропуск!..

Иные показывали ему пропуск, иные просто, махнув рукой, уходили по широкой лестнице во второй этаж. Во втором этаже, в широких коридорах, у стен сидели и лежали пыльные, сонные и молчаливые солдаты, не выпуская из рук винтовок. Иные жевали хлеб, иные похрапывали, поджав обмотанные ноги. Мимо толкался праздный народ, читая диковинные надписи, прибитые на бумажках к дверям, оглядываясь на бегающих из комнаты в комнату, возбужденных до последней человеческой возможности, осипших комиссаров.

Катя, Даша и Телегин, наглядевшись на все эти чудеса, протискались в двусветный зал с линяло-пурпуровыми занавесями на огромных окнах, с обитыми пурпуром полукруглыми скамьями амфитеатра. На передней стене двухсаженными черными заплатами зияли пустые золоченые рамы императорских портретов, перед ними, в откинутой бронзовой мантии, стояла мраморная Екатерина, улыбаясь приветливо и лукаво народу своему.

На скамьях амфитеатра сидели, подпирая головы, потемневшие, обросшие щетиной, измученные люди. Несколько человек спало, уткнувшись лицом в пюпитры. Иные нехотя сдирали кожицу с кусочков колбасы, ели хлеб. Внизу, перед улыбающейся Екатериной, у зеленого с золотой бахромой длинного стола сидели в черных рубашках молодые люди с осунувшимися лицами. Среди них был один — рыжебородый и длинноволосый…

— Даша! Видишь — товарищ Кузьма за столом, — сказала Катя.

К товарищу Кузьме в это время подошла стриженая востроносая девушка и начала что-то шептать. Он слушал, не оборачиваясь, потом встал и сказал:

— Городской голова Гучков вторично заявил, что рабочим оружие выдано не будет. Предлагаю голосовать без прений протест против действий Революционного комитета.

Телегин наконец допытался (спросив у малорослого гимназиста, озабоченно курившего папиросу), что здесь, в Екатерининском зале, происходит не прерывающееся вторые сутки заседание Совета рабочих депутатов.

В обеденное время солдаты запасного полка, сидевшие в Кремле, увидели дымок походных кухонь на Красной площади, — сдались и отворили ворота. По всей площади пошел крик, полетели шапки. На Лобное место, где лежал когда-то нагишом, в овечьей маске, со скоморошьей дудкой на животе, убитый Лжедимитрий, откуда выкрикивали и скидывали царей, откуда читаны были все вольности и все неволи народа русского, на небольшой этот бугорок, много раз зараставший лопухами и снова заливаемый кровью, взошел солдатик в заскорузлой шинелишке и, кланяясь и обеими руками надвигая на уши папаху, начал говорить что-то, — за шумом никто не разобрал. Солдатик был совсем захудалый, выскребленный последней мобилизацией из захолустья, — все же барыня какая-то, в съехавшей набок шляпке с

перьями, полезла его целовать, потом его стащили с Лобного места, подняли на руки и с криками понесли.

На Тверской в это время против дома генерал-губернатора молодец из толпы взобрался на памятник Скобелеву и привязал ему к сабле красный лоскут. Кричали «ура». Несколько загадочных личностей пробрались с переулка в охранное отделение, и было слышно, как там летели стекла, потом повалил дым. Кричали «ура». На Тверском бульваре, у памятника Пушкину, известная писательница, заливаясь слезами, говорила о заре новой жизни и потом, при помощи какого-то гимназиста, воткнула в руку задумчиво стоящему Пушкину красный флажок. В толпе кричали «ура». Весь город был как пьяный весь этот день. До поздней ночи никто не шел по домам, собирались кучками, говорили, плакали от радости, обнимались, ждали каких-то телеграмм. После трех лет уныния, ненависти и крови переливалась через край обывательская душа города.

Катя, Даша и Телегин вернулись домой в сумерки. Оказалось, — горничная Лиза ушла на Пречистенский бульвар, на митинг, кухарка же заперлась в кухне и воет глухим голосом. Катя насилу допросилась, чтобы она открыла дверь.

— Что с вами, Марфуша?

— Царя нашего уби-и-и-и-ли, — проговорила она, закрывая рукой толстый, распухший от слез рот. От нее пахло спиртом.

— Какие вы глупости говорите, — с досадой сказала Катя, — никто его не убивал.

Она поставила чайник на газ и пошла накрывать на стол. Даша лежала в гостиной на диване, в ногах ее сидел Телегин. Даша сказала:

— Иван, милый, если я нечаянно засну, ты меня разбуди, когда чай подадут, — очень чаю хочется.

Она поворочалась, положила ладони под щеку и проговорила уже сонным голосом:

— Очень тебя люблю.

В сумерках белел пуховый платок, в который завернулась Даша. Ее дыхания не было слышно. Иван Ильич сидел не двигаясь, — сердце его было полно. В глубине комнаты появился в дверной щели свет, потом дверь раскрылась, вошла Катя, села рядом с Иваном Ильичом на валик дивана, обхватила колено и после молчания спросила вполголоса:

— Даша заснула?

— Она просила разбудить к чаю.

— А на кухне Марфуша ревет, что царя убили.

Иван Ильич, что будет?.. Такое чувство, что все плотины прорваны... И сердце болит: тревожусь за Николая Ивановича... Дружок, я попрошу вас, пораньше завтра пошлите ему телеграмму. Скажите, — а когда вы думаете ехать с Дашей в Петроград?

Иван Ильич не ответил, Катя повернула к нему голову, внимательно вгляделась в лицо большими, совсем как Дашины, но только женскими, серьезными глазами, улыбнулась, привлекла Ивана Ильича и поцеловала в лоб.

С утра, на следующий день, весь город высыпал на улицу. По Тверской, сквозь гущу народа, под несмолкаемые крики «ура» двигались грузовики с солдатами, ощетиненные штыками и саблями. На громыхающих пушках ехали верхом мальчишки. По грязным кучам снега, вдоль тротуаров, стояли, охраняя порядок, молоденькие барышни с поднятыми саблями и напряженными личиками и вооруженные гимназисты, не знающие пощады, — это была вольная милиция. Лавочники, взобравшись на лесенки, сбивали с вывесок императорские орлы. Какие-то болезненные девушки — работницы с табачной фабрики — ходили по городу с портретом Льва Толстого, и он сурово посматривал из-под насуп-

ленных бровей на все эти чудеса. Казалось, — не может быть больше ни войны, ни ненависти, казалось, — нужно еще куда-то, на какую-то высоченную колокольню вздернуть красное знамя, и весь мир поймет, что мы все братья, что нет другой силы на свете, — только радость, свобода, любовь, жизнь…

Когда телеграммы принесли потрясающую весть об отречении царя и о передаче державы Михаилу и об его отказе от царского венца, в свою очередь, — никто особенно не был потрясен: казалось — не таких еще чудес нужно ждать в эти дни.

Над неровными линиями крыш, над оранжевым закатом в прозрачной бездне неба переливалась звезда. Голые сучья лип чернели неподвижно. Под ними было совсем темно, хрустели застывшие лужицы на тротуаре. Даша остановилась и, не размыкая соединенных рук, которыми держала под руку Ивана Ильича, глядела через низенькую ограду на затеплившийся свет в глубоком окошечке церкви Николы на Курьих Ножках.

Церковка и дворик были в тени, под липами. Вдалеке хлопнула дверь, и через дворик пошел, хрустя валенками, низенький человек в длин-

ном, до земли, пальто, в шляпе грибом. Было слышно, как он зазвенел ключами и стал не спеша подниматься на колокольню.

— Пономарь звонить пошел, — прошептала Даша и подняла голову. На золоте небольшого купола колокольни лежал отсвет заката.

Бумм — ударил колокол, триста лет созывавший жителей к покою души перед сном грядущим. Мгновенно в памяти Ивана Ильича встала часовенка и на пороге ее молча плачущая женщина в белой свитке, с мертвым ребенком на коленях. Иван Ильич крепко прижал локтем Дашину руку. Даша взглянула на него, как бы спрашивая: что?

— Ты хочешь? — спросила она быстрым шепотом. — Пойдем…

Иван Ильич широко улыбнулся. Даша нахмурилась, потопала ботиками.

— Ничего нет смешного, — когда идешь под руку с человеком, которого любишь больше всего на свете, и видишь огонь в окошке, — зайти и обвенчаться… — Даша опять взяла Ивана Ильича под руку. — Ты меня понимаешь?

# 39

— Граждане солдаты отныне свободной русской армии, мне выпала редкая честь поздравить вас со светлым праздником: цепи рабства разбиты. В три дня, без единой капли крови, русский народ совершил величайшую в истории революцию. Коронованный царь Николай отрекся от престола, царские министры арестованы, Михаил, наследник престола, сам отклонил от себя непосильный венец. Ныне вся полнота власти передана народу. Во главе государства стало Временное правительство, для того чтобы в возможно скорейший срок произвести выборы во Всероссийское учредительное собрание на основании прямого, всеобщего, равного и тайного голосования… Отныне — да здравствует Русская революция, да здравствует Учредительное собрание, да здравствует Временное правительство!..

— Урра-а-а! — протяжно заревела тысячеголосая толпа солдат. Николай Иванович Смоковников вынул из кармана замшевого френча большой защитного цвета платок и вытер шею, лицо и бороду. Говорил он, стоя на сколоченной

из досок трибуне, куда нужно было взбираться по перекладинам. За его спиной стоял командир батальона, Тетькин, недавно произведенный в подполковники, — обветренное, с короткой бородкой, с мясистым носом лицо его изображало напряженное внимание. Когда раздалось «ура», — он озабоченно поднес ладонь ребром к козырьку. Перед трибуной на ровном поле с черными проталинами и грязными пятнами снега стояли солдаты, тысячи две человек, без оружия, в железных шапках, в распоясанных, мятых шинелях, и слушали, разинув рты, удивительные слова, которые говорил им багровый, как индюк, барин. Вдалеке, в серенькой мгле, торчали обгоревшие трубы деревни. За ней начинались немецкие позиции. Несколько лохматых ворон летело через это унылое поле.

— Солдаты! — вытянув перед собой руку с растопыренными пальцами, продолжал Николай Иванович, и шея его налилась кровью. — Еще вчера вы были нижними чинами, бессловесным стадом, которое царская ставка бросала на убой… Вас не спрашивали, за что вы должны умирать… Вас секли за провинности и расстреливали без суда. (Подполковник Тетькин кашлянул, переступил с ноги на ногу, но промолчал и вновь нагнул

голову, внимательно слушая.) Я, назначенный Временным правительством комиссар армий Западного фронта, объявляю вам, — Николай Иванович стиснул пальцы, как бы захватывая узду, — отныне нет больше нижних чинов. Название отменяется. Отныне вы, солдаты, равноправные граждане государства Российского: разницы больше нет между солдатами и командующим армией. Названия — ваше благородие, ваше высокоблагородие, ваше превосходительство — отменяются. Отныне вы говорите: «здравствуйте, господин генерал», или «нет, господин генерал», «да, господин генерал». Унизительные ответы: «точно так» и «никак нет» — отменяются. Отдача чести солдатом какому бы то ни было офицерскому чину — отменяется навсегда. Вы можете здороваться за руку с генералом, если вам охота…

— Го-го-го, — весело прокатилось по толпе солдат. Улыбался и Тетькин, помаргивая испуганно.

— И, наконец, самое главное: солдаты, прежде война велась царским правительством, нынче она ведется народом — вами. Посему Временное правительство предлагает вам образовать во всех армиях солдатские комитеты — ротные, батальонные, полковые и так далее, вплоть до

армейских… Посылайте в комитеты товарищей, которым вы доверяете!.. Отныне солдатский палец будет гулять по военной карте рядом с карандашом главковерха… Солдаты, я поздравляю вас с главнейшим завоеванием революции!..

Криками «ура-а-а» опять зашумело все поле. Тетькин стоял навытяжку, держа под козырек. Лицо у него стало серое. Из толпы начали кричать:

— А скоро замиряться с немцем станем?

— Мыла сколько выдавать будут на человека?

— Я насчет отпусков. Как сказано?

— Господин комиссар, как же у нас теперь, — короля, что ли, станут выбирать? Воевать-то кто станет?

Чтобы лучше отвечать на вопросы, Николай Иванович слез с трибуны, и его сейчас же окружили возбужденные солдаты. Подполковник Тетькин, облокотясь о перила трибуны, глядел, как в гуще железных шапок двигалась, крутясь и удаляясь, непокрытая стриженая голова и жирный затылок военного комиссара. Один из солдат, рыжеватый, радостно-злой, в шинели внакидку (Тетькин хорошо знал его — из телефонной роты), поймал Николая Ивановича за ремень френча и, бегая кругом глазами, начал спрашивать:

— Господин военный комиссар, вы нам сладко говорили, мы все сладко слушали… Теперь вы на мой вопрос ответьте.

Солдаты радостно зашумели и сдвинулись теснее. Подполковник Тетькин нахмурился и озабоченно полез с трибуны.

— Я вам поставлю вопрос, — говорил солдат, почти касаясь черным ногтем носа Николая Ивановича. — Получил я из деревни письмо, сдохла у меня дома коровешка, сам я безлошадный, и хозяйка моя с детьми пошла по миру просить у людей куски… Значит, теперь имеете вы право меня расстреливать за дезертирство, я вас спрашиваю?..

— Если личное благополучие вам дороже свободы, — предайте ее, предайте ее, как Иуда, и Россия вам бросит в глаза: вы недостойны быть солдатом революционной армии… Идите домой! — резко крикнул Николай Иванович.

— Да вы на меня не кричите!

— Ты кто такой на нас кричать!..

— Солдаты, — Николай Иванович поднялся на цыпочки, — здесь происходит недоразумение… Первый завет революции, господа, — это верность нашим союзникам… Свободная революционная русская армия со свежей силой должна

обрушиться на злейшего врага свободы, на империалистическую Германию…

— А ты сам-то кормил вшей в окопах? — раздался грубый голос.

— Он их сроду и не видал…

— Подари ему тройку на разводку…

— Ты нам про свободу не говори, ты нам про войну говори, — мы три года воюем… Это вам хорошо в тылу брюхо отращивать, а нам знать надо, как войну кончать…

— Солдаты, — воскликнул опять Николай Иванович, — знамя революции поднято, свобода и война до последней победы…

— Вот черт, дурак бестолковый…

— Да мы три года воюем, победы не видали…

— А зачем тогда царя скидывали?..

— Они нарочно царя скинули, он им мешал войну затягивать…

— Товарищи, он подкупленный…

Подполковник Тетькин, раздвигая локтем солдат, протискивался к Николаю Ивановичу и видел, как сутулый, огромный, черный артиллерист схватил комиссара за грудь и, тряся, кричал в лицо:

— Зачем ты сюда приехал?.. Говори — зачем к нам приехал? Продавать нас приехал, сукин

сын…

Круглый затылок Николая Ивановича уходил в шею, вздернутая борода, точно нарисованная на щеках, моталась. Отталкивая солдата, он разорвал ему судорожными пальцами ворот рубахи. Солдат, сморщившись, сдернул с себя железный шлем и с силой ударил им Николая Ивановича несколько раз в голову и лицо…

# 40

У дверей ювелирного магазина «Муравейчик» сидели ночной сторож и милицейский, разговаривали вполголоса. Улица была пуста, магазины закрыты. Мартовский ветерок посвистывал в еще голых акациях, шурша отклеившейся на заборе рекламой «займа свободы». Луна, по-южному яркая и живая, как медуза, высоко стояла над городом.

— А он аккурат в Ялте на своей даче прохлаждался, — не спеша рассказывал ночной сторож. — Выходит он прогуляться, как полагается, в белых портках, при всех орденах, и тут ему на улице подают телеграмму: отречение государя императора. Прочел, голубчик, эту телеграмму — да как зальется при всем народе слезами.

— Ай, ай, ай, — сказал милицейский.

— А через неделю ему отставка.

— За что?

— А за то, что он — губернатор, нынче этого не полагается.

— Ай, ай, ай, — сказал милицейский, глядя на поджарого кота, который осторожно пробирался

по своим делам в лунной тени под акациями.

— …А государь император жил в ту пору в Могилеве посреди своего войска. Ну, хорошо, живет не тужит. Днем выспится, ночью депеши читает — где какое сражение произошло.

— Непременно он, подлец, пить хочет, к воде пробирается, — сказал милицейский.

— Ты про что?

— Из табачного магазина Синопли кот гулять вышел.

— Ну, хорошо. Вдруг говорят государю императору по прямому проводу, что, мол, так и так, народ в Петербурге бунтуется, солдаты против народа идти не хотят, а хотят они разбегаться по домам. Ну, думает государь, — это еще полбеды. Созвал он всех генералов, надел ордена, ленты, вышел к ним и говорит: «В Петербурге народ бунтует, солдаты против народа идти не хотят, а хотят они разбегаться по домам. Что мне делать? — говорите ваше заключение». И что же ты думаешь, смотрит он на генералов, а генералы, друг ты мой, заключение свое не говорят и все в сторону отвернулись…

— Ай, ай, ай, вот беда-то!

— Один только из них не отвернулся от него — пьяненький старичок генерал. «Ваше вели-

чество, говорит, прикажите, и я сейчас грудью за вас лягу». Покачал государь головой и горько усмехнулся. «Изо всех, говорит, моих подданных, верных слуг, один мне верный остался, да и тот каждый день с утра пьяный. Видно, царству моему пришел конец. Дайте лист гербовой бумаги, подпишу отречение от престола».

— И подписал?

— Подписал и залился горькими слезами.

— Ай, ай, ай, вот беда-то…

По улице в это время мимо магазина быстро прошел высокий человек в низко надвинутом на глаза огромном козырьке кепи. Пустой рукав его френча был засунут за кушак. Он повернул лицо к сидящим у магазина, — отчетливо блеснули его зубы.

— Четвертый раз человек этот проходит, — тихо сказал сторож.

— По всей видимости — бандит.

— С этой самой войны развелось бандитов, — и-и, друг ты мой. Где их сроду и не бывало — наехали. Артисты.

Вдалеке на колокольне пробило три часа, сейчас же запели вторые петухи. На улице опять появился однорукий. На этот раз он шел прямо на сторожей, к магазину. Они, замолчав, глядели

на него. Вдруг сторож шепнул скороговоркой:

— Пропали мы, Иван, давай свисток.

Милицейский потянулся было за свистком, но однорукий подскочил к нему и ударил ногой в грудь и сейчас же ручкой револьвера ударил по голове ночного сторожа. В ту же минуту к подъезду подбежал второй человек в солдатской шинели, коренастый, с торчащими усами, и, навалившись на милицейского, быстрым и сильным движением закрутил ему руки за спиной.

Молча однорукий и коренастый начали работать над замком. Отомкнули магазин Муравейчика, втащили туда оглушенного сторожа и связанного милицейского. Дверь за собой прикрыли.

В несколько минут все было кончено, — драгоценные камни и золото увязаны в два узелка. Затем коренастый сказал:

— А эти? — и пхнул сапогом милицейского, лежащего на полу у прилавка.

— Милые, дорогие, не надо, — негромко проговорил милицейский, — не надо, милые, дорогие…

— Идем, — резко сказал однорукий.

— А я тебе говорю — донесут.

— Идем, мерзавец! — И Аркадий Жадов, схва-

тив узелок в зубы, направил «маузер» на своего компаньона. Тот усмехнулся, пошел к двери. Улица была все так же пустынна. Оба они спокойно вышли, свернули за угол и зашагали к «Шато Кабернэ».

— Мерзавец, бандит, пачколя, — по пути говорил Жадов коренастому. — Если хочешь со мной работать, — чтобы этого не было. Понял?

— Понял.

— А теперь — давай узелок. Иди сейчас и готовь лодку. Я пойду за женой. На рассвете мы должны быть в море.

— В Ялту пойдем?

— Это уж не твое дело. В Ялту ли, в Константинополь… Я распоряжаюсь.

# 41

Катя осталась одна. Телегин и Даша уехали в Петроград. Катя проводила их на вокзал, — они были до того рассеянные, как во сне, — и вернулась домой в сумерки.

В доме было пусто. Марфуша и Лиза ушли на митинг домашней прислуги. В столовой, где еще остался запах папирос и цветов, среди неубранной посуды стояло цветущее деревцо — вишня. Катя полила ее из графина, прибрала посуду и, не зажигая света, села у стола, лицом к окну, — за ним тускнело небо, затянутое облаками. В столовой постукивали стенные часы. Разорвись от тоски сердце, они все равно так же постукивали бы. Катя долго сидела не двигаясь, потом взяла с кресла пуховый платок, накинула на плечи и пошла в Дашину комнату.

Смутно, в сумерках, был различим полосатый матрац опустевшей постели, на стуле стояла пустая шляпная картонка, на полу валялись бумажки и тряпочки. Когда Катя увидела, что Даша взяла с собой все свои вещицы, не оставила, не забыла ничего, ей стало обидно до слез. Она села

на кровать, на полосатый матрац, и здесь, так же как в столовой, сидела неподвижно.

Часы в столовой гулко пробили десять. Катя поправила на плечах платок и пошла на кухню. Постояла, послушала, — потом, поднявшись на цыпочки, достала с полки кухонную тетрадь, вырвала из нее чистый листочек и написала карандашом: «Лиза и Марфуша, вам должно быть стыдно на весь день до самой ночи бросать дом». На листок капнула слеза. Катя положила записку на кухонный стол и пошла в спальню. Там поспешно разделась, влезла в кровать и затихла.

В полночь хлопнула кухонная дверь, и, громко топая и громко разговаривая, вошли Лиза и Марфуша, заходили по кухне, затихли, и вдруг обе засмеялись, — прочли записку. Катя поморгала глазами, не пошевелилась.

Наконец на кухне стало тихо. Часы бессонно и гулко пробили час. Катя повернулась на спину, ударом ноги сбросила с себя одеяло, с трудом вздохнула несколько раз, точно ей не хватало воздуху, соскочила с кровати, зажгла электричество и, жмурясь от света, подошла к большому стоячему зеркалу. Дневная тоненькая рубашка не доходила ей до колен. Катя озабоченно и быстро, как очень знакомое, оглянула себя, — подборо-

док у нее дрогнул, она близко придвинулась к зеркалу, подняла с правой стороны волосы. «Да, да, конечно, — вот, вот, вот еще…» Она оглядела все лицо. «Ну да, — конечно… Через год — седая, потом старая». Она потушила электричество и опять легла в постель, прикрыла глаза локтем. «Ни одной минуты радости за всю жизнь. Теперь уж кончено… Ничьи руки не обхватят, не сожмут, никто не скажет — дорогая моя, милочка моя, радость моя…»

Среди горьких дум и сожалений Катя внезапно вспомнила песчаную мокрую дорожку, кругом поляна, сизая от дождя, и большие липы… По дорожке идет она сама — Катя — в коричневом платье и черном фартучке. Под туфельками хрустит песок. Катя чувствует, какая она вся легкая, тоненькая, волосы треплет ветерок, и рядом, — не по дорожке, а по мокрой траве, — идет, ведя велосипед, гимназист Алеша. Катя отворачивается, чтобы не засмеяться… Алеша говорит глухим голосом: «Я знаю, — мне нечего надеяться на взаимность. Я только приехал, чтобы сказать это вам. Я окончу жизнь где-нибудь на железнодорожной станции, в глуши. Прощайте…» Он садится на велосипед и едет по лугу, за ним в траве тянется сизый след… Сутулится спина его

в серой куртке, и белый картуз скрывается за зеленью. Катя кричит: «Алеша, вернитесь!»

…Неужели она, измученная сейчас бессонницей, стояла когда-то на той сырой дорожке и летний ветер, пахнущий дождем, трепал ее черный фартучек? Катя села в кровати, обхватила голову, оперлась локтями о голые колени, и в памяти ее появились тусклые огоньки фонарей, снежная пыль, ветер, гудящий в голых деревьях, визгливый, тоскливый, безнадежный скрип санок, ледяные глаза Бессонова, близко, у самых глаз… Сладость бессилия, безволия… Омерзительный холодок любопытства…

Катя опять легла. В тишине дома резко затрещат звонок. Катя похолодела. Звонок повторился. По коридору, сердито дыша спросонок, прошла босиком Лиза, зазвякала цепочкой парадного и через минуту постучала в спальню: «Барыня, вам телеграмма».

Катя, морщась, взяла узкий конвертик, разорвала заклейку, развернула, и в глазах ее стало темно.

— Лиза, — сказала она, глядя на девушку, у которой от страха начали трястись губы. — Николай Иванович скончался.

Лиза вскрикнула и заплакала. Катя сказала ей:

«Уйдите». Потом во второй раз перечла безобразные буквы на телеграфной ленте: «Николай Иванович скончался тяжких ранений полученных славном посту исполнения долга точка тело перевозим Москву средства союза…»

Кате стало тошно под грудью, на глаза поплыла темнота, она потянулась к подушке и потеряла сознание…

На следующий день к Кате явился тот самый румяный и бородатый барин — известный общественный деятель и либерал князь Капустин-Унжеский, — которого она слышала в первый день революции в Юридическом клубе, — взял в свои руки обе ее руки и, прижимая их к мохнатому жилету, начал говорить о том, что от имени организации, где он работал вместе с покойным Николаем Ивановичем, от имени города Москвы, товарищем комиссара которой он сейчас состоит, от имени России и революции приносит Кате неутешные сожаления о безвременно погибшем славном борце за идею.

Князь Капустин-Унжеский был весь по природе своей до того счастлив, здоров и весел и так искренне сокрушался, от его бороды и жилета так уютно пахло сигарами, что Кате на минуту стало легче на душе, она подняла на него свои блестев-

шие от бессонницы глаза, разжала сухие губы:

— Спасибо, что вы так говорите о Николае Ивановиче…

Князь вытащил огромный платок и вытер глаза. Он исполнил тяжелый долг и уехал, — машина его чудовищно заревела в переулке. А Катя снова принялась бродить по комнате, — останавливаясь перед фотографическими снимками чужого генерала с львиным лицом, брала в руки альбом, книжку, китайскую коробочку, — на крышке ее была цапля, схватившая лягушку, — опять ходила, глядела на обои, на шторы… Обеда она не коснулась. «Что же вы, скушали бы хоть киселя», — сказала горничная Лиза. Не разжимая зубов, Катя мотнула головой. Написала было Даше коротенькое письмо, но сейчас же порвала.

Лечь бы, заснуть. Но лечь в постель, — как в гроб, — страшно после прошедшей ночи… Больнее всего была безнадежная жалость к Николаю Ивановичу: был он хороший, добрый, бестолковый человек… Любить его надо было таким, какой он есть… Она же мучила. Оттого он так рано и поседел. Катя глядела в окно на тусклое, белесое небо. Хрустела пальцами.

На следующий день была панихида, а еще через сутки — похороны останков Николая Ивановича.

На могиле говорились прекрасные речи: покойника сравнивали с альбатросом, погибшим в пучине, с человеком, пронесшим через славную жизнь горящий факел. Запоздавший на похороны известный социалист-революционер, низенький мужчина в очках, сердито буркнул Кате: «Ну-ка, посторонитесь-ка, гражданка», протиснулся к самой могиле и начал говорить о том, что смерть Николая Ивановича лишний раз подтверждает правильность аграрной политики, проводимой его, оратора, партией. Земля осыпалась из-под его неряшливых башмаков и падала со стуком на гроб. У Кати горло сжималось тошной спазмой. Она незаметно вышла из толпы и поехала домой.

У нее было одно желание — вымыться и заснуть. Когда она вошла в дом, ее охватил ужас: полосатые обои, фотографии и коробочка с цаплей, смятая скатерть в столовой, пыльные окна, — какая тоска! Катя велела напустить ванну и со стоном легла в теплую воду. Все тело ее почувствовало наконец смертельную усталость. Она едва доплелась до спальни и заснула, не раскрывая постели. Сквозь сон ей чудились звонки, шаги, голоса, кто-то постучал в дверь, она не отвечала.

Проснулась Катя, когда было совсем темно, — мучительно сжалось сердце. «Что, что?» — испуганно, жалобно спросила она, приподнимаясь на кровати, и с минутку надеялась, что, быть может, все это страшное ей только приснилось… Потом, тоже с минутку, чувствовала обиду и несправедливость, — зачем меня мучают? И, уже совсем проснувшись, поправила волосы, надела туфельки на босу ногу и ясно и покойно подумала: «Больше не хочу».

Не торопясь, Катя открыла дверцу висящего на стене кустарного шкафчика-аптечки и начала читать надписи на пузырьках. Склянку с морфием она раскрыла, понюхала и зажала в кулачке и пошла в столовую за рюмочкой, но по пути остановилась, — в гостиной был свет. «Лиза, это вы?» — тихо спросила Катя, приотворила дверь и увидела сидящего на диване большого человека в военной рубашке, бритая голова его была перевязана черным. Он торопливо встал. У Кати начали дрожать колени, стало пусто под сердцем. Человек глядел на нее расширенными страшными глазами. Прямой рот его был сжат. Это был Рощин, Вадим Петрович. Катя поднесла обе руки к груди. Рощин, не опуская глаз, сказал медленно и твердо:

— Я зашел к вам, чтобы засвидетельствовать почтение. Ваша прислуга рассказала мне о несчастии. Я остался потому, что счел нужным сказать вам, что вы можете располагать мной, всей моей жизнью.

Голос его дрогнул, когда он выговорил последние слова, и худое лицо залилось коричневым румянцем. Катя со всей силой прижимала руки к груди. Рощин понял по глазам, что нужно подойти и помочь ей. Когда он приблизился, Катя, постукивая зубами, проговорила:

— Здравствуйте, Вадим Петрович…

Невольно он поднял руки, чтобы обхватить Катю, — так она была хрупка и несчастна, с судорожно зажатым в кулаке пузырьком, — но сейчас же опустил руки, насупился. Чутьем женщины Катя поняла вдруг: она, несчастная, маленькая, грешная, неумелая, со всеми своими невыплаканными слезами, с жалким пузырьком морфия, стала нужна и дорога этому человеку, молча и сурово ждущему — принять ее душу в свою. Сдерживая слезы, не в силах сказать ничего, разжать зубы, Катя наклонилась к руке Вадима Петровича и прижалась к ней губами и лицом.

# 42

Положив локти на мраморный подоконник, Даша глядела в окно. За темными лесами, в конце Каменноостровского, полнеба было охвачено закатом. В небе были сотворены чудеса. Сбоку Даши сидел Иван Ильич и глядел на нее не шевелясь, хотя мог шевелиться сколько угодно, — Даша все равно бы никуда теперь не исчезла из этой комнаты с багровым отсветом зари на белой стене.

— Как грустно, как хорошо, — сказала Даша. — Точно мы плывем на воздушном корабле…

Иван Ильич кивнул, Даша сняла руки с подоконника.

— Ужасно хочется музыки, — сказала она. — Сколько времени я не играла? С тех пор, как началась война… Подумай, — все еще война… А мы…

Иван Ильич пошевелился. Даша сейчас же продолжала:

— Когда кончится война — мы займемся музыкой… А помнишь, Иван, как мы лежали с тобой на песке и море находило на песок? Помнишь, какое было море — выцветшее голубое… Мне

представляется, что я любила тебя всю жизнь. — Иван Ильич опять пошевелился, хотел что-то сказать, но Даша спохватилась: — А чайник-то кипит! — и побежала из комнаты, но в дверях остановилась. Он видел в сумерках только ее лицо, руку, взявшуюся за занавес, и ногу в сером чулке. Даша скрылась. Иван Ильич закинул руки за голову и закрыл глаза.

Даша и Телегин приехали сегодня в два часа дня. Всю ночь им пришлось сидеть в коридоре переполненного вагона на чемоданах. По приезде Даша сейчас же начала раскладывать вещи, заглядывать во все углы, вытирать пыль, восхищалась квартирой и решила все переставить по-другому. Сделать это нужно было немедленно. Снизу позвали швейцара, который вместе с Иваном Ильичом возил из комнаты в комнату шкафы и диваны. Когда перестановка была кончена, Даша попросила Ивана Ильича открыть повсюду форточки, а сама пошла мыться. Она очень долго плескалась, что-то делала с лицом, с волосами и не позволяла входить то в одну, то в другую комнату, хотя главная задача Ивана Ильича за весь этот день была — поминутно встречать Дашу и глядеть на нее.

В сумерки Даша наконец угомонилась. Иван

Ильич, вымытый и побритый, пришел в гостиную и сел около Даши. В первый раз после Москвы они были одни, в тишине. Словно опасаясь этой тишины, Даша старалась не молчать. Как она потом призналась Ивану Ильичу, ей вдруг стало страшно, что он скажет ей «особым» голосом: «Ну, что же, Даша?..»

Она ушла посмотреть чайник. Иван Ильич сидел с закрытыми глазами. Она ушла, а воздух был еще полон ее дыханием. Невыразимой прелестью постукивали на кухне Дашины каблучки. Вдруг там что-то зазвенело-разбилось и Дашин жалобный голос: «Чашка!» Горячая радость залила Ивана Ильича: «Завтра, когда проснусь, будет не обыкновенное утро, а будет — Даша». Он быстро поднялся, Даша появилась в дверях.

— Разбила чашку… Иван, неужели ты хочешь чаю?

— Нет…

Она подошла к Ивану Ильичу и, так как в комнате было совсем темно, положила руки ему на плечи.

— О чем думал? — спросила она тихо.

— О тебе.

— Я знаю. А что обо мне думал?

Ее неясное лицо в сумерках казалось нахму-

ренным, на самом деле оно улыбалось. Ее грудь дышала ровно, поднималась и опускалась.

— Думал о том, что как-то плохо у меня связано; ты — и что ты — моя жена, — потом я вдруг понял это и пошел тебе сказать, а сейчас опять не помню.

— Ай, ай, — сказала Даша, — садись, а я сбоку. — Иван Ильич сел в кресло, Даша присела сбоку, на подлокотник. — А еще о чем думал?

— Я здесь сидел, когда ты была в кухне, и думал: «В доме поселилось удивительное существо...» Это плохо?

— Да, — ответила Даша задумчиво, — это очень плохо.

— Ты любишь меня, Даша?

— О, — она снизу вверх кивнула головой, — люблю до самой березки.

— До какой березки?

— Разве не знаешь: у каждого в конце жизни — холмик и над ним плакучая береза.

Иван Ильич взял Дашу за плечи. Она с нежностью дала себя прижать. Так же, как давным-давно на берегу моря, поцелуй их был долог, им не хватило дыхания. Даша сказала: «Ах, Иван», — и обхватила его за шею. Она слышала, как тяжело стучит его сердце, ей стало жалко его. Она вздох-

нула, поднялась с кресла и сказала просто:
— Идем, Иван.

На пятый день по приезде Даша получила от сестры письмо. Катя писала о смерти Николая Ивановича. «…Я пережила время уныния и отчаяния. Я с ясностью почувствовала, что во веки веков — одна. О, как это страшно!.. Это так страшно, что я решила поскорее избавиться от этого… Ты понимаешь?.. Меня спасло чудо… Может быть — случайность… Нет, нет, это было как чудо… Я не могу об этом писать… Я расскажу, когда мы увидимся…»

Известие о смерти зятя, Катино письмо, потрясло Дашу. Она немедленно собралась ехать в Москву, но на другой день получилось второе письмо от Кати, — она писала, что укладывается и выезжает в Петроград, просит приискать ей недорогую комнату. В письме была приписка: «К вам зайдет Вадим Петрович Рощин. Он расскажет вам обо мне все подробно. Он мне как брат, как отец, как друг жизни моей».

Даша и Телегин шли по аллее. Было воскресенье, апрельский день. В прохладе еще по-весеннему синего неба летели слабые обрывки тающего от солнца облака. Солнечный свет,

точно сквозь воду, проникал в аллею, скользил по белому платью Даши. Навстречу двигались красновато-сухие мачты сосен, — шумели их вершины, шелестели листья. Даша поглядывала на Ивана Ильича, — он снял фуражку и опустил брови, улыбаясь. У нее было чувство покоя и наполненности — прелестью дня, радостью того, что так хорошо дышать, так легко идти и что так отдана душа этому дню и этому идущему рядом человеку.

— Иван, — сказала Даша и усмехнулась.

Он спросил с улыбкой:

— Что, Даша?

— Нет… подумала.

— О чем?

— Нет, потом.

— Я знаю о чем.

Даша быстро обернулась:

— Честное слово, ты не знаешь…

Они дошли до большой сосны. Иван Ильич отколупнул чешую коры, покрытую мягкими каплями смолы, разломал в пальцах и ласково из-под бровей смотрел на Дашу:

— Нет, знаю.

У Даши задрожала рука.

— Ты понимаешь, — сказала она шепотом, — я

чувствую, как я вся должна перелиться в какую-то еще большую радость… Так я вся полна…

Иван Ильич покивал головой. Они вышли на поляну, покрытую цыплячье-зеленой травкой и желтыми, треплющимися от ветра лютиками. Ветер подхватил Дашино платье. Она на ходу озабоченно несколько раз нагибалась, чтобы одергивать юбку, и повторяла:

— Наказанье, что за ветер!

В конце поляны тянулась высокая дворцовая решетка с потускневшими от времени золочеными копьями. Даше в туфельку попал камешек. Иван Ильич присел, снял туфлю с Дашиной теплой ноги в белом чулке и поцеловал ногу около пальцев. Даша надела туфлю, потопала ногой и сказала:

— Хочу, чтобы от тебя был ребенок, вот что…

# 43

Екатерина Дмитриевна поселилась неподалеку от Даши, в деревянном домике, у двух старушек. Одна из них, Клавдия Ивановна, была в давние времена певицей, другая, Софочка, ее компаньонкой. Клавдия Ивановна, с утра подрисовав себе брови и надев парик воронова крыла, садилась раскладывать пасьянс. Софочка вела хозяйство и разговаривала мужским голосом. В доме было чистенько, тесновато, по-старинному — множество скатерочек, ширмочек, пожелтевших портретов из невозвратной молодости. Утром в комнатах пахло хорошим кофе; когда начинали готовить обед, Клавдия Ивановна страдала от запаха съестного и нюхала соль, а Софочка кричала мужским голосом из кухни: «Куда же я вонищу дену, не на одеколоне же картошку жарить». По вечерам зажигали керосиновые лампы с матовыми шарами. Старушки заботливо относились к Кате.

Она жила тихо в этом старозаветном уюте, уцелевшем от бурь времени. Вставала она рано, сама прибирала комнату и садилась к окну — чинить белье, штопать чулки или переделывать из своих

старых нарядных платьев что-нибудь попроще. После завтрака обычно Катя шла на острова, брала с собой книгу или вышиванье и, дойдя до любимого места, садилась на скамью близ маленького озера и глядела на детей, играющих на горке песка, читала, вышивала, думала. К шести часам она возвращалась обедать к Даше. В одиннадцать Даша и Телегин провожали ее домой: сестры шли впереди под руку, а Иван Ильич, в сдвинутой на затылок фуражке и посвистывая, шел сзади, «прикрывая тыл», потому что по вечерам теперь ходить по улицам было небезопасно.

Каждый день Катя писала Вадиму Петровичу Рощину, бывшему все это время в командировке, на фронте. Внимательно и честно она рассказывала в письмах все, что делала за день и что думала; об этом просил ее Рощин и подтверждал в ответных письмах: «Когда вы мне пишете, Екатерина Дмитриевна, что сегодня переходили Елагин мост, начал накрапывать дождь, у вас не было зонта и вы пережидали дождь под деревьями, — мне это дорого. Мне дороги все мелочи вашей жизни, мне кажется даже, что я бы теперь не смог без них жить».

Катя понимала, что Рощин преувеличивает и прожить бы, конечно, смог без ее мелочей, но

подумать — остаться хотя бы на один день снова одной, самой с собой, было так страшно, что Катя старалась не раздумывать, а верить, будто вся ее жизнь нужна и дорога Вадиму Петровичу. Поэтому все, что она теперь ни делала, — получало особый смысл. Потеряла наперсток, искала целый час, а он был на пальце: Вадим Петрович, наверно, уж посмеется, до чего она стала рассеянная. К самой себе Катя теперь относилась как к чему-то не совсем своему. Однажды, работая у окна и думая, она заметила, что дрожат пальцы; она подняла голову и, протыкая иголкою юбку на колене, долго глядела перед собой, наконец взгляд ее различил напротив, где был зеркальный шкаф, худенькое лицо с большими печальными глазами, с волосами, причесанными просто, — назад, узлом… Катя подумала: «Неужели — я?» Опустила глаза и продолжала шить, но сердце билось, она уколола палец, поднесла его ко рту и опять взглянула в зеркало, — но теперь уже это была она, и похуже той… В тот же вечер она писала Вадиму Петровичу: «Сегодня весь день думала о вас. Я по вас соскучилась, милый мой друг, — сижу у окна и поджидаю. Что-то со мной происходит давным-давно забытое, какие-то девичьи настроения…»

Даже Даша, рассеянная и поглощенная своими

сложными, как ей казалось — единственными с сотворения мира, отношениями с Иваном Ильичом, заметила в Кате перемену и однажды за вечерним чаем долго доказывала, что Кате всегда теперь нужно носить гладкие черные платья с глухим воротом. «Я тебя уверяю, — говорила она, — ты себя не видишь, Катюша, тебе на вид, ну — девятнадцать лет… Иван, правда, она моложе меня?»

— Да, то есть не совсем, но, пожалуй…

— Ах, ты ничего не понимаешь, — говорила Даша, — у женщины молодость наступает совсем не от лет, совсем от других причин. Лета тут совсем никакой роли не играют…

Небольшие деньги, оставшиеся у Кати после кончины Николая Ивановича, подошли к концу. Телегин посоветовал ей продать ее старую квартиру на Пантелеймоновской, пустовавшую с марта месяца. Катя согласилась и вместе с Дашей поехала на Пантелеймоновскую — отобрать кое-какие вещи, дорогие по воспоминаниям.

Поднявшись во второй этаж и взглянув на памятную ей дубовую дверь с медной дощечкой — «Н. И. Смоковников», — Катя почувствовала, что вот замыкается круг жизни. Старый, знакомый швейцар, который, бывало, сердито сопя

спросонок и прикрывая горло воротником накинутого пальто, отворял ей за полночь парадную и гасил электричество всегда раньше, чем Катя успевала подняться к себе, — отомкнув сейчас своим ключом дверь, снял фуражку и, пропуская вперед Катю и Дашу, сказал успокоительно:

— Не сумневайтесь, Екатерина Дмитриевна, крошки не пропало, день и ночь за жильцами смотрел. Сынка у них убили на фронте, а то бы и сейчас жили, очень были довольны квартирой…

В прихожей было темно и пахло нежилым, во всех комнатах спущены шторы. Катя вошла в столовую и повернула выключатель, — хрустальная люстра ярко вспыхнула над покрытым серым сукном столом, посередине которого все так же стояла фарфоровая корзина для цветов с давно засохшей веткой мимозы. Равнодушные свидетели отшумевшей здесь веселой жизни — стулья с высокими спинками и кожаными сиденьями — стояли вдоль стен. Одна створка в огромном, как орган, резном буфете была приотворена, виднелись перевернутые бокалы. Овальное венецианское зеркало подернуто пылью, и наверху его все так же спал золотой мальчик, протянув ручку на золотой завиток… Катя стояла неподвижно у двери.

— Даша, — тихо проговорила она, — ты помнишь, Даша!.. Подумай, и никого больше нет…

Потом она прошла в гостиную, зажгла большую люстру, оглянулась и пожала плечами. Кубические и футуристические картины, казавшиеся когда-то такими дерзкими и жуткими, теперь висели на стенах жалкие, потускневшие, будто давным-давно брошенные за ненадобностью наряды после карнавала.

— Катюша, а эту помнишь? — сказала Даша, указывая на раскоряченную, с цветком, в желтом углу, «Современную Венеру». — Тогда мне казалось, что она-то и причина всех бед.

Даша засмеялась и стала перебирать ноты. Катя пошла в свою бывшую спальню. Здесь все было точно таким же, как три года тому назад, когда она, одетая по-дорожному, в вуали, вбежала в последний раз в эту комнату, чтобы взять с туалета перчатки.

Сейчас на всем лежала какая-то тусклость, все было гораздо меньше размером, чем казалось раньше. Катя раскрыла шкаф, полный остатков кружев и шелка, тряпочек, чулок, туфелек. Эти вещицы, когда-то представлявшиеся ей нужными, все еще слабо пахли духами. Катя без цели перебирала их, — с каждой вещицей было связа-

но воспоминание навсегда отошедшей жизни…

Вдруг тишина во всем доме дрогнула и наполнилась звуками музыки, — это Даша играла ту самую сонату, которую разучивала, когда три года тому назад готовилась к экзаменам. Катя захлопнула дверцу шкафа, пошла в гостиную и села около сестры.

— Катя, правда — чудесно? — сказала Даша, полуобернувшись. Она проиграла еще несколько тактов и взяла с пола другую тетрадь. Катя сказала:

— Идем, у меня голова разболелась.

— А как же вещи?

— Я ничего не хочу отсюда брать. Вот только рояль перевезу к тебе, а остальное — пусть…

Катя пришла к обеду, возбужденная от быстрой ходьбы, веселая, в новой шапочке, в синей вуальке.

— Едва успела, — сказала она, касаясь теплыми губами Дашиной щеки, — а башмаки все-таки промочила. Дай мне переменить. — Стаскивая перчатки, она подошла в гостиной к окну. Дождь, примерявшийся уже несколько раз идти, хлынул сейчас серыми потоками, закрутился в порывах ветра, зашумел в водосточной трубе. Далеко внизу были видны бегущие зонтики. Потемневший

воздух мигнул перед окнами белым светом, и так треснуло, что Даша ахнула.

— Ты знаешь, кто будет у вас сегодня вечером? — спросила Катя, морща губы в улыбку. Даша спросила, — кто? — но в прихожей позвонили, и она побежала отворять. Послышался смех Ивана Ильича, шарканье его ног по половичку, потом они с Дашей, громко разговаривая и смеясь, прошли в спальню. Катя стащила перчатки, сняла шляпу, поправила волосы, и все это время лукавая и нежная усмешка морщила ее губы.

За обедом Иван Ильич, румяный, веселый, с мокрыми волосами, рассказывал о событиях. На Балтийском заводе, как и повсюду сейчас на фабриках и заводах, рабочие волнуются. Советы неизменно поддерживают их требования. Частные предприятия начали мало-помалу закрываться, казенные — работают в убыток, но теперь война, революция — не до прибылей. Сегодня на заводе опять был митинг. Выступали большевики, и все в один голос кричали: «Надо кончать войну, никаких уступок буржуазному правительству, никаких соглашений с предпринимателями, вся власть Советам!» — а уж они наведут порядок!..

— Я тоже вылез разговаривать. Куда тут, — с

трибуны стащили. Васька Рублев подскочил: «Ведь я знаю, говорит, что ты нам не враг, зачем же ты чепуху несешь, у тебя в голове мусор». Я ему: «Василий, через полгода заводы станут, жрать — нечего». А он мне: «Товарищ, к Новому году вся земля, все заводы отойдут трудящимся, буржуя ни одного в республике не оставим даже на разводку. И денег больше не будет. Работай, живи, — все твое. Пойми ты, — социальная революция!» Так это все к Новому году и обещал.

Иван Ильич сдержанно засмеялся, но покачал головой и стал пальцем собирать крошки на скатерти. Даша вздохнула:

— Предстоят большие испытания, я чувствую.

— Да, — сказал Иван Ильич, — война не кончена, в этом все дело. В сущности — что изменилось с февраля? Царя убрали, да беспорядка стало больше. А кучечка адвокатов и профессоров, несомненно людей образованных, уверяет всю страну: «Терпите, воюйте, придет время, мы вам дадим английскую конституцию и даже много лучше». Не знают они России, эти профессора. Плохо они русскую историю читали. Русский народ — не умозрительная какая-нибудь штуковина. Русский народ — страстный, талантливый, сильный народ. Недаром русский мужик допер

в лаптях до Тихого океана. Немец будет на месте сидеть, сто лет своего добиваться, терпеть. А этот — нетерпеливый. Этого можно мечтой увлечь вселенную завоевать. И пойдет, — в посконных портках, в лаптях, с топоришком за поясом… А профессора желают одеть взбушевавшийся океан народный в благоприличную конституцию. Да, видимо, придется увидеть нам очень серьезные события.

Даша, стоя у стола, наливала в чашечки кофе. Вдруг она поставила кофейник и прижалась к Ивану Ильичу — лицом в грудь.

— Ну, ну, Даша, не волнуйся, — сказал он, гладя ее по волосам. — Ничего пока еще не случилось ужасного… А мы бывали в переделках и похуже… Вот я помню, — ты послушай меня, — помню, пришли мы на Гнилую Липу…

Он стал вспоминать про военные невзгоды. Катя оглянулась на стенные часы и вышла из столовой. Даша смотрела на спокойное, крепкое лицо мужа, на серые его смеющиеся глаза и успокаивалась понемногу: с таким не страшно. Дослушав историю про Гнилую Липу, она пошла в спальню припудриться. Перед туалетным зеркалом сидела Катя и что-то делала с лицом.

— Данюша, — сказала она тоненьким голо-

сом, — у тебя не осталось тех духов, помнишь — парижских?

Даша присела на пол перед сестрой и глядела на нее в величайшем удивлении, потом спросила шепотом:

— Катюша, перышки чистишь?..

Катя покраснела, кивнула головой.

— Катюша, что с тобой сегодня?

— Я хотела сказать, а ты не дослушала, — сегодня вечером приезжает Вадим Петрович и с вокзала заедет прямо к вам… Ко мне неудобно, поздно…

В половине десятого раздался звонок. Катя, Даша и Телегин выбежали в прихожую. Телегин отворил, вошел Рощин в измятой шинели внакидку, в глубоко надвинутой фуражке. Его худое, мрачное, темное от загара лицо смягчилось улыбкой, когда он увидел Катю. Она растерянно и радостно глядела на него. Когда он, сбросив шинель и фуражку на стул и здороваясь, сказал сильным и глуховатым голосом: «Простите, что так поздно врываюсь, — хотелось сегодня же увидеть вас, Екатерина Дмитриевна, вас, Дарья Дмитриевна», — Катины глаза наполнились светом.

— Я рада, что вы приехали, Вадим Петрович, —

сказала она и, когда он наклонился к ее руке, поцеловала его в голову задрожавшими губами.

— Напрасно без вещей приехали, — сказал Иван Ильич, — все равно вас ночевать оставим…

— В гостиной на турецком диване, если будет коротко, подставим кресла, — сказала Даша.

Рощин, как сквозь сон, слушал, что ему говорят эти ласковые изящные люди. Он вошел сюда, еще весь ощетиненный после бессонных ночей в пути, лазанья в вагонные окошки за «довольствием», непереставаемой борьбы за шесть вершков места в купе и вязнущей в ушах ругани. Ему еще было дико, что эти три человека, почти немыслимой красоты и чистоты, хорошо пахнущие, стоящие на зеркальном паркете, обрадованы именно появлением его, Рощина… Точно сквозь сон он видел прекрасные глаза Кати, говорившие: рада, рада, рада…

Он одернул пояс, расправил плечи, вздохнул глубоко.

— Спасибо, — сказал он, — куда прикажете идти?

Его повели в ванную — мыться, потом в столовую — кормить. Он ел, не разбирая, что ему подкладывали, быстро насытился и, отодвинув тарелку, закурил. Его суровое, худое, бритое лицо,

испугавшее Катю, когда он появился в прихожей, теперь смягчилось и казалось еще более усталым. Его большие руки, на которые падал свет оранжевого абажура, дрожали над столом, когда он зажигал спичку. Катя, сидя в тени абажура, всматривалась в Вадима Петровича и чувствовала, что любит каждый волосок на его руке, каждую пуговичку на его темно-коричневом измятом френче. Она заметила также, что, разговаривая, он иногда сжимал челюсти и говорил сквозь зубы. Его фразы были отрывочны и беспорядочны. Видимо, он сам, чувствуя это, старался побороть в себе какое-то давно длящееся гневное возбуждение… Даша, переглянувшись с сестрой и мужем, спросила Рощина, что, быть может, он устал и хотел бы лечь? Он неожиданно вспыхнул, вытянулся на стуле.

— Право, я не для того приехал, чтобы спать… Нет… Нет… — И он вышел на балкон и стал под мелкий ночной дождь.

Даша показала глазами на балкон и покачала головой. Рощин проговорил оттуда:

— Ради бога, простите, Дарья Дмитриевна… это все четыре бессонных ночи…

Он появился, приглаживая волосы на темени, и сел на свое место.

— Я еду прямо из ставки, — сказал он, — везу очень неутешительные сообщения военному министру… Когда я увидел вас, мне стало больно… Позвольте уж я все скажу: ближе вас, Екатерина Дмитриевна, у меня ведь в мире нет человека. — Катя побледнела. Иван Ильич стал, заложив руки за спину, у стены. Даша страшными глазами глядела на Рощина. — Если не произойдет чуда, — сказал он, покашляв, — то мы погибли. Армии больше не существует… Фронт бежит… Солдаты уезжают на крышах вагонов… Остановить разрушение фронта нет человеческой возможности… Это отлив океана… Русский солдат потерял представление, за что он воюет, потерял уважение к войне, потерял уважение ко всему, с чем связана эта война, — к государству, к России. Солдаты уверены, что стоит крикнуть: «мир», — в тот же самый день войне конец… И не хотим замиряться только мы — господа… Понимаете, — солдат плюнул на то место, где его обманывали три года, бросил винтовку, и заставить его воевать больше нельзя… К осени, когда хлынут все десять миллионов… Россия перестанет существовать как суверенное государство…

Он стиснул челюсти так, что надулись желваки на скулах. Все молчали. Он продолжал глухим

голосом:

— Я везу план военному министру. Несколько господ генералов составили план спасения фронта… Оригинально… Во всяком случае, союзникам нельзя будет упрекнуть наших генералов в отсутствии желания воевать. План такой: объявить полную демобилизацию в быстрые сроки, то есть организовать бегство и тем спасти железные дороги, артиллерию, огневые и продовольственные запасы. Твердо заявить нашим союзникам, что мы войны не прекращаем. В то же время выставить в бассейне Волги заграждение из верных частей — таковые найдутся; в Заволжье начать формирование совершенно новой армии, ядро которой должно быть из добровольческих частей; поддерживать и формировать одновременно партизанские отряды… Опираясь на уральские заводы, на сибирский уголь и хлеб, начать войну заново…

— Открыть фронт немцам… Отдать родину на разграбление! — крикнул Телегин.

— Родины у нас с вами больше нет, — есть место, где была наша родина. — Рощин стиснул руки, лежащие на скатерти. — Великая Россия перестала существовать с той минуты, когда народ бросил оружие… Как вы не хотите понять,

что уже началось… Николай-угодник вам теперь поможет? — так ему и молиться забыли… Великая Россия теперь — навоз под пашню… Все надо — заново: войско, государство, душу надо другую втиснуть в нас…

Он сильно втянул воздух сквозь ноздри, упал головой в руки на стол и глухо, собачьим, грудным голосом заплакал…

В этот вечер Катя не пошла ночевать домой, — Даша положила ее с собой в одну постель; Ивану Ильичу постлали в кабинете; Рощин, после тяжелой для всех сцены, ушел на балкон, промок и, вернувшись в столовую, просил простить его; действительно, самое разумное было лечь спать. И он заснул, едва успев раздеться. Когда Иван Ильич на цыпочках зашел потушить у него лампу, Рощин спал на спине, положив на грудь руки, ладонь на ладонь; это худое лицо с крепко зажмуренными глазами, с морщинами, резко проступавшими от синеватого рассвета, было как у человека, преодолевающего боль.

Катя и Даша, лежа под одним одеялом, долго разговаривали шепотом. Даша время от времени прислушивалась. Иван Ильич все еще не мог угомониться у себя в кабинете. Даша сказала: «Вот, все ходит, а в семь часов надо на завод…» Она вы-

лезла из-под одеяла и босиком побежала к мужу. Иван Ильич, в одних панталонах со спущенными помочами, сидел на постланном диване и читал огромную книгу, держа ее на коленях.

— Ты еще не спишь? — спросил он, блестящими и невидящими глазами взглянул на Дашу. — Сядь… Я нашел… ты послушай… — Он перевернул страницу и вполголоса стал читать: — «Триста лет тому назад ветер вольно гулял по лесам и степным равнинам, по огромному кладбищу, называвшемуся русской землей. Там были обгоревшие стены городов, пепел на местах селений, кресты и кости у заросших травою дорог, стаи воронов да волчий вой по ночам. Кое-где еще по лесным тропам пробирались последние шайки шишей, давно уже пропивших награбленные за десять лет боярские шубы, драгоценные чаши, жемчужные оклады с икон. Теперь все было выграблено, вычищено на Руси.

Опустошена и безлюдна была Россия. Даже крымские татары не выбегали больше на Дикую степь — грабить было нечего. За десять лет Великой Смуты самозванцы, воры и польские наездники прошли саблей и огнем из края в край всю русскую землю. Был страшный голод, — люди ели конский навоз и солонину из человеческого

мяса. Ходила черная язва. Остатки народа разбредались на север к Белому морю, на Урал, в Сибирь.

В эти тяжкие дни к обугленным стенам Москвы, начисто разоренной и опустошенной и с великими трудами очищенной от польских захватчиков, к огромному этому пепелищу везли на санях по грязной мартовской дороге испуганного мальчика, выбранного, по совету патриарха, обнищалыми боярами, бесторжными торговыми гостями и суровыми северных и приволжских земель мужиками в цари московские. Новый царь умел только плакать и молиться. И он молился и плакал, в страхе и унынии глядя в окно возка на оборванные, одичавшие толпы русских людей, вышедших встречать его за московские заставы. Не было большой веры в нового царя у русских людей. Но жить было надо. Начали жить. Призаняли денег у купцов Строгановых. Горожане стали обстраиваться, мужики — запахивать пустую землю. Стали высылать конных и пеших добрых людей бить воров по дорогам. Жили бедно, сурово. Кланялись низко и Крыму, и Литве, и шведам. Берегли веру. Знали, что есть одна только сила: крепкий, расторопный, легкий народ. Надеялись перетерпеть и перетерпели.

И снова начали заселяться пустоши, поросшие бурьяном...»

Иван Ильич захлопнул книгу.

— Ты видишь... И теперь не пропадем... Великая Россия пропала! А вот внуки этих самых драных мужиков, которые с кольями ходили выручать Москву, — разбили Карла Двенадцатого и Наполеона... А внук этого мальчика, которого силой в Москву на санях притащили, Петербург построил... Великая Россия пропала!.. Уезд от нас останется, — и оттуда пойдет русская земля...

Он фыркнул носом и стал глядеть в окно, за которым рассветало серенькое утро. Даша прислонилась головой ему к плечу, он погладил, поцеловал ее в волосы:

— Иди спать, трусиха...

Даша засмеялась, простилась с ним, пошла и обернулась в дверях:

— Иван, а как его Катя любит...

— Ну, — прекрасный же человек...

Вечер был безветренный и жаркий. В воздухе пахло бензиновой гарью и гудроном деревянных мостовых. По Невскому среди испарений, табачного дыма и пыли двигались пестрые, беспорядочные толпы народа. Ухая, крякая, проносились с треплющимися флажками пра-

вительственные автомобили. Мальчишеские, пронзительные голоса газетчиков выкрикивали потрясающие новости, которым никто уже не верил. Шныряли в толпе продавцы папирос, спичек и краденых вещей. В скверах валялись на газоне, среди клумб, солдаты, грызли семечки.

Катя возвращалась одна с Невского. Рощин условился с ней, что около восьми часов будет поджидать ее на набережной. Катя свернула на Дворцовую площадь. В черных окнах во втором этаже кроваво-красного угрюмого дворца желтели лампочки. У главного подъезда стояли автомобили, похаживали, смеялись солдаты и шоферы. Треща, пролетел мотоциклет с курьером — мальчишкой в автомобильной фуражке, в надутой за спиною рубахе. На угловом балконе дворца, облокотившись, неподвижно стоял какой-то старый человек с длинной седой бородой. Огибая дворец, Катя обернулась, — над аркой Генерального штаба все так же взвивались навстречу закату легкие бронзовые кони. Катя перешла набережную и села у воды на гранитной скамье. Над лениво текущей Невой висели мосты голубоватыми прозрачными очертаниями. Ясным золотом блестел, отражался в реке шпиль Петропавловского собора. Убогая лодочка

двигалась по отблескам воды. За Петербургской стороной, за крышами, за дымами, в оранжевое зарево опускался угасающий шар солнца.

Сложив на коленях руки, Катя тихо глядела на это угасание, ждала смирно и терпеливо Вадима Петровича. Он подошел незаметно, сзади, и, облокотившись о гранит, глядел сверху на Катю. Она почувствовала его, обернулась, улыбаясь встала. Он глядел на нее странным, изумленным взглядом. Она поднялась по лестнице на набережную, взяла Рощина под руку. Они пошли. Катя спросила тихо:

— Что?

Рот его исказился, он пожал плечом, не ответил. Они перешли Троицкий мост, и в начале Каменноостровского Рощин кивнул головой на большой особняк, облицованный коричневыми изразцами. Широкие окна Зимнего сада были ярко освещены. У подъезда стояло несколько мотоциклеток.

Это был особняк знаменитой балерины, где сейчас находился главный штаб большевиков. День и ночь здесь сыпали горохом пишущие машинки. Каждый день перед особняком собиралась большая толпа рабочих, фронтовиков, матросов, — на балкон выходил глава партии большевиков и

говорил о том, что рабочие и крестьяне должны с боем брать власть, немедленно кончать войну и устанавливать у себя и во всем мире новый, справедливый порядок.

— Давеча я был здесь в толпе, я слушал, — проговорил Рощин сквозь зубы. — С этого балкона хлещут огненными бичами, и толпа слушает… О, как слушает!.. Я не понимаю теперь: кто чужой в этом городе — мы или они? (Он кивнул на балкон особняка.) Нас не хотят больше слушать… Мы бормочем слова, лишенные смысла… Когда я ехал сюда — я знал, что я — русский… Здесь я — чужой… Не понимаю, не понимаю…

Они пошли дальше по Каменноостровскому. Их обогнал человек в рваном пальто, в соломенной шляпе, — в одной руке он держал ведерко, в другой — пачку афиш…

— Я понимаю только одно, — глухо сказал Рощин и отвернулся, чтобы она не видела его исказившегося лица, — ослепительная живая точка в этом хаосе — это ваше сердце, Катя… Нам с вами разлучаться нельзя…

Катя тихо ответила:

— Я не смела этого вам сказать… Ну, где же нам расставаться, друг милый…

Они дошли до того места, где человек с ведерком

только что налепил на стену белую небольшую афишу, и так как оба были взволнованы, то на мгновение остановились. При свете фонаря можно было прочесть на афишке: «Всем! Всем! Всем! Революция в опасности!..»

— Екатерина Дмитриевна, — проговорил Рощин, беря в руки ее худенькую руку и продолжая медленно идти по затихшему в сумерках широкому проспекту, в конце которого все еще не могла догореть вечерняя заря, — пройдут года, утихнут войны, отшумят революции, и нетленным останется одно только — кроткое, нежное, любимое сердце ваше.

Сквозь раскрытые окна больших домов доносились веселые голоса, споры, звуки музыки. Сутулый человек с ведерком опять перегнал Катю и Рощина и, наклеивая афишку, обернулся. Из-под рваной соломенной шляпы на них взглянули пристальные, ненавистью горящие глаза.